

А. П. ЗАМУХА
ИЛЛЮСТРАЦИИ

ПО СЛЕДАМ НЕВЕРДОМОГО



2 1

А.ГРОМОВА, В.КОМАРОВ

ПО СЛЕДАМ НЕВЕДОМОГО

НАУЧНО-ФАНАСТИЧЕСКИЙ РОМАН

ВСЕСОЮЗНОЕ УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ТРУДРЕЗЕРВИЗДАТ

Москва 1959



ЧАСТЬ I



ГЛАВА ПЕРВАЯ

Мне очень трудно писать...

Портрет Маши стоит передо мной на письменном столе, и мне больно смотреть на ее лицо, такое живое и веселое. Ведь это из-за меня она поехала в далекие края, навстречу таинственной и грозной опасности...

Рука слабеет, пальцы сами разжимаются, не хотят держать перо. К тому же я чувствую себя и физически все еще довольно скверно. Я уже давно поднимаюсь и хожу по комнате, но до сих пор мучают жестокие головные боли, одолевает слабость. Волосы лезут прямо пучками... Но врачи уверяют, что выздоровление близко, да я и сам чувствую, что почти с каждым днем мне становится все лучше.

Я не хочу больше ждать. За работой и тоска немного отступит, и вообще выздоровеешь скорей, чем если будешь по-прежнему валяться на диване или бессмысленно слоняться по комнате, то и дело взглядывая на портрет Маши. Да и забываются понемногу некоторые подробности тех событий, которые перевернули всю мою жизнь. А это надо помнить! Конечно, о нашей экспедиции и ее успехах знает весь мир, — но ведь и подробности наших поисков интересны. Мне хочется, чтобы люди узнали, как все это было. Поэтому я буду писать, — хоть и через силу.

Я решил так. В конце концов, я журналист, а не археолог, не астроном или этнограф. Другие участники экспедиции скажут о том, что относится к их специальности. А я не стану давать детальное научное обоснование всем фактам и событиям, — да и не все я могу объяснить, не все знаю. Ведь и ученые пока не все разгадали! Я просто расскажу по порядку, как было дело: с чего началось, что случилось потом, что нам пока удалось установить...

Итак, весной прошлого года я оказался в Гималаях в составе международной журналистской группы. Тут были американцы, англичане, французы, итальянцы; был поляк, швед, австралиец, швейцарец, немец, финн. Словом, настоящая сборная мира. Народ все больше молодой и крепкий, с некоторым альпинистским опытом. Дело в том, что, помимо изучения быта, природы, искусства Непала, предполагалась экспедиция в горы. Никаких рекордов мы ставить, разумеется, не собирались, — просто хотели пройти с проводниками по более или менее разведанным маршрутам, подняться на какую-нибудь небольшую вершину, подышать воздухом гор... К тому же многих крайне интересовал таинственный “снежный человек”, который обитал где-то на границе вечных снегов. Американец Готорн получил от своей газеты задание — во что бы то ни стало добыть новые сведения об этом загадочном существе. Других больше интересовали подробности взятия Эвереста, — им хотелось лично побеседовать с национальным героем Непала, горцем Норки Тенсингом, одним из покорителей Эвереста, повидать знаменитых проводников — шерпов. И уж, конечно, всех — даже тех, кто был здесь не в первый раз, — властно привлекала красота Гималаев. Я же просто был очарован и поражен странным, величественным, каким-то неземным обликом этой необозримой цепи сверкающих снежных гигантов. Я поднимался на Эльбрус, бывал не раз на Памире, но с Гималаями ничто не может сравниться, в этом я глубоко убежден.

В древней индийской песне поется: “Если бы человеческая жизнь продолжалась многие сотни лет, то все-таки ее бы не хватило, чтобы описать все чудеса и выразить все великолепие Гималаев. Как испаряется роса под лучами утреннего солнца, так исчезает все мелкое в жизни при взгляде на сияющую вечной чистотой обитель снегов”. Эти слова я не раз повторял, глядя на величественные вершины, сверкающие на фоне густосинего, почти неправдоподобного неба.

Заранее скажу, что я вовсе не намерен специально описывать те странные, своеобразные края, где нам довелось побывать. Но все же без такого описания читателю трудно будет понять, что именно произошло там со мной. Природа, уклад жизни, нравы — все необычно в тех местах. Положа руку на сердце, скажите: что знаете вы о Непале? Говорят ли вам что-нибудь названия — Катманду, Соло-Кхумбу? Или, например, Сикким?

Дарджилинг? Что такое тераи? Кангченджунга? Не сердитесь за экзамен — я сам год тому назад понятие не имел, что это такое. Перед самым выездом я кое-что прочел о Непале, но ничего толком себе не представил. И первые дни по прибытии ходил, как оглушенный, — такая яркая, пестрая, необычайная жизнь кипела вокруг, словно я попал на другую планету.

Гималаи — это резкая природная граница между Северной и Южной Азией. Три гигантскими уступами поднимаются они от равнинных джунглей Индии за облака.

На юге лежат тераи — плодородные, хотя сильно заболоченные, нездоровые для человека места с густейшей тропической растительностью, влажные, напоенные крепким, одуряющим запахом цветов и трав. На север от Гималаев простирается гигантское плоскогорье Тибета с его ледяными ветрами, сухим воздухом, каменистой почвой. Два мира, разделенные чудовищной горной грядой, протянувшейся с востока на запад на две с половиной тысячи километров. Навеем этом протяжении громоздятся горы, прорезаемые бездонными мрачными ущельями, окутанные облаками, увенчанные вечными снегами и гигантскими ледниками. Отсюда берут начало величайшие реки Индии — Ганг, Инд, Брахмапутра и другие. Говоря о Гималаях, невольно применяешь слова вроде “чудовищный”, “необычайный”, “гигантский”; здесь все настолько превосходит обычные представления о природе, что даже такие эпитеты не могут полностью передать грандиозности и ужасающего величия этих гор. В Альпах знаменитый Монблан не превышает 5000 метров, а здесь есть больше десяти вершин, поднимающихся выше, чем на 8000 метров над уровнем моря, — Джомолунгма (8882 метра), Аннапурна, Макалу, Кангченджунга и другие великаны снежной обители.



Среди этих грозных стражей раскинулась зеленая долина Катманду. Там находится и столица Непала — город Катманду. Однако Непал — это не только долина Катманду. Это и суровые горные местности, вроде Соло-Кхумбу, родины знаменитых альпинистов-шерпов, это и тераи, примыкающие к Индии. Недаром говорят, что в Непале всегда три времени года — жаркое тропическое лето в тераях, весна в Катманду и суровая полярная зима в горах.

Непал очень долго не пускал к себе европейцев и издавна считался одной из самых загадочных стран мира. Даже альпинисты, поднимавшиеся на Эверест (Джомолунгму), до 1953 года вынуждены были двигаться через Тибетское плато, по северному склону. Но экспедиция 1953 года, увенчавшаяся успехом, шла уже из Непала, и покорители высочайшей вершины мира — новозеландский пчеловод Эдмунд Хиллари и непальский горец Норки Тенсинг поднимались на вершинный гребень по южному склону.

С юго-востока узким треугольником примыкает к Непалу княжество Сикким, когда-то самостоятельное, а теперь входящее в состав Индии. Там находится горная климатическая страна Дарджилинг. Через Сикким проходит главный путь из Индии в одну из любопытнейших частей Китая — заоблачный Тибет.

Наша журналистская группа сначала направилась в Дарджилинг. Там предполагалось пробыть несколько дней, нанять носильщиков, а затем двинуться в горы через Катманду. Дело в том, что очень многие носильщики-шерпы живут в Дарджилинге, хоть родина их Непал. Тут же живет и Норки Тенсинг. Для него построили домик на средства, собранные по подписке в Индии и Непале. Шерпы — это горное племя, происхождением из Тибета, и язык их больше похож на тибетский, чем на непали — официальный язык Непала. Впрочем, почти все они понимают по-английски. Это — самые лучшие носильщики и проводники в горах. Они хорошо переносят разреженный воздух и ледяной холод гор, легко ходят по опаснейшим склонам с тяжестью за спиной.

Все это нам объяснили еще в Калькутте, откуда мы поездом отправились в Дарджилинг. Можно было бы лететь самолетом, но мы не так уж торопились; к тому же говорили, что поезд идет по замечательным местам.

И действительно, тут было на что посмотреть! Я северянин, и у меня временами прямо голова кружилась от этого обилия красок и запахов. Дорога по ту сторону Ганга на протяжении многих километров шла прямо через чашу девственного тропического леса. Наши северные леса с их строгой красотой не дают даже приблизительного представления о варварской пышности джунглей. Деревья здесь до такой степени перевиты лианами — диким перцем, виноградом, орхидеями самого причудливого вида и окраски, — что все это образует сплошную непроницаемую завесу. Воздух густой, влажный и пропитан крепчайшей смесью запахов, таких же резких и раздражающих нервы, как краски здешних цветов.

— Это же невозможно! — невольно вырвалось у меня, когда поезд врзался в эту дурманящую чашу.

— Здесь все возможно, — сказал англичанин Монтегью Милфорд.

Меня еще в Калькутте очень заинтересовал этот высокий худощавый человек с бронзовым от тропического солнца лицом и ярко-голубыми глазами. Я хорошо знаю английский язык и охотно беседовал с Милфордом. Он долго жил в Индии, бывал в Непале и Тибете. Говорил он очень спокойно и немного медлительно, но я, несмотря на живость своего характера, даже радовался этому, — так легче было понимать английскую речь. А разносторонние познания этого англичанина меня поражали — особенно когда он рассказывал об Индии, о Гималаях, о Тибете. Благодаря ему я еще до отъезда из Калькутты узнал массу полезнейших вещей и твердо ре-

шил во время всего путешествия держаться поближе к Милфорду. Тем более, что и человек он был пресимпатичный. Пил, правда, на мой взгляд, многовато; я даже удивлялся, как можно пить спиртное в такую жару, а он только посмеивался. Впрочем, пьяным я его никогда не видел.

Вот и сейчас он сделал большой глоток из крышки походной фляги, висевшей у пояса.

— Советую и вам хлебнуть, бэби, — он называл меня “бэби”, хотя был не так уж намного старше меня: мне было 26 лет, ему — 35. — Тераи — значит “сырая страна”. Этот душистый воздух насквозь пропитан дыханием болот. Под красотой тут скрывается смерть.

Он протянул мне флягу, но я молча покачал головой.

— Ну, и глупо, — невозмутимо проговорил Милфорд. — Заметьте себе, трезвенник, что я сам видел людей, которые схватывали смертельную лихорадку, стоя вот так же, как мы с вами, у окна поезда, несущегося через тераи. Ведь сквозь эту чашу не пробивается ни солнце, ни ветер — раздолье для миазмов. Туземцы говорят, — в некоторых местах тераев такой густой удушливый, туман от испарений почвы, что звери и птицы погибают, если попадут в эти райские местечки. Я там, конечно, не бывал, но поверить готов.

Я тоже поверил этим рассказам — в поезде многие уже побледнели и жаловались на головную боль. Теперь мы с некоторым страхом смотрели на зловещую красоту джунглей и с нетерпением ждали, когда выберемся наконец из этих дебрей.

И вот постепенно дорога, петляя, начала подниматься в гору. Мы по-прежнему не отрывали глаз от окон. Лес менялся на глазах. Понемногу редела непроницаемая зеленая завеса. Вот уже возникли в ее разрывах отдельные исполинские деревья, густо увитые лианами, разукрашенные пестрыми орхидеями. Все реже попадались пальмы. Их сменили гигантские папоротники, поражавшие красотой и пышностью. Воздух стал чище, свежее; мы вздохнули с облегчением.

— Дуб! Дуб! — в восторге закричал вдруг немец, указывая на могучее дерево у края дороги.

Действительно, стали попадаться дубы, буки, каштаны. Мы радовались, будто вернулись на родину. Правда, и эти привычные, родные деревья отличались здесь необычайными размерами и пышностью листьев.

Поезд упорно полз все выше и выше. Иной раз на поворотах он так круто брал вверх, что жутко становилось. Внизу открывалась бездонная пропасть, вверху громоздились скалы, густо поросшие лесом.

— Внимание, сейчас будем проезжать интересное местечко, довольно усмехаясь, заявил Милфорд.

Я поглядел — и зажмурился на секунду. Поезд огибал по узенькому карнизу угол отвесной скалы. Внизу зияла бездна, вагон, казалось, висел над пустотой.

— Ничего себе! — пробормотал я.

Боязнь высоты меня никогда не мучила в горах, но там полагаешься на свои мускулы, а тут — дело другое: сидишь беспомощно в поезде, который точно по воздуху ползет и того гляди загремит вместе со всеми пассажирами в эти самые тераи, на поживу крокодилам и пиявкам. Поневоле жутко станет.

Милфорд тихо засмеялся, глядя на меня.

— Это называется “Угол борьбы на смерть”, — сообщил он. Я с огорчением отмечаю, что этот чудесный вид на загробную жизнь вы оценили отрицательно. Ах, эти атеисты!

— Меня пока интересует не загробный, а загималайский мир, — буркнул я, недовольный тем, что Милфорд заметил мой страх.

— Увидите и Гималаи, бэби, — ответил Милфорд и пояснил, глядя вниз: — Поезд здесь, насколько я знаю, никогда не срывался. Разве если дождями размочит дорогу... Но ведь сейчас не период дождей.

Петли дороги становились все более крутыми. Поезд поднимался резкими зигзагами. Воздух был приятен, но после духоты тераев казался нам слишком свежим.

Поезд остановился на станции Курзеонг на высоте 1350 метров. Мы уже оделись по-зимнему — и все же потирали руки от холода. Я теперь с удовольствием отхлебнул виски из фляги Милфорда, хотя напиток этот мне не очень понравился, — на мой взгляд, наша “Столичная” куда лучше. Я, конечно, не сказал этого Милфорду, но он, к моему удивлению, сам заявил: “Конечно, бэби, русская водка лучше, но здесь ее нет!” Мне стало тепло и хорошо. На станции мы все перекусили, погуляли по платформе, подставляя лицо прохладному ветру, дующему с еще невидимых снежных высот.

Нас атаковала толпа темно-коричневых от смуглоты и грязи ребятишек с копнами спутанных черных волос. Они наперебой предлагали нам каких-то бабочек величиной с воробья, громадных жуков, расписанных всеми цветами радуги, сovali в руки букеты орхидей, папоротников. Мальчишка лет десяти на вид, крепыш с монгольскими узкими глазами, ткнул мне в руки прекрасный букет золотых с белым орхидей. Я было покачал головой — на что мне цветы в дороге? Но Милфорд, смеясь, посоветовал мне взять букет и заплатить хоть что-нибудь.

— Я этих сорванцов знаю, — добавил он, — того и гляди, в отместку сунут вам в карман или за шиворот какую-нибудь вонючку — неделю потом не отделаетесь от аромата тропиков!

Он сказал что-то мальчишке на языке хинди — тот засмеялся и ответил на ломаном английском: “Не понимаю!”



— Ну, конечно, шерп! — сказал Милфорд. — Будущий проводник экспедиции. Джомолунгма, Кангченджунга, Аннапурна, э?

Мальчишка заговорил, оживленно жестикулируя и показывая на север. Милфорд вслушался.

— Он не шерп, а тибетец. Разбойник отчаянный, видно. Берите букет, дайте монетку, бэби. Энергию надо уважать.

За Курзеонгом вдоль дороги стали попадаться хвойные деревья; их становилось все больше. Отсюда открывался вид на громадную равнину Индии — над ней все время клубились облака, в их разрывах виднелись леса и ослепительно сверкала под горячим южным солнцем река. Поезд шел в облаках; иногда становилось темно, как ночью, — свинцово-серые клубящиеся тучи заволакивали все вокруг. Мы жадно вглядывались в туман, застилавший дорогу впереди, — неужели не покажутся хоть на миг вершины Гималаев? И вот на каком-то крутом повороте разорвалось серое полотно тумана, и перед нами вдали возникла сверкающая гряда на Синем, девственно-чистом небе. Под нами плыли облака, освещенные солнцем, но мы не отрывали глаз от сияющих вершин. Еще поворот пути — и горы исчезли.

Мы приближались к Дарджилингу.

ГЛАВА ВТОРАЯ

В Дарджилинге-то все и началось. Такие это были необыкновенные места, что тут только чудесам и случаться. Но ничего подобного я, конечно, не ожидал. И вообще хочу сказать, что я никогда особенно не тянулся к приключениям. Судя по моим дальнейшим поступкам, иной читатель, пожалуй, подумает, что у меня какой-то беспокойный характер. Но, по-моему, это не так. На активные действия меня толкнула необычайность событий, — а, может быть, отчасти и сама обстановка.... Да вот, я расскажу, и сами судите — как бы вы поступили на моем месте? Конечно, при условии, что вы молоды и здоровы...

Но сначала я должен сказать несколько слов о Дарджилинге. И не только потому, что это очень интересный и красивый город; просто иначе будет непонятно многое из того, что со мной произошло.

Мы приехали в Дарджилинг в самое золотое время — в конце апреля. Весной удобней всего идти в горы. Когда зимние жестокие ветры сдувают снег со склонов гор, идти вообще невозможно. А в июне начинают дуть теплые ветры-муссоны; им сопутствуют сильнейшие метели, снегопады, лавины. В горах безопасней всего во второй половине мая — начале июня, либо осенью.

Пока снаряжали экспедицию, мы слонялись по Дарджилингу. Это — волшебное место. Кажется, что тут царит вечная весна щедрая, южная весна. Впрочем, это только кажется. Вездесущий Милфорд побывал здесь в период дождей и при воспоминании об этом посещении гримасничал, будто хину глотал.

— Сначала жуткая духота, как в тераях, а потом светопреставление — вой, грохот, стекла летят, деревья скрипят и стонут, и дождь гремит, как тысяча африканских барабанов. Ни черта не слышно и не видно, кроме этого самого дождя. Сначала любопытно — падают не то чтобы струи, а сплошная серая дымящаяся стена. Думаешь — не может быть такого, что-то тут неладно. А через день понимаешь, что все в порядке, так оно и есть и будет чуть ли не три месяца. И тогда эта репетиция всемирного потопа перестает тебя интересовать. Тем более, что это можно видеть и в Индии... Климатическая станция, нечего сказать...

Но хоть Милфорд и ворчал, Дарджилинг ему нравился, по крайней мере сейчас. Он часами бродил по этому райскому уголку, такому зеленому, ароматному и свежему. Я от него не отставал ни на шаг. Иногда с нами ходили еще немец Кауфман и итальянец Массимо Торе, чернявый, низенький, смуглый, похожий на местных жителей. Оба они говорили по-английски, я вдобавок неплохо знал немецкий, а Милфорд свободно изъяснялся по-итальянски, — так что взаимное понимание было обеспечено.

Я уже говорил, что Дарджилинг — это горная климатическая станция. Сюда приезжают из Индии в жаркое время года и наслаждаются чудесным горным воздухом, в то время как внизу, в Бенгалии, люди изнывают от жары и духоты. Дарджилинг находится на высоте 2250 метров над уровнем моря, и вначале тут дает себя знать горная болезнь — побаливает голова, звенит в ушах, одолевает слабость. Но здоровый человек быстро привыкает к такой незначительной высоте.

Город — весь в зелени и цветах; дома и веранды густо оплетены вьющимися растениями. Над городом, уходя вершинами в небо, сияет цепь снежных гор. Эвереста отсюда не видно, зато здесь — его младшая сестра, красавица Кангченджунга, белая и чистая, как легкое облако; она всего на 260 метров ниже этого великана. Бросишь взгляд вниз — меж зеленых обрывистых берегов, где-то в страшной глубине течет река Рангут. Дарджилинг окружен горными лесами и луговыми склонами с густой травой и прекраснейшими в мире цветами.

Конечно, меня интересовала здесь не только природа. Жители Дарджилинга и окрестных селений — такой своеобразный народ, что поневоле заинтересуешься их бытом и нравами. Станные это люди — так мне показалось поначалу. Впрочем, многого у них я и позднее не мог понять. Я уж не говорю об их страстной приверженности к буддизму — загадочной и могучей религии, — но в быте и нравах у них вообще много удивительного.

Мы поселились в новой части Дарджилинга. Здесь живут англичане, богатые индийцы, — и дома устроены в общем на европейский лад, хоть и с поправкой на субтропический климат. Имеются и роскошные магазины, и кафе, и кинотеатр.

Но нас интересовал, вполне понятно, другой, настоящий Дарджилинг, — кварталы, где живет его коренное население. Там мы бродили часами, подолгу простаивали у лавок купцов и менял, около самозабвенно работающих ремесленников. Мне это никогда не надоедало — тем более что Милфорд рассказывал так много интересного.

Красочный и пестрый дарджилингский базар особенно привлекал нас. Он был весь словно из сказок “Тысячи и одной ночи”. Сидят прямо на земле люди и торгуют — кто чем. Тут и мешки с рисом, и связки маленьких желтых луковиц, и куры, тут и стручки красного перца, имбирь, орехи и другие пряности без них вареный рис и в рот не возьмешь. Продают еще листья бетеля в бумажных фунтиках. Это снадобье всегда быстро раскупают. Бетель жуют все — и старый, и малый, даже многие европейцы. Листья бетеля сначала обмакивают в известь (она нейтрализует кислоту), а потом жуют вместе с куском плода арековой пальмы. Я один раз попробовал и выплюнул: острый пряный вкус, — такие вещи, по-моему, надо сразу глотать и заедать поскорее, а не жевать. К тому же на людей, постоянно жующих бетель, смотреть страшно: губы ярко-красные, будто вымазаны свежей кровью, а зубы черные.

Все это приносят горцы не только из окрестных деревень, но даже из Непала и Тибета. Таща за плечами тяжелые корзины с продуктами, по несколько дней идут они опасными горными тропами: в Дарджилинге скорей купят, тут бывает много европейцев. Иногда целые семьи горцев вместе с ребятишками сидят на базаре, а товару у них на какие-то жалкие гроши. И в то же время эти люди подчас прямо-таки увешаны золотом, серебром, драгоценными камнями, — словно неискусно переодетые короли.

Во время этих прогулок по Дарджилингу мы и встретили Анга.

Прохаживаясь по базару, мы, словно по уговору, остановились перед молодой торговкой овощами, сидевшей на корточках у разостланного прямо на земле пестрого платка. Она была увешана драгоценностями, словно идол. Я уж не могу сказать точно, что нас больше привлекло — редкая красота женщины, обилие драгоценностей или контраст богатства и красоты с жалкой кучкой овощей и пряностей, разложенных на платке. Так или иначе, мы все остановились перед ней, как вкопанные, и Милфорд, знавший местные обычаи, сразу стал торговать у нее фунтики бетеля. Объяснялся он больше жестами, но женщина его понимала и что-то отвечала своим певучим низким голосом. Мы стояли и разглядывали женщину. Лицо у нее было смешанного монголо-индийского типа, и это, как иногда бывает, придавало ей неповторимую, своеобразную прелесть. На смуглом лице довольно заметно проступали скулы, черные глаза были косо прорезаны. Но горячий влажный блеск этих удлинненных глаз, нежная матовая кожа, чистые очертания лица, прихотливо изогнутые красные губы — все это так пленяло, что даже какая-то печаль охватывала.

Впрочем, после первых минут молчаливого восхищения мы стали обмениваться замечаниями по поводу драгоценностей, блиставших на этой красавице. В ушах у нее болтались, сверка; я красноватыми огоньками, два тонких золотых обруча, величиной с большую тарелку. Ожерелье из кроваво-красных кораллов, нанизанных вперемежку с маленькими золотыми розочками, в несколько рядов обвивало ее шею и спускалось на грудь. На цепочке изумительной ювелирной работы висел большой медальон, изукрашенный мелкой бирюзой и жемчугом. Золотые браслеты в несколько рядов блестели на смуглых руках, а пальцы были густо унизаны кольцами. И везде — бирюза, жемчуг, янтарь, кораллы. Даже в ноздре у нее был продет тоненький золотой обруч с жемчужиной.

— Это какой-то ювелирный магазин, а не женщина! — заключил Кауфман. — Не понимаю, какой ей смысл торговать корешками!



Массимо Торе предположил, что это фамильные драгоценности и что она не может их продавать. Это предположение показалось мне верным.

— Ну, идемте, — сказал наконец Милфорд. — Нехорошо так долго глазеть на замужнюю женщину.

— А вы уж выяснили, что она замужняя! — ехидно заметил Кауфман.

— У нее кольцо в ноздре, — невозмутимо ответил Милфорд. Это индийский обычай — знак замужества. Идемте, коллеги!

Но Массимо Торе заявил, что он хочет обязательно сфотографировать “мадонну Гималаев”. Милфорд поморщился и сказал, что ничего хорошего из этой затеи не выйдет. И действительно, как только Торе направил объектив на женщину, она вскочила и, пронзительно вскрикнув, закрыла лицо руками. Торе растерянно опустил фотоаппарат.

— Милфорд, объясните ей! — взмолился он. — Ну чего она!

— Объяснять придется не ей, а ему, — хладнокровно возразил Милфорд, глядя на широкоплечего смуглого мужчину, энергично расталкивающего толпу.

Мы все повернулись и уставились на нового участника сцены. Это был не очень высокий, но крепко сбитый, мускулистый человек, видимо, наделенный незаурядной физической силой. Его широкое скуластое лицо, более резко выраженного монгольского типа, чем у красавицы-торговки,

дышало гневом, узкие черные глаза так и впились в Торе. Мужчина быстро заговорил что-то, держась за рукоятку большого изогнутого ножа, торчавшего у него за поясом.

— Насколько мне удалось понять, это его жена, и он запрещает ее фотографировать, — все так же спокойно сообщил Милфорд. — Я же вам говорил, что ничего хорошего не выйдет.

Итальянец глядел на разъяренного мужа, беспомощно моргая глазами. Кауфман шепнул мне, что надо бы поскорее уйти. Но нас окружала толпа не то просто любопытствующих, не то сочувствующих своему земляку; уйти было невозможно. Мне показалось, что Милфорд потихоньку усмехнулся, и я спросил:

— Что же делать?

— Бэби, я ведь не Будда, — пожал плечами Милфорд. — К тому же этот местный Отелло изъясняется на каком-то неизвестном мне наречии. Я его еле понимаю, а говорить и подавать не могу.

И тут появился Анг. Прямо из-под локтя Милфорда вынырнул темно-коричневый парнишка лет двенадцати. Черные спутанные волосы свешивались ему на лоб из-под синего европейского берета. Одет он был в какое-то подобие короткого халата, замусоленного до невероятия, голые ноги казались совсем черными от грязи и загара. Но скуластая мордочка этого мальчишки была очень живой и смысленной, а в красивых, чуть узковатых темных глазах светились лукавство и энергия.

— Хочешь, сагиб, я буду переводить? — обратился он к Милфорду на довольно чистом английском языке.

Милфорд усмехнулся и внимательно посмотрел на мальчишку.

— Ну, что ж, — сказал он, немного подумав. — Ты можешь объяснить этим людям, что мы не хотели причинить им зла?

— Я сделаю лучше, сагиб! — лукаво улыбаясь, ответил мальчишка, и, повернувшись к супругам-туземцам, с величайшим азартом начал говорить, поднимая глаза вверх и тряся головой.

В ораторских талантах нашего неожиданного помощника сомневаться не приходилось. Мрачный горец выпустил рукоять ножа, лицо его просветлело. Женщина открыла лицо и улыбнулась (кстати сказать, лучше бы она этого не делала: зубы у нее оказались совсем черными от бетеля). В толпе, окружавшей нас, раздались одобрителльные возгласы.

В общем, мрачная эта сцена закончилась более, чем благополучно. Муж сам предложил нам сфотографировать его вместе с женой. Мы, пораженные, уставились друг на друга.

— Да ну его к дьяволу! — сказал совершенно сбитый с толку Массимо Торе. — На что мне этот красавец?

— Снимайте, коллега! — серьезно посоветовал Милфорд.

Торе сделал несколько снимков, мы через нашего маленького переводчика пообещали супружеской чете вскоре доставить портреты и ушли с базара.

Мальчишка пошел с нами. По дороге мы с Милфордом расспросили его. Оказалось, что он шерп из Со-ло-Кхумбу. Звали его Анг Норбу. Отец его, проводник, год тому назад погиб во время экспедиции в горах. Мать давно умерла. Старшая сестра вышла замуж и переехала в Дарджилинг. Анг после смерти отца приехал к ней. Английскому языку его выучил отец.

— Так что же ты сказал этим людям? — спрашивал его Милфорд.

— Я им сказал, сагиб, что вы — великие мудрецы и святые люди. Я сказал им, что ваше внимание — большая честь для человека, что вы снимаете только людей знаменитых, а к этой женщине обратились потому, что прозрели, как она добра и благочестива...

Мы расхохотались.

— Послушай, Анг, ты ловкий парень, — сказал Милфорд. Хочешь пойти с нами? В Непал, в горы?

— Пойду, — после раздумья, почти торжественно ответил мальчишка. — Может быть, я там разыщу тело своего отца.

С этого дня Анг поселился у нас. Мы его отмыли, приодели, и он очень кичился перед местными ребятами своей должностью переводчика, а те ему явно завидовали. Больше всего он привязался сначала к Милфорду. Но вскоре получилось так, что я оказал Ангу услугу.

Мальчик не всегда сопровождал нас по городу и вообще вел себя довольно независимо. Поэтому я ничуть не удивился, когда, поднимаясь утром по крутому горному склону на краю Дарджилинга, увидел Анга, который стремглав выскочил из длинного деревянного дома, чем-то напоминавшего барак, — тем более, что я уже знал: в этом районе живут шерпы. Анг, увидев меня, ринулся навстречу. Меня поразило его резко изменившееся лицо — осунувшееся, жалкое, с лихорадочно блестящими глазами. Уцепившись за мой рукав и судорожно глотая воздух, он еле выговорил:

— Нима умирает... моя сестра...

Он с такой мольбой смотрел на меня, что я невольно пошел за ним к дому, хотя совершенно не представлял себе, чем же я смогу помочь.

Сестре Анга и в самом деле было очень плохо. Она лежала с заострившимся лицом, тихо, монотонно стонала, жаловалась на боли в животе. Муж ее — маленький коренастый человек с длинными волосами, заплетенными сзади в косичку по старинному шерпскому обычаю, и серьгами в ушах — сидел на корточках у кровати и шептал заклинания. Я взял руку больной — пульс бился часто и слабо.



— Расскажи, что с ней, — попросил я Анга. Тот объяснил, что Нима заболела ночью, начались сильные боли, рвота, понос, а с чего — неизвестно.

В общем, похоже было на пищевое отравление. Это меня ничуть не удивило. Пища в этих краях недоброкачественная, готовится грязно. Да от одной воды умереть можно — в реку спускают трупы, туда же стекают нечистоты. Можно еще удивляться, что тут все же сравнительно мало желудочных заболеваний; видно, привычка играет роль. Но уж если заболеешь плохо твое дело. Врачей почти нет. Лечат больных ламы — молитвами, заклинаниями, какими-то снадобьями, чаще всего шарлатанскими. Все это так — но что же делать мне с сестрой Анга? Я растерянно пожал плечами. Анг понял, что я не могу помочь, и на лице его выразилось такое отчаяние, что у меня сердце сжалось. Должно быть, он очень любил сестру.

И тут я вспомнил, что у меня есть синтомицин. Средство сильное, может помочь. Я чуть не бегом бросился на квартиру, где мы жили вместе с Милфордом.

Англичанин был дома. Узнав, в чем дело, он горячо запротестовал:

— Послушайте, вы не должны этого делать! Если женщина умрет, ламы все свалят на вас. Вы отбиваете у них хлеб. Будьте благоразумны, бэби! Мы тут хлопот не оберемся в случае чего. Вы же не врач, — откуда вы знаете, что нужны именно ваши порошки?

Все это было очень верно и благоразумно. Я даже заколебался, — но потом вспомнил умоляющие глаза Анга и выбежал на улицу...

Скажу только, что синтомицин очень быстро помог... Нима была женщиной крепкой и уже на другой день встала, несмотря на то, что я уговаривал ее полежать. В доме Анга па меня глядели с обожанием, как на великого ламу. Милфорд пожимал плечами и говорил, что новичкам везет в игре.

Знал бы он, как пойдет дальше эта “игра”!

В мою честь устроили пир. Пригласили и Милфорда. Мы сидели в довольно просторной комнате, обставленной в общем на европейский лад. Над столом висела даже электрическая лампочка. Зато в одном из углов стояла статуэтка Будды, а рядом с ней — молитвенное колесо со священными надписями, молитвенные свечи, курения — словом, сплошная экзотика.

Собралось много соседей. Шерпы в Дарджилинге живут, в длинных строениях, похожих на общежития для семейных — общие кухни и уборные, что-то вроде коридорной системы. За столом сидели мужчины с косичками или коротко стриженные, смуглые, широкоплечие, белозубые, почти все в спортивных рубашках с застежками — “молниями”, в беретах и брюках: все это они получили, участвуя в экспедициях. Женщины одевались по шерпским старинным обычаям — вокруг тела обернут кусок темной материи, а поверх него надет вязаный шерстяной передник в яркую поперечную полоску. Шерпы — народ очень добродушный, приветливый и веселый. Анг без усталости переводил — то нам, то своим сородичам, — и в общем нам было интересно и хорошо.

У шерпов нет никаких религиозных ограничений в еде, им все можно есть (между прочим, это тоже ценное качество для проводника, постоянно работающего с европейцами). На столе стояло громадное блюдо картофеля, тушенного с мясом, овощами и пряностями, миска рису с острой подливкой. Но сначала все накинудись на мо-мо (нечто вроде нашего супа с пельменями) это любимое блюдо шерпов. Попробовали мы с Милфордом в этот день и шерпского пива. Называется оно — чанг и варится из риса или ячменя. В большие деревянные чаши положили закваску, потом долили горячей воды. Этот напиток нужно было тянуть через соломинку. Нам с Милфордом поставили отдельные чаши; остальные гости тянули по несколько человек, из одной. Хозяин то и дело доливал горячей воды в чаши гостям. Не могу сказать, чтоб мне этот напиток особенно понравился, но, во всяком случае, он был довольно-таки крепким.

Шерпы тянули чанг, смеялись, пели, весело болтали. В окно заглядывали восковые цветы магнолии, светило щедрое и жаркое южное солнце.

Когда мы собрались уходить, Лакпа Чеди, муж Нимы, очень торжественно поблагодарил меня за спасение жены и сказал, что все его соплеменники будут особенно рады участвовать в экспедиции вместе с таким добрым человеком и великим врачом, как я. Когда Анг переводил эти слова, Милфорд тихонько ткнул меня в бок, и я чуть не расхохотался. Затем Лакпа Чеди так же торжественно преподнес мне кукри — большой кривой нож, вроде того, которым недавно напугал нашу компанию ревнивый муж. Рукоятка ножа была украшена серебром. Лакпа Чеди произнес речь о значении кукри в жизни здешних обитателей.

— Если тебя застигнет ночь в лесу, кукри поможет тебе срубить ветви, чтоб устроить шалаш или развесить костер, говорил он. — Если ты будешь идти в горах, кукри прорубит тебе ступени во льду, и ты пройдеши по крутым склонам. Кукри ты можешь обрезать ногти на руках и можешь убить врага или хищного зверя... Пусть он спасет тебя от опасности, как ты силой своей мудрости спас мою жену... Туджи чей, сагиб!¹

Его слова окончательно взвинтили окружающих. Со всех сторон раздавались крики “Туджи чей!”, женщины плакали и обнимали Ниму.

Тут ко мне пробрался Анг и крепко сжал мою руку. Глаза его возбужденно блестели, он тяжело дышал. Мне показалось, что мальчик выпил лишнее. И действительно, когда он заговорил, язык не очень слушался его.

— Сагиб, я тоже хочу поблагодарить тебя. Только знаешь как? Никто так не может. Я принесу тебе счастье, сагиб. Я призову на тебя благословение богов...

Я засмеялся.

¹ Благодарю, господин!

— Ты что же стал жрецом? Ламой?

— Я не лама, сагиб, — азартно ответил Анг, — но у меня есть то, чего нет даже у Великого Ламы.

Он увел меня во двор и там с очень торжественным видом достал из-за пазухи большой амулет на тонкой золотой цепочке.

— Я дам тебе его на одну ночь, сагиб! — прошептал он с благоговейным и мечтательным видом. — Кто проведет ночь с амулетом на шее, на того снизойдет милость богов. Только его нельзя открывать, иначе боги будут гневаться... Ты его не откроешь, сагиб, правда?

Я обещал не открывать амулет, повертел его в руках и сунул было в карман.

— Нет, нет, сагиб, это нужно носить на груди! — взволнованно воскликнул мальчик.

Я, слегка поморщившись, надел цепочку на шею. Амулет был неудобный — большой, плоский, остроугольный и твердый, — да и вообще мне не хотелось разгуливать с золотой цепочкой на шее. Я решил, что сниму амулет немедленно, как только распрощаюсь с Ангом.

Но сейчас мне не хотелось огорчать мальчишку: он был очень счастлив, что сделал сагибу такой ценный подарок! Ему все же показалось, что этого мало, и он добавил:

— А я везде буду ходить с тобой и все тебе показывать. Куда скажешь, туда и пойду.

— Я скажу, Анг, что сейчас тебе не мешает пойти поспать немного, — я старался обратить все в шутку, но, увидев, что Анг огорчился, поблагодарил его: — Туджи чей, Анг!

Это его очень обрадовало. Он стоял в саду у дома и долго смотрел мне вслед.

Домой я вернулся совершенно мокрый. Я убежден, что пить спиртное в таком климате нельзя. Рубашка прилипла к спине, пот прямо-таки струился по лбу. Я немедленно разделся и полез в ванну. Милфорд, более привычный и к алкоголю, и к здешнему климату, умылся, обтерся до пояса мокрым полотенцем и, насвистывая, вышел из ванной.

Когда я вернулся в комнаты, Милфорд сидел у стола и что-то внимательно разглядывал.

— Монти, что вы наделали! — воскликнул я, увидев, что он безжалостно распотрошил амулет Анга.

Милфорд посмотрел на меня отсутствующим взглядом.

— Стойте, бэби, тут дела серьезные. Где вы достали эту штуку?

Я рассказал. Милфорд слушал меня очень внимательно.

— Ну, вот что, друг мой, — сказал он серьезно, — мне кажется, что вам повезло с этими пилюлями от желудочных заболеваний больше, чем кто-нибудь мог себе представить. Этот талисман — какая-то большая сенсация, поверьте моему нюху. Да вы сами посмотрите. Таких амулетов нигде не бывает, можете мне поверить.

Амулет Анга и вправду выглядел необычно — даже на мой неопытный взгляд. У него были две оболочки — кожаная с золотым тиснением и под ней другая, из плотного желтого шелка, на котором тушью была нарисована священная формула буддистов “Ом мани падме хум!” Слова эти, означающие “О, сокровище в цветке лотоса!” (это относится к Будде, рожденному в цветке лотоса), встречаются в Гималаях на каждом шагу. Я уже успел привыкнуть к ломаным угловатым знакам санскрита, на котором пишется эта формула, и поэтому все свое внимание обратил на содержимое амулета.

Это была очень тонкая четырехугольная металлическая пластинка размером примерно 7×10 сантиметров. Я повертел ее в руках, стараясь угадать, что это за металл — очень легкий, с тускло-серебристым блеском, негибкий. Стальная пластинка такой толщины сгибалась бы под нажимом.

Я сел на подоконник и начал разглядывать пластинку. С одной стороны на ней были какие-то непонятные знаки, с другой — не то рисунок, не то чертеж. Я долго вертел в руках пластинку, поворачивая рисунок то так, то этак, но все равно ничего не понял. В пластинке были глубоко вырезаны тонкие линии концентрических кругов. В центре находилось вдавленное пятнышко величиной с горошину. Такие же вдавленные пятнышки различных, но гораздо меньших размеров имелись на каждом круге. Иногда вокруг них были очерчены свои круги опять-таки гораздо меньших размеров.

В конце концов у меня зарябило в глазах — так я пристально рассматривал этот чертеж. Он мне все время что-то смутно напоминал. Но не хотелось думать — голова отяжелела, должно быть, от чанга. Под окном цвели белыми трубчатыми цветами высокие кусты древовидного дурмана. От них шел странный, приторно сладкий запах. Я часто потом вспоминал густо-синее небо Дарджилинга и одуряющий запах белых цветов под окном. Ведь то был переломный час в моей жизни, хоть тогда я и не понимал этого.

Я протянул пластинку Милфорду и покачал головой.

— Пластинка действительно странная, — сказал я. — Металл какой-то удивительный. И что тут начерчено, я тоже не могу сообразить. Но не понимаю, почему это вас так взволновало, Монти. Меня гораздо больше волнует то, что вы раскрыли этот талисман. Ведь я же дал обещание Ангу...

— Да оставьте вы Анга, ничего с ним не случится! — грубовато прервал меня Милфорд. — Неужели вас не удивляет, что неграмотные шерпы считают родовым талисманом пластинку, на которой так удивительно точно вычерчен план солнечной системы?

Я даже покраснел от стыда. Ну, конечно, это солнечная система! Пути планет вокруг Солнца и пути спутников вокруг планет — вот что такое эти круги и вдавленные пятнышки! Но все равно я ничего не понимал. Что за сенсацию имеет в виду Милфорд? Уж не собирается ли он доказывать, что шерпы в прошлом обладали высокой культурой? Это же не доказательство, — пластинка, наверное, попала к ним извне.

— Конечно, извне! — нетерпеливо и насмешливо сказал Милфорд. — Весь вопрос в том — откуда! Надо расспросить Анга, откуда у него эта пластинка.

— Монти, не надо расспрашивать Анга! — взмолился я. — Наоборот, надо скрыть от него, что мы видели пластинку... Я же обещал ему...

— Вы обещали, а я нет! — возразил Милфорд. — Я ничего и не знал. И мы все равно уже не сможем запаковать эту пластинку по-прежнему.

Я повертел в руках оболочки амулета и вынужден был признать, что Милфорд прав. Где мы достанем такие нитки, которыми он был зашит, кто сумеет повторить такие своеобразные стежки, которые сохранились кое-где...

— И вообще, Алек, — добавил Милфорд, без малейшего сочувствия наблюдавший за моими попытками уложить все по-прежнему, — дело серьезное, и к черту сантименты! Я сам поговорю с Ангом, и вас сумею выгородить — вы ведь, действительно, ни в чем не виноваты.



К вечеру пришел Анг. Милфорд усадил его и рассказал, что случилось. Когда Анг понял, что амулет открыт, глаза его закатились под лоб, он сполз со стула и с глухим стоном ничком повалился на пол.

— Смерть... Черная Смерть... — бормотал он и стонал от ужаса.

— Ах, Монти, дернуло же вас трогать этот талисман! — сказал я в отчаянии.

— Глупости! — возразил решительно Милфорд. — Я его сейчас успокою.

Он налил четверть стакана коньяку и заставил Анга подняться.

— Пей! — приказал он. — Сразу пей, залпом! Иначе плохо будет!

Анг почти бессознательно, с полузакрытыми глазами, проглотил коньяк и задохнулся.

Он дышал, как рыба на берегу, и мотал головой. Потом в глазах его появилось более осмысленное выражение.

— Жидкий огонь, — убежденно сказал он, указывая на стакан.

Коньяк начал действовать сразу, Анг несколько успокоился и приободрился. Но в глазах его таился страх, и губы подергивались.

— Послушай, Анг, мы не виноваты, а ты — тем более. Чего ты боишься? — начал было я.

— Пусть никто не виноват, — угрюмо и почти спокойно проговорил Анг. — Но я выдал тайну Сынов Неба, и теперь мы все погибнем.

Милфорд даже вздрогнул, когда Анг упомянул о Сынах Неба.

— Подожди, Анг, расскажи нам об этом талисмане, — властно сказал он. — Если мы все будем знать, то, наверное, сможем тебе помочь. И вообще я не ожидал, что ты, такой умный парень, будешь волноваться из-за пустяков. Разве ты всерьез веришь в талисманы?

Анг ответил, что он, действительно, не очень верит в талисманы. Вот, например, Нима носит медальон с обрезками ногтей Великого Ламы. Это очень сильный талисман. Однако от смерти ее спасли не ногти ламы, а европейские лекарства. Так что он, Анг, не полагается на талисманы, а старается сам делать так, чтоб все было хорошо. Но пластинка, которую он дал мне — дело особое. Этот талисман достался Ангу от отца, а тому — от деда и так далее. Он очень-очень давно в семье и передается, по шерпскому обычаю, младшему в роде. Это очень святая вещь, и даже Нима не знает, что это такой великий талисман, — не знает, что он значит... Тут Анг запнулся и, что называется, прикусил себе язык. Дальше из него каждое слово приходилось клещами тянуть. В конце концов Милфорд заставил Анга выпить еще большой бокал крепкого ликера. Ангу так понравился сладкий, душистый напиток, что он выпил все до дна и сразу захмелел. Заметив, что я нахмурился, Милфорд сказал:

— Не дурите, бэби, цель тут вполне оправдывает средства. И никому от этого хуже не будет.

Анг слегка раскачивался, сидя на корточках. Глаза его затуманились, лицо покрыл темный румянец.

— Нравится? Хочешь еще? — спросил Милфорд.

— Не надо, — мечтательно посмеиваясь, сказал Анг. — Я знаю, сагиб, зачем ты даешь мне эту кровь цветов...

Мы с Милфордом засмеялись услышав поэтическое определение, на наш взгляд, мало подходившее к приторному ликеру.

— Я скажу, я скажу все, что знаю... — говорил Анг, раскачиваясь. — Но только это тайна, большая тайна, и это очень опасно, это Черная Смерть во тьме...

Мы тогда, конечно, подумали, что Анг говорит о нарушении священного обета и мести богов, — и только впоследствии узнали, какой реальный и неожиданный смысл имеют слова об опасности, передававшиеся в шерпской семье из поколения в поколение.

Вот что рассказал нам Анг.

Когда-то, очень-очень давно, на Землю сошли Сыны Неба. Они слетели с небес в огне и громе, от которого колебались горы. Там, где прикоснулся к Земле их корабль, начал бить могучий источник и потекла новая

река. На этом месте воздвигли храм. Он и сейчас стоит над источником и в нем хранятся святыни небес. Эта пластинка-талисман — тоже оттуда. Она была дана одному из предков Анга в награду за услугу, которую он оказал Сыну Неба. Но когда все это случилось и что это была за услуга, Анг не знал. Он думал, что его предок либо проводил куда-нибудь Сына Неба, либо спас его от гибели в горах, — а, может быть, и то, и другое: мальчишка был, как видно, убежден, что все его предки были альпинистами-проводниками.

— А где стоит этот храм? — спросил Милфорд.

— Не знаю. Этого никто не знает. Туда нельзя пройти, там Черная Смерть, — убежденно ответил Анг.

— Что это за Черная Смерть? Что тебе говорили об этой смерти? — настойчиво расспрашивал Милфорд.

Анг забормотал на шерпском языке. Потом сказал, что Черная Смерть посылается Сынами Неба и что люди не могут ничего знать о ней. Они умирают, сами не зная от чего. И тут Анг проговорился, что отец его тоже нарушил обет. Что поэтому он и погиб.

— Анг, ты же говорил, что он погиб в горах! — Милфорд уцепился за эту оплошность. Но Анг снова замкнулся.

— Да, в горах, сагиб, — угрюмо сказал он и отвернулся.

— А храм — тоже в горах? — допытывался Милфорд.

— Не знаю... Я там не был... там никто не был...

— А отец? Откуда ты знаешь, что он нарушил обет? И как он его нарушил? Пошел в храм?

Анг вдруг решился.

— Да, он пошел в храм! — с мужеством отчаяния вскрикнул он. — И боги его убили! Он знал, что умрет, поэтому и отдал мне талисман. А теперь и меня убьют боги, я выдал их тайну. И вас убьют...

Смуглое лицо его исказилось и посерело. Милфорд скорчил страдальческую мину.

— Постой, Анг, за что же тебе будут мстить боги? — деланно бодрым голосом спросил он. — Ты в храм не ходил. А мы тем более...

— Можно не ходить в храм, и все-таки боги накажут предателя, — уже спокойно сказал Анг. — Отец тоже был только около храма. А сагиб, которого он провожал, пошел внутрь — и не вернулся... Туда нельзя ходить, я говорю правду...

Больше мы ничего от Анга в тот день не добились, да и потом он отказывался говорить о талисмани, — видимо, всерьез страдал, ожидая мести богов. Но, как вы понимаете, он уже сказал более чем достаточно для того, чтоб раззадорить нас.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Вообще-то, если б не Милфорд, я бы все же оставил в покое и Анга, и талисман. Не то, чтоб я не верил Ангу, — мне было ясно, что какая-то тайна существует, что есть где-то в горах загадочный храм... Ведь Гималаи — страна тайн, тут любое место овеяно легендой, и на вершинах высочайших гор, по местным поверьям, обитают боги. Тенсинг и Хиллари не встретили никаких богов на вершине Джомолунгмы, и боги не отомстили смельчакам за вторжение в их обитель. Но кто знает, — думал я, может, Сыны Неба, с которыми имели дела предки Анга, все же более реальны, чем боги ледяных вершин? Да и талисман Анга был загадочен до крайности... Но все же, повторяю, я бы, вероятно, удовольствовался тем, что привез эту таинственную пластинку в Москву и там постарался бы выяснить о ней все, что возможно. В конце-то концов, я приехал в Гималаи с определенным заданием — дать серию корреспонденции для комсомольской газеты — и просто не считал бы возможным разгадывать загадки, от которых приходят в ужас местные жители. Но Милфорд отнесся к этому делу совсем иначе. Правда, он в этих местах чувствовал себя более привычно и свободно, чем я. Может быть, это и подхлестывало его. Так вот, Милфорд начал с невероятной энергией доискиваться, где находится храм, о котором говорил Анг. Убедившись, что из мальчишки больше ничего не вытянешь, он взялся за других шерпов.

Мы сначала думали, что отец Анга погиб где-то возле храма. Но, оказалось, — это было не так. Да Мингма — так звали его — упал в глубокую трещину ледника, и тело его найти не удалось. Случилось это на знаменитом ледопаде Кхумбу, возле Западного цирка — в тех местах, где проходила в 1953 году экспедиция Ханта, в составе которой были Тенсинг и Хиллари...

Милфорд говорил с шерпами-участниками экспедиции, в которой был Да Мингма. Они все в один голос утверждали, что в тех местах никаких храмов никогда не было и быть не может. Да и приметы не совпадали, — ведь загадочный храм, по словам легенды, стоит над источником, рожающим реку, — а какие же источники на ледопаде Кхумбу, среди вечных льдов? Единственное, что удалось установить из этих расспросов — это то, что Да Мингма, опытный проводник, получивший почетное звание “тигра” (на медали, которой Королевское географическое общество в Лондоне награждает лучших альпинистов, изображена голова тигра), присоединился к экспедиции в очень подавленном состоянии.

— Он всегда был веселый, бодрый человек. Не знаю, что с ним случилось, — недоумевал один из шерпов.

— Я думаю, Да Мингма был болен. Он напрасно пошел в горы, — сказал другой.

Милфорд осторожно наводил своих собеседников на разговор о талисмани, тайне, нарушении обета. Но, видимо, они либо ничего не знали, либо не понимали, чего хочет сагиб, — а задавать прямые вопросы Милфорд

не решался. В общем, походило на то, что опасная тайна и впрямь принадлежала только семье Анга. Возможно, отец Анга, только что переживший какое-то сильное потрясение, пошел в экспедицию, в плохом состоянии, и это послужило причиной его гибели. Так думали мы с Милфордом; мы ведь тогда не знали, что дело было не только в психической травме.

После этой неудачи Милфорд стал ревностно разузнавать, что происходило с отцом Анга перед последней экспедицией: куда он ходил, с кем, кто еще был в экспедиции. Но и сестра Анга, и муж ее, и соседи, и друзья Да Мингмы уверяли нас, что ровно ничего об этом не знают. Мы строили всякие предположения о том, почему шерпы не хотят говорить. Возможно, думали мы, что загадочный сагиб, которого сопровождал Да Мингма, не имел разрешения на въезд в Непал. А возможно, что и сам шерп, боясь разглашения тайны храма, всячески конспирировал свой поход. Когда же его спутник-европеец погиб в таинственном храме, то у шерпа появились очень веские дополнительные причины молчать обо всей этой истории. Но, как бы там ни было, а только и по этой линии нам (вернее, Милфорду) ничего узнать не удалось.

Но Милфорд и слышать не хотел о прекращении поисков. Он за эти дни похудел, взгляд его ярких голубых глаз сделался каким-то отсутствующим; видно было, что он весь поглощен этим загадочным делом.

Я сейчас не могу вспомнить, почему мы задержались в Дарджилинге дольше, чем вначале предполагали. Кажется, заболел организатор экспедиции в горы. Милфорд все эти дни носился по Дарджилингу, как одержимый, и ни о чем другом, кроме храма и талисмана, говорить не мог. Я иной раз искренно жалел, что мне попалась эта пластинка.

Однажды вечером Милфорд так долго не приходил домой, что я начал беспокоиться. Вдруг он явился усталый и торжествующий.

— Кажется, я нашел, Алек! Утром идем смотреть этот загадочный храм. Все приметы сходятся. Давайте ложиться — нас разбудят на рассвете, идти далеко. И приготовьте одежду потеплее — в горах холодно.

Больше я от него ничего не добился, — он так устал, что бросился на койку, едва успев раздеться, и тут же заснул...

Мы отправились в путь очень рано; цветы дурмана фосфоресцировали в предрассветной темноте. Но как только мы выбрались из города, начало светать и удивительно быстро наступило утро. Гора Кангченджунга, “пять священных сокровищ снегов”, заиграла переливами красно-розовых оттенков неземной чистоты и свежести. Но дорога, по которой мы шли, еще пряталась в густой тени гор.

Мы направлялись к северу от Дарджилинга, к проходу, ведущему в Тибет.

Нас окружал густой лес, кое-где перемежающийся чайными плантациями с молодыми кустами, прикрытыми от солнца ветвями папоротника. Меня эти плантации немного злили — они портили могучую и дикую красоту этих мест. Дорога уходила все выше в горы, петляя среди дубов, лавров, сикомор и магнолий. Мохнатые, обросшие лианами и мхом, эти деревья достигали головокружительной высоты, словно колонны гигантского здания. Розоватые и золотисто-белые орхидеи свешивались с ветвей, ползли по стволам. Внизу, под деревьями, пышно разрастались огромные папоротники, а среди них пылали рододендроны всех оттенков — желтые, розовые, малиновые, кремовые, белые — и высились пламенеющие, как заря, сассифраги. На открытых местах, в густой высокой траве сияли темно-красные и розовые примулы.

Наш проводник, не знакомый мне туземец из племени бхотиев, молча шагал впереди. Милфорд сначала шел полусонный и молчал, но теперь оживился, был очень весел, говорлив. Я слушал его, как всегда, с интересом, хоть и несколько рассеянно, — слишком уж занимал мои мысли загадочный храм, ожидавший нас в конце пути.

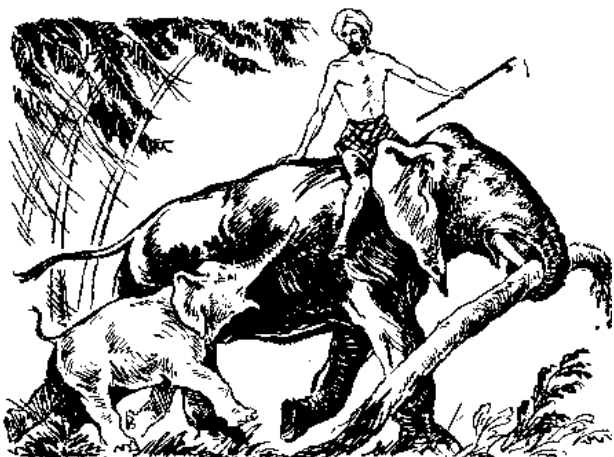
— Слава часто достается не по заслугам, Алек, — говорил Милфорд. — Возьмем хотя бы Эверест. Почему эту великую вершину окрестили именем сэра Эвереста? Он ведь даже не знал толком, как выглядит эта вершина. Даже высоту ее не он вычислил. Просто — когда он был начальником Геодезической службы Индии, начали измерять — на бумаге, тригонометрическим путем — высоту гималайских пиков. И вот, пожалуйста, высочайшая точка Земли получает имя ничем не примечательного английского чиновника. Вариант истории с Америко Веспуччи как известно, его именем называли Америку, хоть он ее не открывал... Так вот и мы с вами — если откроем что-нибудь, все равно припишут другим.

Проводник свернул с дороги, уступая место веренице повозок, запряженных яками, и мы некоторое время шли по еле заметной лесной тропинке, выходящей неподалеку от дороги. Мне показалось, что мы вступили в какое-то заколдованное царство. Как только затихло гроыхание повозок, нас обступила тишина, — удивительная, неестественная тишина. Наши русские леса шумят, как морские волны, шелестят, шепчутся, — они, точно живые, отвечают на каждый твой шаг треском веток, трепетом листьев, порханием птиц. А здесь — сумрачное безмолвие, неподвижный воздух. Ноги ступают по плотному мягкому слою мха и опавших листьев. Контуры деревьев тушеваны — все укрыто мхом. Но и мох ничуть не похож на северный — он необыкновенно пышен и красив. Пушистый, зеленовато-коричневый, он обвивает стволы деревьев, узорчатыми гирляндами свисает с ветвей. Идешь по мягкому пружинящему ковру — и не слышишь своих шагов; бесшумно раздвигаются перед тобой гигантские папоротники; деревья не похожи на деревья, птиц не видно... Того и жди, что где-то за этими странными мохнатыми колоннами и узорными гирляндами возникнет сказочный замок. Но нет никаких замков, и только там и здесь виднеются сквозь зеленый туман громадные цветы.

Наконец, впереди посветлело, мы опять свернули на проезжую дорогу и прищурились от яркого света.

За поворотом слоны корчевали лес под чайные плантации. Это было до того интересное зрелище, что я даже не очень горевал о гибнущих деревьях. Могучие умные животные действовали, как живые машины; люди

на их спинах казались букашками. Мимо нас прошла крупная темно-серая слониха, волоча хоботом ствол дерева. Из-под ее брюха вдруг выскочил слоненок, совсем маленький. Он смешно скакнул, загалопировал возле матери, вертя крохотным хвостиком. Потом, задрав хобот, с писком выпустил воздух.



— Слушайте, Монти, нам далеко? — спросил я, налюбовавшись слоненком. Впопыхах обувшись утром, я теперь стер ногу, и она изрядно побаливала.

— Он говорит, — четыре часа ходу от Дарджилинга, — Милфорд кивнул на проводника. — Мы идем всего два часа. Наберитесь терпения.

Навстречу нам шло семейство горцев лептха. Впереди шагал мужчина с высокой плетеной корзиной за плечами — нес он корзину, по горному обычаю укрепив ее на широкой повязке, охватывающей лоб: так легче, ремни не давят грудь и плечи, не мешают дышать. Так ходят и проводники в горах. За ним шла женщина в полосатой кофте и пестрой юбке, повязанная платком, — тоже с корзиной за плечами, — и растрепанная девочка, тащившая высокий выдолбленный ствол бамбука — в таких оригинальных сосудах здесь носят воду и вообще

жидкости. Рядом с ними бежала маленькая, очень мохнатая, серая с белым собачка. Все они направлялись на базар в Дарджилинг.

Дорога сузилась и привела нас к глубокому ущелью, на дне которого ревела река, обдавая пеной торчащие из воды черные камни. Через ущелье были перекинуты четыре бамбуковые жерди, ничем, казалось, не скрепленные, без перил, шаткие и скользкие. Честно говоря, мне стало не по себе: ведь тут упадешь — костей не соберешь. Но Милфорд решительно двинулся через этот чертов мост и вскоре оказался на том берегу. Делать было нечего — я слегка прижмурил глаза, прикусил губы и почти бегом перебежал на ту сторону. Я думал, что меня похвалят за быстроту, но никто не сказал ни слова — будто я прошел по асфальтированному тротуару.

Мы вышли из лесу и остановились передохнуть. Чуть пониже виднелась деревня; террасы на горных склонах были распаханы и засеяны хлопком, кардамоном, засажены овощами. Пашут здесь примитивным плугом, в который впрягают быков, а то и просто вскапывают землю мотыгами. Разводят овец, свиней, коз, коров; есть и домашняя птица. Но в общем, я видел, народ живет небогато среди этой райской природы.

Проводник показал рукой вперед — там, среди густых зарослей, виднелось приземистое здание буддийской кумирни.

— Видите, Алек? — шепотом спросил Милфорд, крепко схватив меня за руку. — Вот мы и пришли!

Мы пробирались по узкой тропинке, вьющейся среди зарослей. Храм исчез за поворотом скалы. Где-то поблизости журчала вода.

— Слышите? Вот и источник; он впадает в ту реку, которую мы переходили, — слегка задыхаясь от волнения, говорил Милфорд.

Признаться, я немного недоумевал: вот эта дорога среди цветущих кустов и ведет к тому загадочному месту, куда “никто не ходит”? Но ведь тут поблизости — селение; да и дорога протоптана прочно. Видно, не всех убивают Сыны Неба, — может, они и нас не тронут?

Но все же и у меня сильнее забилося сердце, когда мы вынырнули из зарослей и стали перед храмом. Милфорд, я думаю, в эту минуту волновался еще больше меня.

— Вот смотрите, Алек, — зашептал он. — Почему-то он красный, а ведь буддийские храмы обычно — белые. Колонн нет, а у тибетцев обычно — колонны... И, — видите, видите! — на стене изображено солнце! И источник действительно бьет из скалы.

Он сказал что-то нашему проводнику, и тот пошел к храму. Сейчас же откинулась плотная завеса из порыжелой грубой ткани, закрывавшая вход в храм, и из густой темноты выступила сухощавая фигура ламы в традиционном темно-красном одеянии с обнаженными руками. Мы стояли очень близко и видели его морщинистое желтое лицо с узкими колючими черными глазами. Лама перебирал янтарные четки и шевелил синими вялыми губами. Грязен он был ужасающе — рядовые ламы никогда не моются, да и вообще здесь считают, что грязь предохраняет от болезней.

Проводник почтительно заговорил с ним. Лама молча выслушал, безразлично повел раскосыми глазами в нашу сторону и, подумав, что-то тихо ответил. Проводник опять начал объясняться с ним, — лама, видимо, не соглашался.

— Он нас не пустит в храм, — сказал я Милфорду.

— Пусть попробует! — почти угрожающим тоном ответил тот, но, поняв, что мне это не по душе, рассеянно улыбнулся и успокоил меня: — Не волнуйтесь, я его не трону. Я просто предложу ему денег.

Милфорд и тут оказался прав. Несговорчивый лама, увидев деньги, тотчас пустил нас в храм. Только сказал, что будет сам провожать нас и освещать дорогу факелом, чтоб мы не пускали в ход электрических фонариков.

Мы с Милфордом переглянулись. Значит, здесь был по крайней мере один европеец!

— Уж не этот ли господин и прикончил его? — шепнул Милфорд, имея в виду спутника отца Анга. — Будьте начеку, Алек, дело нешуточное.

— Меня удивляет, почему проводник наш ведет себя так спокойно, — тоже шепотом ответил я. — Если это такое проклятое место...

— Д-да... — Милфорд в раздумье покачал головой. — Впрочем, может быть, он не знает... он сказал мне, что сам видел над источником храм с изображением солнца и что построен этот храм в память о приходе на Землю Сынов Неба. Приметы совпадают, не правда ли? Ну, посмотрим...

Лама подал знак, и мы вошли в храм. Сразу начался спуск по крутым, вырубленным в скале ступеням. Мы ждали какой-то грозной, таинственной опасности, не пока что все наши усилия сосредоточились на том, чтоб не упасть. Ступеньки были так обильно залиты топленным коровьим маслом — елеем буддистов, что ходить по этой лестнице было опасно для жизни.

— Может, тот самый сагиб здесь и свернул себе шею? — почти всерьез предположил Милфорд.

Лестница кончилась, но скользко было по-прежнему. Мы медленно продвигались вперед по темному узкому коридору. В красноватом неровном свете факела, который нес впереди лама, подняв его над головой, мелькали фантастически страшные изображения чудовищ, духов, красочные эмблемы счастья. Запах прогорклого масла душил нас. Сколько этого масла сторают в светильнях, сколько проливается на каменные полы буддийских храмов — трудно даже подсчитать?

Мы вышли наконец в просторный зал с невысокими сводами. На стенах и потолке сверкала позолота, пестрые и яркие краски все той же фантастической росписи — будды, дьяволы, олени, леопарды скалили зубы, изгибались в таких причудливых позах, словно тела их были из воска. Особенно страшен был дьявол-людоед — черный, с кровавой пастью, с леопардовой шкурой вокруг бедер, он жадно глодал человеческий труп. Посреди зала громадная статуя Будды сверкала в дымном огне светильен, чадивших на алтаре.

— Неужели он весь золотой? — удивился я.

— Глиняный. Это просто позолота, — сказал Милфорд.

Он жадно оглядывал все кругом. И вдруг порывисто шагнул в сторону. Я пошел за ним и увидел изображение человека с красной кожей и сиянием вокруг головы. Эта фигура была нарисована на стене, позади статуи Будды, и перед ней на каменном пьедестале горела большая серебряная светильня искусной работы. В красноватом трепещущем свете лицо на фреске казалось живым.

Милфорд обернулся к проводнику — тот шептал молитву.

— Спроси ламу, кто изображен здесь.

Нам показалось, что лама недоволен этим вопросом. Он помолчал, перебирая четки цепкими желтыми пальцами, потом угрюмо и неохотно пробормотал что-то.

— Он говорит, — это нарисовано по велению богов, давно, очень давно, — перевел проводник.

— Вот, дай ему денег на обновление росписи, — нетерпеливо сказал Милфорд, протягивая деньги.

Лама взял деньги и приветливо улыбнулся, но ничего не сказал.

— Крокодил! — прошипел Милфорд.

Должно быть, Милфорд поступил неосторожно, когда так сразу и явно высказал свой интерес к этой фреске. Хотя, с другой стороны, — что же было делать? Мы ушли из Дарджилинга тайком ото всех и должны были обязательно вернуться к ночи иначе нас начнут искать. Поневоле приходилось сразу брать быка за рога.

Я и сейчас не могу понять — знал ли старый лама больше того, что рассказал нам. Но мы с Милфордом тогда ничего толком не узнали. Лама рассказал нам длинную историю, не имевшую, по-видимому, никакого отношения к тому, что мы искали. Да и переводчик наш, как говорится, оставлял желать много лучшего. Он бубнил на ломаном английском языке что-то насчет Великого Ламы и сострадательного духа, потом — о горных богах, над головой которых восходит и заходит солнце... Может быть, эта краснолицая фигура с солнцем вокруг головы и изображала горное божество, — по крайней мере, так я заключил. Милфорд вначале внимательно слушал переводчика; он явно злился, и я уж начал побаиваться, как бы он не наделал глупостей. Но постепенно глаза его приобретали отсутствующее выражение. Он понимал перевод лучше меня и, видимо, все более убеждался, что мы потерпели неудачу.

От удушливого дыма и прогорклого запаха меня начало мутить. Я уже мечтал только о том, чтоб поскорее выбраться из этого подземного зала и вдохнуть свежий воздух. Тайна перестала меня интересовать.

Хочу напомнить — я тогда вообще не понимал, что именно мы ищем, не знал, в чем секрет пластинки. Я даже приблизительно не догадывался, с чем все это связано, и участвовал в поисках больше из симпатии к Милфорду. Милфорд же, должно быть, с самого начала понимал, в чем суть. Мне он не раскрывал тайны, возможно, опасаясь, что я найду это слишком фантастическим и отступлюсь, — а моя помощь ему была нужна. А, может быть, он просто не знал, как впоследствии все повернется, и не хотел заранее связывать себя: ведь в таком важном деле мог возникнуть вопрос о приоритете... Это я предполагаю еще и потому, что вспоминаю, как



резко изменился Милфорд с того дня, как увидел пластинку Анга. Куда девалась его небрежная ирония, невозмутимость, чисто английская сдержанность, — он стал похож на азартного игрока, готового бросить на карту все состояние.

Мы вышли из храма очень раздосадованные и сбитые с толку. Милфорд еще спросил сопровождавшего нас ламу насчет источника — откуда он взялся, этот источник в горах? Ответ ламы тоже не совпадал с легендой, рассказанной Ангом. Источник начался от слезы, которую уронил сострадательный дух, глядя на несчастья людей. Да и места тут были уж слишком мирные, зеленые, цветущее, без следов обвала, взрыва, “небесного огня”. А ведь если у легенды имелись реальные основания, то на местности можно было бы заметить хоть какие-нибудь признаки пребывания Сынов Неба.

Лама стоял в дверях храма и смотрел на нас своими узкими бесстрастными глазами.

— Смеется он над нами, готов пари держать, — проворчал Милфорд. — Но ничего не поделаешь, надо уходить, а то не успеем до ночи в Дарджилинг.

Последнее впечатление от этого места оказалось совсем тягостным. Пока мы стояли у храма, у самых наших ног, откуда-то из-под земли, раздался приглушенный протяжный стон. Мы так и подскочили. Но проводник остался спокоен. Он сказал что-то Милфорду, и тот досадливо мотнул головой.

— Это отшельник там сидит под землей. Вот его окошко, он показал на узкую щель в стене храма. — Он там замурован и никогда не должен видеть солнца. Вот, полюбуйтесь!

Из щели высунулась человеческая рука в черной перчатке она беспомощно шевелила пальцами. Мальчик, прислуживавший ламе, метнулся в глубь храма и вскоре принес чашу с водой. Рука взяла чашу и осторожно унесла ее в щель.

— Видите, он надевает перчатку, когда должен высунуть руку. Ни одна часть его тела не должна попадать на свет, — говорил Милфорд.

— Но ведь они сами на это соглашаются, — заметил я. — Это все же не самое страшное проявление религиозного фанатизма.

Проводник что-то сказал. Я плохо понимал его английский язык.

— Вот видите! Он говорит, что не всегда отшельниками становятся по доброй воле. Иногда родители делают сына отшельником по обету, насильно. Вы себе представляете — достигнет юноша восемнадцати лет, и его вдруг на всю жизнь бросают в узкую зловонную яму, навсегда лишают света, воздуха, общения с людьми... на него даже после смерти нельзя смотреть людям. А вы говорите — не самое страшное! Нет, это ужасно!

Мы двинулись назад, по той же тропинке среди зарослей.

— О каком это сострадательном духе говорил лама? — спросил я, когда мы вышли на широкую дорогу и смогли идти рядом.

— О, это целая история! — откликнулся Милфорд. — Считается, что сострадательный дух воплотился в Великого Ламу. Это ему и поклоняются ламаисты. К тому же он создал и тибетцев. Дело было примерно так. Через Гималаи шел царь обезьян. В снегах он встретил горную дьяволицу и женился на ней. И вот однажды их потомство встретил сострадательный дух... Вы разве не видели изображение этого духа в комнате сестры Анга? Такую фигуру с десятком голов разного калибра, с уймой рук и двумя ногами? Ну, вот, сострадательный дух дал юным обезьянам волшебные зерна. Когда обезьяны съели эти зерна, шерсть их начала становиться все короче, хвосты исчезли, обезьяны заговорили — словом, они сделались людьми.

Меня эта легенда заинтересовала.

— А вы не думаете, Милфорд, что все это каким-то образом связано со “снежным человеком”? Все эти цари обезьян, горные дьяволы, человекообезьяны?

Милфорд в раздумье покачал головой.

— Нет, вряд ли. Тут уж, по-моему, скорее другая подоплека — история царя Сронгцаня Гамбо. До VII столетия тибетцы были совершенно диким народом — ходили в шкурах, мазали лицо красно-коричневой краской, приносили человеческие жертвы. Были они разделены на маленькие племена, вроде шотландских кланов, и все время дрались между собой. В конце концов, они заняли даже большую территорию, принадлежавшую китайскому императору. Тот вынужден был заключить с тибетцами мир и, выполняя одно из его условий, выдал свою дочь замуж за этого самого Сронгцаня Гамбо. Молодой царь очень быстро перенял от супруги иностранные манеры, построил ей роскошный дворец, оделся в шелка вместо шкур, отменил обычай красить лица. Сронгцань Гамбо, несомненно, принес много пользы своему народу. Он ввел в этой стране грамоту, отправил юношей учиться в Китай, научил своих соотечественников делать вино, ткать шелка, строить каменные дома и многому другому. Но, к сожалению, китайская супруга тибетского повелителя (как и другая, родом из Непала) была буддисткой. Обе они постарались обратить своего мужа в буддизм... Да, так вот эту легенду о происхождении тибетцев можно, пожалуй, связать с реформами Сронгцаня Гамбо: исчезновение шкур, появление письменности... Похоже на истину, не правда ли?

Тут мы подошли к мостику через пропасть. Я остановился. Нога болела, я устал и чувствовал себя просто не в силах снова переправляться по этой чертовой висюлке.

Однако Милфорд, к моему стыду, очень быстро и легко перебежал на ту сторону, балансируя на шатких бревнах. Мне ничего не оставалось, как последовать его примеру, и я, проклиная все на свете, ступил на бамбуковые стволы.



На этот раз все шло хуже. Бежать я не решился, а становиться на четвереньки было неловко, хоть и очень тянуло.

— Смелее! — крикнул мне Милфорд. И в эту минуту я упал. Нога проскользнула между бревнами, и я почувствовал резкую боль.

Упал я, к счастью, вдоль моста, а не поперек. Но и то у меня появилось ощущение, что я вишу в воздухе. Бамбук угрожающе прогибался, глубоко внизу ревела и пенилась река, а я лежал, беспомощный, словно связанный, и не знал, что делать.

Прибежал проводник, помог мне подняться, и я, охая от боли, дополз до берега. Милфорд был встревожен, — должно быть мое падение показалось ему со стороны достаточно. эффектным. Он ощупал мою ногу в щиколотке. “Вывих” — определил он, и, подумав, изо всей силы рванул ногу к себе.

Я заорал от боли и чуть не кинулся на него с кулаками. Однако сустав он мне вправил, а то бы я вовсе пропал, прежде чем дождался врачебной помощи.

Но так или иначе, а нам бы не удалось добраться до Дарджилинга в этот день, если б нас не нагнала повозка с двумя быками в упряжи. Хозяин за довольно скромную плату позволил мне лечь на мешки с ячменем и рисом. Милфорд с проводником шля рядом, держась за повозку, и мне было порядком стыдно: другие переходят мост, и хоть бы что, а я перетрусил, шлепнулся, всем хлопоты доставляю.

Мы появились в Дарджилинге поздно вечером. Нас уже начали искать. Больше всех, пожалуй, тревожился Анг. Он сидел в нашей комнате и выбежал навстречу, заслышав в саду наши голоса.

Когда Анг увидел меня, он ужаснулся. Я хромал, на щеке краснела основательная ссадина (это я с размаху ударился о ствол бамбука), руки тоже были немного ободраны...

— Куда вы ходили, сагибы? — сумрачно спросил мальчуган.

Милфорд увидел, что Анг волнуется, но не захотел щадить его.

— Мы искали тот храм, о котором ты говорил. Мы будем искать, пока не найдем его или не погибнем. Понимаешь?

Анг ничего не ответил и, насупившись, сел на корточках в углу. Мы мылись, переодевались, — он все сидел.

— Ночуешь у нас? — спросил я, и Анг кивнул головой.

Мы легли спать. Как только погасили свет, Анг подполз ко мне и зашептал в самое ухо:

— Сагиб, не ищи здесь. Храм в Непале, я знаю, где он.

— Ты пойдешь с нами? — тоже шепотом спросил я, приподнявшись на локте.

— Пойду, — с тяжелым вздохом ответил Анг. — Только мы все погибнем...

Он уполз на свое место и не шевелился до утра.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Наконец мы прибыли самолетом в Катманду, столицу Непала. Там мы несколько дней ждали носильщиков. Они с необходимым снаряжением двигались где на грузовиках, где пешком; грузы шли по канатной подвесной дороге, через горы. А мы тем временем осматривали город и его окрестности: это входило в программу экспедиции.

Анг прилетел с нами, — Милфорд не хотел оставлять его одного в Дарджилинге: боялся, что мальчишку отговорят от участия в экспедиции. Действительно, Нима очень не хотела отпускать Ангa и согласилась только при условии, что ее муж тоже пойдет в экспедицию и будет оберегать мальчика. Нима ничего не говорила о причине своих страхов; а ведь, в сущности, ничего особенного, с точки зрения шерпов, не было в том, что Анг хочет понемногу приучаться к профессии своих отцов и дедов; наоборот, для него такая экспедиция была большой удачей — кто же еще возьмет с собой мальчишку, не способного таскать тяжелые грузы? Ясно, что Ниму пугали не горы и ледники, а все та же семейная тайна...

— Как же она тебя отпустила? — поинтересовался Милфорд.

— Она думает, что я найду отца, — хмуро ответил Анг, опустив глаза. Милфорд пожал плечами.

— Надежда совершенно фантастическая, — сказал он мне. Но главное — Анг все-таки с нами!

Я ничего не ответил. Мне было так жаль Ангa, что если б это было в моей воле, я бы бросил всю затею с талисманом. Ни в какую месть богов я, конечно, не верил, но боялся что мальчишка заболит от постоянного гнетущего страха. Однако все зашло слишком далеко: Милфорд попросту не согласился бы отказаться от поисков, да и Анг твердо решил идти к храму, ибо думал, что мести богов он все равно уже не избежит. Но мальчик был так подавлен, что даже путешествие на самолете такое потрясающее переживание для любого из его сверстников! — произвело на него более слабое впечатление, чем можно было ожидать. Я смотрел на Ангa в самолете — он сжался в комочек и шептал заклинания; лицо его было равнодушным и усталым.

— Посмотри в окно, — предложил я ему.

Он пересел в мое кресло и стал глядеть в окно, продолжая шевелить губами. Потом покачал головой и жестами показал, что хочет вернуться на свое место. Там он опять сжался в комочек и закрыл глаза. Впрочем, надо сказать, что Анг, несмотря на свою живость и общительность, был наделен изрядной долей чисто азиатской сдержанности и непроницаемости. Радости он и в самом деле, возможно, не испытывал, подавленный

мыслями о грозном будущем, а страх, наверное, считал недостойным обнаруживать: ведь о самолете он давно слышал да и видел, что другие пассажиры сидят совершенно спокойно. Но страшно ему все-таки было, и эти минуты, когда он смотрел в окно и видел где-то глубоко внизу неузнаваемо изменившиеся родные горы, — дались ему, должно быть, нелегко.

Мне одно время казалось, что Анг меня ненавидит. И было за что! Но потом я понял, что он по-прежнему, несмотря на свою подавленность, питает ко мне хорошие чувства и даже на Милфорда ничуть не сердится. Мне кажется, что в его поведении сказывались не только буддийский фатализм и пассивность, но и редкое личное благородство: он сразу принял на себя всю вину за нарушение тайны и не хотел обвинять никого из нас, хоть и стоило бы! Мне временами до боли в сердце хотелось развязаться поскорее со всей этой туманной историей и не мучить Анга, — но сделанного не вернешь...

Итак, мы прилетели в Катманду. Удивительный город! Я думаю, к Гималаям просто невозможно привыкнуть, — так разнообразна их природа, так по-разному, в зависимости от условий, складывается быт их жителей.

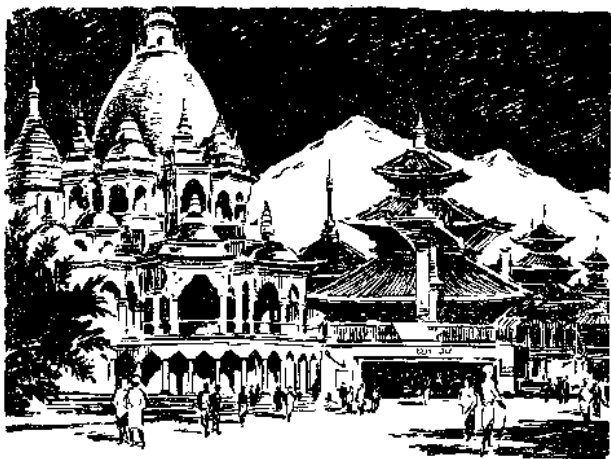
Первое впечатление от Катманду: да тут одни храмы, людям и жить негде! Действительно, храмов очень много — и буддийских и индуистских; эти своеобразные строения накладывают свой отпечаток на весь город. И дворцов много. Они окружены садами, обнесены высокими кирпичными стенами. Еще не так давно жители Катманду с ужасом глядели на эти стены — за ними совершалось немало кровавых и подлых дел. Магнаты ста семей из рода Рана, которым принадлежат эти дворцы, целое столетие поддерживали в Непале жестокий деспотический режим. Рана угрозами и казнями ограждали страну от проникновения чужеземцев, чтобы держать народ в темноте и повиновении. Сами-то они вовсе не сторонились чужеземного влияния! За сто лет в страну не завезли ни одного станка, ни одной машины, а во дворцы Рана кули на плечах тащили через горные перевалы все — от автомашин и зеркальных шифоньеров до безвкусеиных безделушек.

Конечно, в Катманду немало и жилых домов, — да и вообще город этот чрезвычайно оживленный. Живет в нем около 110 тысяч человек, и на узких улочках, замощенных каменными плитами или выщербленным от времени кирпичом, — постоянная толчея. Улицы похожи на крытые галереи — крыши и карнизы домов нависают над тротуарами, солнце падает на мостовую узкой полосой. Дома щедро украшены деревянной резьбой, — наличники окон, балкончики или тонкие деревянные колонны галерей поражают изяществом выполнения.

Уровень жизни здесь пока еще невысок, — ведь Непал стараниями своих правителей был так долго отгорожен от всего мира, что это не могло не сказаться на материальном благосостоянии населения. Однако все эти блестящие и оригинальные произведения искусства — храмы, дворцы, изваяния — говорили о том, что эту маленькую страну населяет очень талантливый народ.

В Катманду Милфорд вел себя спокойнее, чем последние дни в Дарджилинге. Ане. был рядом, от обещания своего не отказывался, надо было просто ждать. Анг обедал повести нас в таинственный храм только на обратном пути. Он раньше хотел пойти в горы, чтобы найти тело отца. Шерпы его не отговаривали, а даже поощряли — им казалось, что это очень достойный замысел. Я вообще отмалчивался, а Милфорд понимал, что ничего тут не поделаешь, — Анг твердо стоял на своем и не хотел даже намекнуть, где находится этот храм.

Впрочем, следовало предполагать, что он где-то в горах, в глухих местах. В самом Катманду и вокруг него



го — масса храмов, и среди них такие широко известные не только в Непале, но и в Индии и Тибете, как “непальский Бенарес” — Пачпатинат, Боднат, Сваямбунат, привлекающие массу паломников. Но ни один из них не славился такими грозными и таинственными свойствами, как храм шерпской легенды, хотя легендой овеван тут каждый шаг. Мы повидали немало храмов, и некоторые из них производят сильное, можно сказать, незабываемое впечатление. Меня особенно поразил храм в Боднате, над полукруглым куполом которого возвышается четырехугольная, заостряющаяся кверху башня с парой косо прорезанных, удивительно живых и мрачных глаз, изображенных на каждой стороне. Это глаза всевидящего Будды, объяснили нам. Интересна и статуя индуистского бога Нараяна в храме Баледжи. Нараян изображен лежащим на ложе из змей; лежит он в очень

свободной и естественной позе, согнув одну ногу; вся скульптура будто плавает в искусственном водоеме — ее постамент уходит под воду.

Милфорд на эти красоты смотрел с интересом, но все время отпускал довольно злые шутки. Он вообще так свирепо нападал на религию — особенно на ламаизм, — что я даже подумал: нет ли у него каких-нибудь личных счетов со служителями культа на Востоке или на Западе. Для него, например, святость храма, в который мы собирались проникнуть, просто не играла роли. Или даже усиливала азарт. Опять повторяю — это все не от бесцеремонности: Милфорд, наоборот, относился с определенным уважением к местному населению, к его обычаям и приходил в ярость только тогда, когда сталкивался с религиозными предрассудками. Я думаю, что и его безжалостное отношение к страхам Анга отчасти объяснялось той же ненавистью к культам и к религиозным суевериям.

Но, конечно, и в Катманду Милфорд думал только о своих новых планах. Из-за этой его одержимости от нас отстали еще в Дарджилинге наши постоянные спутники Массимо Торе и Петер Кауфман. Милфорд стал невнимательным, резким; видно было, что все, кроме Анга и меня, его стесняют. Никто ведь не знал, в чем дело, — мы о талисмани, разумеется, никому не рассказывали, — и некоторые считали, что Милфорд не вполне здоров. И здесь, в Непале, мы поневоле как-то держались особняком. Но, как я уже говорил, Милфорд тут был спокойней, много рассказывал о здешних местах, так что мне его общества вполне хватало.

Ранним утром 10 мая наша экспедиция, наконец, двинулась в горы, к группе Эвереста, на северо-восток от Катманду. Поход предстоял довольно тяжелый и небезопасный, но надо ли объяснять, как сильно интересовал он всех участников. Даже Милфорд и Анг, казалось, забыли о своих тайных думах и разделили общее радостное возбуждение.

Мы шли по узким улицам Катманду, сопровождаемые любопытными взглядами местных жителей. Нас сопровождали новые друзья — непальские писатели и журналисты. Один из них оказался рядом со мной и Милфордом. Милфорд убедился, что непалец свободно владеет английским языком, и немедленно начал его расспрашивать о местных легендах, стараясь навести разговор на легенду Анга. Но наш спутник, по-видимому, ничего не слышал о храме, где погибли люди, и о мести Сынов Неба. Он рассказал нам, немало интересных легенд, в том числе и легенду о самой долине Катманду. Раньше тут, оказывается, было глубокое озеро, и в нем жили страшные змеи — “нага” (я сейчас же вспомнил сказку Киплинга о храбром мангусте Рикки-Тикки и о змеях Наге и Нагайне). Посреди этого озера вдруг расцвел лотос. И тогда святой старец Нагарджуна предсказал, что здесь будет храм. Он пробил ущелье в горах на юге, и туда хлынули воды озера, унося с собой змей.

— Возможно, это было сильное землетрясение, и вода ушла из озера в пролом, появившийся в горах, — предположил журналист.

— Да-да, — несколько рассеянно отозвался Милфорд. — В Непале ведь часто бывают землетрясения?

— Часто! — сказал непалец. — В 1950 году двадцать дней были такие, сильные толчки, что колебались вершины высочайших гор. Это было страшное землетрясение! Обвалы, наводнения... Погибло много людей.

— Да-да! Гималаи — молодые горы, — подтвердил Милфорд. Они еще не успокоились и даже расти не перестали. Может случиться, что многие вершины поднимутся еще выше или изменят форму...

Кажется, и я и непалец слушали с одинаковым интересом. Я тогда, во всяком случае, впервые услышал то, о чем рассказывал Милфорд. А он говорил охотно, как прежде, будто забыв о своих тревогах.

— Молодые горы... господа, до чего все относительно! Да, всего 25–30 миллионов лет назад... всего только! на месте Гималаев плескались теплые волны великого моря Тетис. Представляете себе, что это было за море? Оно тянулось от Атлантики к Тихому океану через всю теперешнюю Европу и Азию и разделяло два материка — Гондвану и Лавразию. Красивые имена, правда?

— Я что-то не вполне улавливаю, кто их придумал, — заметил я, — мастодонты, что ли?

— Будем надеяться, что не мастодонты. Это внесло бы чересчур большую путаницу в понятие прогресса, — отшутился Милфорд. — Итак, леди и джентльмены, — море Тетис спокойно существовало десятки миллионов лет и, вероятно, не помышляло о гибели. Но Земля в то время еще не успокоилась — да и кто ее знает, когда она успокоится! Она оглядела все кругом, и море Тетис ей почему-то не понравилось. Как я понимаю, ей показалось, что в этом месте красивей будут горы. Дело, конечно, нелегкое: на месте моря — и вдруг горы!

Но у Земли был свой расчет. Это первобытное море по своему недомыслию откладывало да откладывало на дне всякие осадочные породы. Да и то сказать — куда же их было деть? Вот Земля и принялась за эти осадочные породы. Сначала она подперла их снизу плечом. Но этого было мало. Правда, на поверхность уже вылезли хребты Кайлас и Ньенчен-Тангла — те самые, что теперь торчат в Тибете. Но все это были детские игрушки по сравнению с дальнейшим...

Мы проходили по площади перед королевским дворцом — трехэтажным каменным зданием в европейском стиле. Перед ним трепетал на свежем ветерке государственный флаг Непала — два красные с синей каймой зубца с изображением Солнца и Луны. Солнце в короне из лучей и Луна, утонувшая подбородком в опрокинутом полумесяце, имели человеческие лица с очень странным, не то удивленным, не то недовольным выражением. Мы свернули в узкую улицу, прошли мимо кинотеатра и почтовой конторы, мимо здания американской миссии. Английское и индийское посольства находились где-то неподалеку.

— А вот этого я еще не видел! Что это? — заинтересовался Милфорд, прерывая свой рассказ.

У небольшой деревянной пагоды возвышалась массивная каменная стена. На ней был высечен громадный — в пять человеческих ростов примерно — барельеф, ярко раскрашенный в желтый, красный и черный цвета. Он изображал какое-то четырехрукое чудовище.

— Это пагода Кот, — охотно объяснил непалец. — На стене изображено божество Кала Бхайбар.

— Так, так! — сказал Милфорд, с удовольствием глядя на чудовище. — Это напоминает об Индии. Все-таки, Алек, тибетское влияние меня почему-то раздражает. Может, потому, что я к Индии привык. Все эти грязные и жадные ламы... ну, да бог с ними!

Шедшие впереди проводники остановились — узкую улочку перегородила корова. Она стояла поперек мостовой, лениво помахивая хвостом. Обойти ее было трудно.

— Вот вам еще кое-что, напоминающее об Индии, — сказал я.

В Катманду коров много и, по-моему, они здорово мешают местному населению. Животное это считается, как и в Индии, священным; брахманист сочтет большим грехом ударить или хотя бы просто отогнать корову, даже если она пожирает его фрукты и овощи на базаре или перегораживает дорогу. Да и вообще тут как-то

особенно любят животных, устраивают для них специальные праздники. Есть, например, праздник собак — в этот день всех псов в городах и селениях украшают цветами и вкусно кормят... Мне эти обычаи казались хоть и странными, но симпатичными, а Милфорд считал, что индийцы, непальцы и даже тибетцы в этом отношении стоят гораздо выше европейцев, которые мучают животных, не понимая всей мерзости этого. Но с коровой Милфорд обошелся по-европейски бесцеремонно — схватил за рога и оттащил в сторонку. Проводники, испуганно поглядывая на него и на корову, поспешно миновали это узкое место. За ними двинулись остальные.

— Монти, у вас вид Тезея, победившего Минотавра, — сказал я, подходя к Милфорду. — Погодите, не шевелитесь!

Я сфотографировал эту группу. Корова стояла спокойно и смотрела на Милфорда своими томными глазами. Милфорд принял позу победителя. Снимок этот прекрасно удался. Он у меня и сейчас лежит в ящике письменного стола вместе с фотографиями Анга и другими снимками. Но теперь мне тяжело на него смотреть. Какие мы тогда были веселые! Все, кроме Анга... Вот и он на этой фотографии, стоит сбоку, с недетски грустным выражением на смуглом лице. Он все время шел рядом с нами, но в разговор не вмешивался и, наверное, занятый своими мыслями, даже не слушал, о чем говорят сагибы.

Мы двинулись дальше. Непальский журналист все еще шел рядом с нами.

— Так что же случилось дальше с морем Тетис? — спросил я. — Действительно, чисто женские капризы. Чем Земле мешало это море, спрашивается?

— Дальше было так, — продолжал Милфорд. — Земля ударила по Гондване, и та раскололась на громадные глыбы. Одна из этих глыб теперь называется Индостанским полуостровом. Море Тетис волей-неволей начало выливаться в проломы. Но Земле этого было мало. Она нажала на Лавразию, а та в свою очередь начала давить все на те же несчастные осадочные породы. Они не выдержали этого давления — начали изгибаться и мяться. Но все это шло слишком медленно, и Земля решила действовать энергичней. Она нажала изо всех сил, и морю Тетис пришел конец. Его дно сразу взлетело на высоту более шести километров. Кроме шуток, джентльмены, — величественное, надо полагать, это было зрелище! Все эти гигантские складки лезут вверх, запрокидываются на Индийскую равнину, лопаются, надвигаются одна на другую. Остатки моря Тетис стекают с трех могучих хребтов, размывают их, прорезают ущелья... Вы знаете, Алек, как странно сложены эти горы? Видали фотографии вершинного гребня Эвереста? Ведь он похож на застывшую слоистую волну... Конечно, все это делалось не так уж быстро, как я изобразил, но по геологическим масштабам — почти молниеносно. Гималаи, примерно такие, какими мы их видим, появились сравнительно недавно. Они продолжали еще расти, когда великая Атлантида в огне и громе опускалась на дно океана...

— То есть, 10–12 тысяч лет тому назад? — с удивлением спросил я.

— Да. Гималаи действительно молоды. Тут все еще — в росте, в движении. Грохочут сумасшедшие реки, растут горы, с невероятной быстротой движутся ледники. Тут ведь у вас ледники бегают, как слоны, верно, коллега? — обратился Милфорд к непальцу.

— О, да, это бывает. Ледник Кутъя в 1952 году за три месяца прошел 12 километров! — подтвердил тот. — И ледопад Кхумбу все время движется и грохочет. Но, конечно, не все ледники так ведут себя. Многие, наоборот, уменьшаются, тают. Есть ледники, которые за год отступают на километр с лишним... — Он помолчал и вдруг очень серьезно, почти мрачно сказал: — Советую вам, коллеги (он с явным удовольствием выговаривал это слово), — будьте осторожны в Гималаях. Наши горы опасны и коварны, поверьте мне.

Милфорд начал было подшучивать насчет того, что боги, обитающие на ледяных вершинах, не станут обращать внимания на каких-то там журналистов, к тому же все равно неверующих, но наш спутник поднял руку в знак протеста.

— Не надо смеяться над богами, которых вы не знаете. Может быть, их и нет там, на вершинах, — сказал он просто. — Я говорю о том, что может грозить каждому. Вы, — тут он на минуту взглянул прямо в глаза Милфорду, вопреки восточному обычаю, — вы идете в горы в очень тревожном состоянии духа. Горы этого не любят. Я посоветовал бы вам вернуться, но знаю, что вы меня не послушаете.

Мы даже остановились, — так поразило нас это совершенно неожиданное заключение. Больше всех потрясен был Милфорд. Я впервые увидел, что он растерялся и даже несколько побледнел под медным слоем загара. Анг с ужасом взглянул на непальца, потом только ниже пригнул голову и замкнулся в своем хмуром стоицизме.

Я так и не понял, каким образом непалец почувствовал тревогу и напряжение, которые владели Милфордом. Но, возможно, я уже несколько привык к его настроению за последние дни, а для свежего человека, чуткого и умного, кое-что могло показаться странным и в нервической веселости англичанина, и в угрюмом молчании Анга.

Милфорд заговорил не сразу — по-моему, у него перехватило дыхание.

— Спасибо, коллега, — сказал он наконец очень искренне и печально. — Вы, должно быть, правы. Но я не могу иначе поступить.

В эту минуту я впервые ощутил веяние какой-то близкой и грозной опасности — даже холодок пробежал по спине. Анг стоял, отвернувшись и опустив голову. Я положил ему руку на плечо, — он не оборачивался. Милфорд посмотрел на нас и принужденно усмехнулся.

— Идемте, мы отстаем, — сказал он наконец.

В угрюмом молчании мы догнали своих товарищей уже при выходе из города. Здесь непальцы распрощались с нами и долго еще стояли, глядя нам вслед.

Впереди расстиралась зеленая цветущая долина Катманду.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Шестнадцать дней шли мы к горной стране шерпов, Соло-Кхумбу, лежащей среди величайших в мире вершин.



Сначала мы проходили долину Катманду, со всех сторон окруженную ледяным частоколом горных пиков. Дорога эта не из легких, но места чудесные. Караванная тропа, ведущая в Тибет, то опускалась в долины бесчисленных горных речек, над которыми висели шаткие деревянные мостики, то, снова поднимаясь, вилась среди полей и садов, среди нарядных белых и темно-желтых домиков с соломенными крышами и величественных храмов. Кругом цвели бесчисленные, сказочно прекрасные цветы и летали птицы, похожие на ожившие цветы, — ярко-алые, светло-голубые, красно-зеленые. Мы купались в ледяных прозрачных реках, бегущих со склонов великих гор, много фотографировали, и, в общем, можно сказать, наслаждались жизнью. Я почти забыл или старался забыть о мрачных предчувствиях, с такой силой охвативших меня при выходе из города, и даже избегал Анга и Милфорда, чтоб не нарушать то блаженное состояние, в котором находился все эти дни.

Но Милфорд не спускал с меня глаз. Я понимал, что ему нужна моя помощь, и меня это не радовало. Как это льстило бы мне в начале нашего знакомства! А сейчас мне иной раз и глядеть на Милфорда не хотелось. Но отказаться от участия в его затее я не решился — было жалко и его, и особенно Анга.

На одном из привалов Милфорд, видимо обеспокоенный моим отчуждением, подсел ко мне и стал опять, как в начале нашего пути, рассказывать удивительные истории, случавшиеся с ним в Индии. Но меня и эти истории не так увлекали, как раньше, — слишком уж понятно было, чего добивается Милфорд.

Я смотрел на поля, засеянные озимой рожью и пшеницей. Невдалеке была деревушка. Невысокие смуглолицые мужчины в светло-серых одеждах и женщины, украшенные большими серьгами и цветными стеклянными бусами, трудились, согнувшись, на своих клочках земли: коротенькой мотыгой и граблями вместо бороны разрыхляли землю, потом засевали ее вручную; на других полях убирали картофель. Милфорд увидел, что я смотрю на крестьян, и решил переменить тему разговора:

— Сейчас кончается период “байсак”, — сказал он. — Сеют перец, горох, кукурузу; потом — в периоде “зайста” — будут убирать рожь, потом рис посеют. Труд нелегкий, а урожай не бог знает какие. Да ведь при такой агротехнике чего и ждать...

— Эх, скорей бы все это кончилось! — с тоской сказал я, и Милфорд сразу понял меня.

— Да, разумеется, — согласился он, вздохнув. — Но вот Анг никак не хочет идти сейчас в храм, — уверен, что боги покажут ему на ледопаде тело отца... Ну да, я знаю, вы думаете, что я бессовестно мучаю Анга... Потом вы поймете меня!



После разговора мне опять стало не по себе. Я пошел к деревне. На выпасах бродили коровы, тощие и

маленькие; около одного из домов я увидел свинью, худую, как собака; на хребте ее дыбом стояла черная щетина — вид был устрашающий. Свиней тут вообще очень мало и откармливать их не умеют. Я побродил немного среди беспорядочно разбросанных домов, окруженных абрикосовыми деревьями, миндалем, сливами, бананами. Дома тут в деревнях двухэтажные, из необожженного кирпича, обмазанные глиной и известкой. Окна только на втором этаже, и то они заслонены навесом галереи — от солнца и дождя; стекол в них нет. Внизу — кухня, мастерские, зимние помещения для скота и кур; вверх — жилые комнаты и склад провизии. Топят шишками, хвоей, навозом, “по-черному”, как когда-то в России — без трубы, дым уходит в окна. Мебели никакой нет спят на

циновках, днем их свертывают.

Меня обступила толпа черноголовых смуглых ребятишек, почти голых. Я вынул из кармана горсть леденцов в ярких бумажках и раздал им — они замерли от восторга и недоверчиво смотрели на конфеты, не решаясь их съесть. Я заметил, что один из них очень похож на Анга — только года на три моложе его — и мне стало еще грустнее...

Я вернулся в лагерь, разыскал Анга — он сидел на корточках у палатки — и сказал ему:

— Анг, если ты думаешь, что тебе грозит опасность, лучше бросим все.

Но Анг только безнадежно покачал головой.

Наконец, перейдя у Джубинга ревущую Молочную реку Дуд-Коси, собирающую свои воды у подножия Эвереста, мы повернули вверх по ее течению, прямо на север. Пройдя перевал на высоте 2750 метров, мы вступили в страну шерпов — Соло-Кхумбу.

Это была опять совсем новая страна. Горы тут стали круче и грознее; деревни лепились на их скалистых склонах, как птичьи гнезда; полей было меньше; на альпийских лугах паслись яки, овцы и козы. Мы шли тропой по склону ущелья, прорезанного Дуд-Коси, среди густого леса. Вокруг теснились гигантские кедры и ели попеременно с цветущими рододендронами и магнолиями; внизу шумела река.

Похолодало; мы оделись теплее. Идти стало трудней; многие уже чувствовали первые признаки горной болезни: звенело в ушах, тошнило, начались головные боли. Но мы все время то спускались, то поднимались, постепенно забирая все выше, и большинство наших спутников понемногу привыкало к разреженному воздуху.

Жители деревень, расположенных вблизи от караванной тропы, по которой мы шли, встречали нас очень приветливо: почти в каждой деревне были родственники наших носильщиков-шерпов. Нас тут же начинали потчевать уже известным нам с Милфордом чангом, а также тибетским чаем — с солью и яковым маслом: проглотить его, надо, сказать, трудновато, а выплевывать, разумеется, крайне невежливо. Мы морщились и стоически глотали это удивительное питье, а столпившиеся кругом шерпы одобрительно цокали и бормотали: “Чили-нанга!”. (Чужеземцы!). Некоторые из местных шерпов отправлялись с нами дальше, чтоб помочь своим родственникам. Мы с трудом шли налегке, а шерпы тащили за плечами груз по 20–30 килограммов, укрепив его на широком ремне, протянутом через лоб.

У шерпов нет ни городов, ни больших сел; мы шли в самое большое из местных селений — Намче-Базар, расположенное поблизости от монастыря Тьянгбоче.

Шерпов всего около ста тысяч; они монгольского происхождения, и название их племени означает “человек с востока”. Хотя из Тибета они переселились сюда очень давно, многие из них принадлежат к приходу большого тибетского монастыря Ронгбук, находящегося по ту сторону Эвереста, и ходят туда молиться через высочайший снежный перевал; из Тибета идет сюда соль, вяленое мясо яков, некоторые товары. Шерпы вообще сами производят почти все, что им нужно, и только кое-какие мелочи покупают в проходящих караванах, — на территории шерпов нет ни рынков, ни торговых складов. Но они ни в чем не терпят недостатка и питаются, хоть грубо и однообразно, но сытно.

Главная опора человека здесь — як. Он дает молоко, масло, грубую шерсть и помет, служащий топливом; а когда як умирает (убивать животных запрещает буддийская религия), то все идет в дело — и мясо, и шкура, и рога, и даже хвост? — пушистые белые хвосты яков издавна служат почетным украшением для знатных людей. Як может передвигаться с грузом по крутым каменистым склонам и узким горным тропам, — впрочем, здесь даже овец и коз подчас заставляют таскать небольшие грузы.

Верхняя часть страны шерпов, суровое каменистое Кхумбу (о нем преимущественно я и говорю; южное Соло несколько мягче по климату и больше похоже на долину Катманду) лежит на высоте, в среднем достигающей четырех километров над уровнем моря, у самого подножия гигантских ледяных пиков. Шерпы спокойно живут и трудятся в условиях, к которым нам было трудно привыкнуть даже на время: на высоте до 4200 метров они выращивают ячмень и картофель (картофель и ячменная мука “дзамба” — их основная пища), тщательно возделывая и удобряя малейшие клочки земли, пригодные для посева. Мальчуганы пасут стада яков, коз и овец далеко на горных склонах, на богатых альпийских лугах, доходя иной раз до границы вечных снегов на высоте более пяти тысяч метров. Удивительный народ — их сама природа словно готовит для роли проводников и носильщиков в родных горах, для славы “тигра снегов”.

Мы разбили базовый лагерь неподалеку от монастыря Тьянгбоче, в очень живописном месте, — над глубоким ущельем реки Имжи-Кола, среди великолепных елей, берез и цветущих рододендронов. Монастырь — приземистое, с плоскими крышами и карнизами здание типично тибетской архитектуры: его уступы будто повторяют уступы окружающих гор, — стоял на высоте 3700 метров. Наши палатки вскоре забелели среди сочной, густой травы в рост человека, — невдалеке начиналась зона альпийских лугов. На лугах паслись яки и овцы. Впрочем, тут и диких животных, и птиц было полным полно: ущелье Имжи-Кола превратилось в настоящий заповедник, потому что монахи запрещали здесь охоту. Наши охотники застонали от огорчения, узнав об этом запрете, — кругом важно прохаживались гигантские горные индейки и фазаны, спокойно щипали траву невдалеке от яков стройные кабарги; где-то в зарослях бродили черные волки, снежные барсы, гималайские медведи...

Здесь наша экспедиция, как я уже говорил, разделилась. Наиболее слабые собирались просто отдохнуть перед обратной дорогой и походить у границы вечных снегов — авось, увидят “снежного человека”. Тем, кто чувствовал себя достаточно здоровым и подготовленным, предлагался маршрут: пойти к деревне Дингбоче — летнему селению шерпов, оттуда совершить поход вдоль гигантской ледяной стены Нуптзе и подняться на сравнительно небольшой, но интересный для восхождения пик Чукхунг. Это был, по-моему, хороший альпинистский маршрут, и я с удовольствием пошел бы с этой группой... Но где там! Мы с Милфордом направлялись на ледопад Кхумбу.

Мне кажется, затея это была какая-то нелепая: вечно грохочущий и движущийся ледопад — вовсе не место для любопытных туристов. Экспедиция Ханта шла через него поневоле — не было другого пути на Эверест. Но вот нашлись среди нас люди, которые во что бы то ни стало хотели увидеть этот ледопад. Об одном из них, американце Кларенсе Лоу, я знал, что он пишет книгу о покорителях Эвереста, и поэтому хочет своими глазами увидеть возможно большую часть пути, пройденного экспедицией Ханта в 1953 году. Я еще подумал,

узнав об этом: “Если так, почему бы ему не забраться заодно и на вершушку Эвереста тогда-то он уж все будет знать!” Но у Лоу хоть дело было он и в Дарджилинге все время проводил с Тенсингом, собирал материал. А чего хотели другие, я даже не знаю. Да нас и шло туда всего шесть человек, кроме носильщиков и Анга.

Милфорду в дороге удивительно везло на всякие предзнаменования. В Катманду ему журналист предрек опасность, грозящую в горах. А тут, недалеко от монастыря, он и Анг встретили йети — снежного человека! А встреча с йети, по поверьям шерпов, предвещает смерть.

Вышло это так. В базовом лагере мы пробыли с неделю — надо было акклиматизироваться. Горная болезнь давала себя знать; одни страдали больше, другие — меньше, но все жаловались на одышку, головные боли, бессоницу и вялость. Постепенно мы привыкали спать на высоте; потом стали переносить палатки еще выше. Перетаскивали свою палатку и мы с Милфордом, поставили ее между двумя большими валунами.

Трава и здесь была густая, хоть и низкорослая, но зеленые участки то и дело перемежались каменистыми осыпями, торчащими скалами, валунами. Недалеке лежала граница снегов, за которой начиналось мертвое ледяное царство. Но растительность не сдавалась. Вовсю цвели карликовые рододендроны; их алые, желтые, розовые цветы все так же пахли лимоном. Светились, как языки огня, желтые непальские лилии, пестрели бесконечно разнообразные примулы, анемоны, белели эдельвейсы. Среди скал и каменных россыпей пылали ало-розовые заросли полигониума и резко выделялись крупные красные и голубые цветы дельфиниума. Травы здесь словно кутались от холода в пушистый белый покров и казались шерстистыми на ощупь, а цветы яростно горели под горным солнцем, купаясь в щедром потоке ультрафиолетовых лучей.

Гигантская группа Эвереста в прозрачном горном воздухе казалась удивительно близкой — полчаса ходу, не больше. Небо было густо-сапфирового, какого-то неземного цвета, снег отливал розовыми и сиреневыми тонами.

Мы легли спать втроем в маленькой палатке. Милфорд так боялся отпустить Анга от себя хоть на минуту, что я ехидно предложил:

“Да связались бы вы с ним веревкой, как полагается альпинистам, — и дело в шляпе”. Милфорд невесело усмехнулся.



Заснуть нам не удавалось. Болела голова, сердце билось, как колокол, звенело в ушах. Да и холодно было, даже в спальных мешках. Я встал, чтобы одеться потеплее. Милфорд тоже встал. И тут Анг вдруг выполз из палатки. Он-то не страдал от горной болезни — высота в пять с лишним километров была для него привычной с детства: он ведь родился и рос в Соло-Кхумбу. Милфорд забеспокоился и вскоре отправился за ним. Я услышал, как он тихонько окликнул Анга; потом загрелись камни под его шагами. И вдруг шаги резко оборвались; я услышал подавленное восклицание. Я как раз натягивал свитер и поэтому не сразу выбрался из палатки.

Милфорд и Анг стояли почти рядом недалеко от меня и остоленело глядели на выступ скалы, залитый ярким лунным светом.

— Вы что? — спросил я.

— Снежный человек, — сказал Милфорд. — Он был здесь, только что — и сразу исчез вот за тем выступом.

— Вот это здорово! — ошеломленно пробормотал я. — Какой же он?

— Да примерно такой, как нам описывали... Выше меня ростом, весь в густой серой шерсти, сильно сутулится, руки висят. Ходит быстро и ловко. Ну, и морда у него — безволосая, но совершенно обезьянья и очень злая. Настоящий горный дьявол! Можно поверить, что он людей утаскивает и убивает ведь силища-то у него, должно быть, страшная. Мне даже не по себе стало...

И тут мы увидели, что Анг лежит ничком, обхватив голову руками. Вся поза его выражала отчаяние.

— Анг, ну что ты? — тревожно спросил Милфорд, трогая его за плечо.

Анг пробормотал, не поднимая головы:

— Боги гnevаются... это их знак... йети — вестник смерти...

Милфорд вздохнул.

— Идем спать, Анг, йети — зверь, и богам до него нет дела.

Они ушли в палатку. Я на минуту задержался у входа. Луна резко вычертила границы угольно-черных теней и серебряно-голубого света. Не было переходов, полутонов — необычайно яркий, мертвенно-голубой свет падал с черного неба, усеянного очень крупными, колючими звездами. Ледяные вершины, залитые мертвым светом; могучие уступы, словно лестница гигантов; уходящие в небо крутые склоны и хаотическое нагромождение скал — все это выглядело сейчас до того необычным, что мне почудилось, будто я попал на другую планету — может быть, на Луну, — и один стою в этом мертвом и страшном мире.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Дальше события начали разворачиваться с головокружительной быстротой — события странные, непонятные, ужасные. Мне так тяжело обо всем этом вспоминать, что я расскажу как можно короче.

Итак, мы отправились на ледопад Кхумбу. Представьте себе, что гигантская река, с бешенством вздыбив крутые волны, вырвалась из тесного ущелья на волю — и тут же оледенела на бегу, схваченная жестоким морозом. Примерно такое впечатление производит этот проклятый ледопад. В довершение сходства с рекой он непрерывно движется и грохочет. Там все меняется на глазах: вдруг рассыпаются грозные ледяные башни, разверзаются новые гигантские пропасти и с грохотом смыкаются края прежних трещин. Движущийся лед, коварнейший и опаснейший в мире; трещины, хитро присыпанные снегом; хаос ледяных обломков и зловещий грохот обвалов — вот что такое ледопад Кхумбу!

К счастью или к несчастью, мы пробыли там всего часа два. Путь нам преградила громадная трещина, возникшая только что, на наших глазах. Кларенс Лоу настаивал на том, чтоб пойти дальше, а трещина, шириной метров в пять, протянулась чуть ли не через весь ледопад. Тогда шерпы обвязали веревкой одного из своих товарищей и спустили его в провал. Он должен был сыграть роль “маятника”: раскачаться, уцепиться за противоположный край трещины, перелезть туда и надежно закрепить веревку, — по ней пройдут остальные.

Я смотрел на эту рискованную операцию со смешанным чувством восхищения и недовольства. Я не понимал, зачем нам понадобилось лезть через эту проклятую трещину, — мы могли попробовать обойти ее, могли вообще повернуть обратно, хватит уже бродить по этому дьявольскому месту! Шерп раскачивался на веревке, ударяясь об острые ледяные края — несмотря на толстую одежду, ему, видно, здорово доставалось. Наконец, изогнувшись, он сильно оттолкнулся ногами от стенки и через мгновение тяжело упал по ту сторону трещины. Отдышавшись, он помахал нам рукой и улыбнулся. “А-ча!”¹ — крикнул шерп и начал привязывать веревку.

Но мне так и не пришлось переправляться по этой воздушной дороге. Произошло совершенно невероятное событие.

На ту сторону сначала переправился еще один шерп, — чтоб показать, как это делается, — потом Лоу. За ним полез Анг. Его страховал муж сестры — обмотал вокруг себя веревку, конец которой был обвязан вокруг



пояса мальчика. Не пройдя и половины пути, Анг замер, судорожно вцепившись руками в веревку. Лапка Чеди что-то крикнул ему. Анг махнул рукой, указывая вниз, — и сорвался с веревки. Шерп резко откинулся назад, натягивая страховочную веревку. Анг сильно ударился о стену и безжизненно повис, перегнувшись в поясе. Его вытащили, дали глотнуть коньяку из фляги Милфорда. Едва открыв глаза, он вскочил и снова упал. Он крикнул что-то по-шерпски, указывая на расселину. Лица шерпов выразили удивление и страх. Потом Лапка Чеди обвязался веревкой и спустился в трещину.

— Там его отец, — тихо сказал Милфорд. — Невероятно!

Действительно, произошло то, что могло показаться чудом не одним только шерпам. Прележав с осени до весны в ледяной пещере, образованной спаявшимися глыбами, труп отца Анга уцелел при всех подвижках ледопада; новая трещина открыла пещеру, и теперь шерпы вытащили труп на поверхность.

Перед нами лежал словно недавно умерший человек. Ноги его были совершенно раздроблены и, когда тело вытаскивали из трещины, болтались, как тряпки. Потускневшие глаза были широко раскрыты, рот искривлен: он, видимо, умер в своей тесной пещерке от кровотечения и боли, а, может быть, и от недостатка воздуха. Мы стояли над ним потрясенные; шерпы бормотали молитвы. Анг ничком лежал у тела отца.

Наконец, Лоу и другие наши спутники начали проявлять нетерпение. Конечно, и им показалось удивительным, что труп так долго сохранился на этом ледопаде, но ведь им-то не было никакого дела ни до шерпов, ни до нас.

— Что мы будем делать с этим? — крикнул Лоу через расселину, указывая на труп.

— А вот что, — немедленно отозвался Милфорд не очень дружелюбным тоном, — мы с коллегой и с этим мальчиком возвращаемся в лагерь. Троих носильщиков мы возьмем с собой — нужно унести труп. Остальные пойдут с вами.

Лоу нахмурился, но промолчал. Однако дело приняло иной оборот. Шерпы, охваченные суеверным ужасом, вообще отказались сделать хоть шаг дальше. Европейцы рассердились, но делать было нечего. Мы двинулись в обратный путь. Шерпы по очереди несли труп. Милфорд поддерживал Анга — тот еле плелся.

В Тьянгбоче был совершен обряд похорон. Тело сожгли, по шерпскому обычаю. Анг весь словно окоченел. От него нельзя было добиться ни слова. Только один раз он заговорил. Это произошло, когда Лапка Чеди расстегнул одежду погибшего, чтоб снять с шеи амулет. Это был очень дорогой амулет, по мнению шерпов, — я уж даже и не помню, что в нем было зашито. И вот в эту минуту Анг с ужасом сказал: “Черная Смерть!”

Мы подошли. На открытой груди шерпа резко выделялись большие черные пятна.

— Гангрена! — сказал я.

Но Милфорд покачал головой.

¹ “Хорошо” — шерпск.

— Черная Смерть... месть богов... — бормотал Анг, не сводя тоскливого напряженного взгляда с труп отца.

Лицо Милфорда выражало недоумение и тревогу.

— Алек, это ведь не гангрена, — шепотом сказал он. — Посмотрите на его руки... и на глаза.

Вытянутые вдоль тела смуглые руки шерпа точно обуглились — по пальцам от ногтей разливалась сантиметра на два та же угольная чернота. Узкой полоской проступала чернота и вокруг раскрытых, остекленевших глаз. Нет, конечно, это не гангрена...

— Черная Смерть... — монотонно бормотал Анг.

Лакпа Чеди с жалостью и тревогой глядел на него. Я тогда не знал, понимает ли он весь смысл слов своего маленького родственника. Потом оказалось, что шерп знал обо всем, но не стал препятствовать нам — или из почтения к европейцам, спасшим его жену, или просто он считал, что, нарушив обет, Анг все равно уже обречен.

Ночью я проснулся и увидел, что Милфорд не спит. Он курил, выпростав руки из спального мешка.

— Вы что, Монти? — спросил я.

— Хотел бы я знать, что там за чертовщина, в этом храме! — шепотом отозвался он.

— Монти, там неладно! Откажитесь от своей затеи! — взмолился я.

— Нет, я уже не могу отказаться, Алек! — Милфорд вздохнул. — И хотел бы, да не могу. Это сильнее меня.

Пожелав мне спокойной ночи, он залез в опальный мешок и отвернулся.

Три дня мы пробыли в базовом лагере. Милфорд все боялся, что Анг теперь откажется идти к храму. Но я понимал, что Ангу уже все равно: он считает себя смертником, обреченным.

Вечером третьего дня Анг сказал, не глядя на нас:

— Мне лучше, завтра пойдем. День пути отсюда.

Милфорд весь вспыхнул от радости, но сдержался, боясь обидеть Анга. Он только крепко сжал ему руку, — но Анг молча заполз в свой спальный мешок и до утра не проронил больше ни слова.

Встали мы еще затемно и начали собираться. Впрочем, мы старались не брать ничего лишнего. Ох, и не нравилась мне эта затея — чем дальше, тем больше! Теперь выходило вдобавок, что мы отобьемся от экспедиции и будем одни, без проводников, только с измученным, может быть, даже не вполне нормальным от страха и горя мальчишкой. Даже если ничего с нами не случится — как посмотрят на это непальские власти, не вызовет ли это каких-нибудь осложнений? Милфорд уверял, впрочем, что в этом смысле опасаться нечего, власти не очень оберегают высокогорные края, — да и мы можем сказать, что заблудились. Я и сам об этом серьезно не думали главным образом потому, что чувствовал: наша прогулка добром не кончится.

Если б я тогда знал, как все обернется!.. Да нет, если б и знал, ничего не изменилось бы. Милфорд не отступил бы в последнюю минуту от цели, а Анг уже примирился с мыслью о смерти. Я бы их не смог отговорить.

Единственное, что я мог сделать, — это хоть немного застраховаться на случай катастрофы. Я подготовил Лакпа Чеди и еще одного шерпа, чтобы они сопровождали нас издали и в случае чего пришли на помощь. Я обещал хорошо заплатить. Но шерпы и без того согласились идти.

— Только мы не подойдем к храму, а будем ждать поблизости, — сказал Лакпа Чеди.

В дороге я дважды нарочно отставал от спутников и видел, что шерпы издали следуют за нами.

Мы потихоньку выскользнули из лагеря и пошли по очень путаному и сложному маршруту на юго-восток. Анг вел нас довольно уверенно.

— Ты был уже там? — спросил Милфорд.

— Я иду туда в первый и последний раз, — угрюмо и тихо ответил Анг. — Мне рассказал отец.

К концу дня мы обогнули по узкому опасному карнизу громадный выступ скалы и оказались на небольшом уступе в ущелье. Анг порывисто вздохнул.

— Вот храм Сынов Неба! — сказал он, протянув руку вперед.

Ущелье было необычайно мрачным — узкое, глубокое, черное, без единого деревца или кустика. По ту сторону ущелья, прямо перед нами, на широком уступе стояло небольшое приземистое здание, неувлимо сливающееся со скалами, — тоже черное, мрачное и зловещее, без окон, с одной дверью, к тому же наглухо закрытой. Вокруг храма никого не было. Сверху, недалеко от храма, низвергался водопад, наполняя ущелье грохотом и брызгами.

— Сюда ходят паломники? — спросил Милфорд.

— Сюда никто не ходит, — все так же угрюмо сказал Анг.

У меня холодок пробежал по спине. Я даже плечами передернул. “Черт, уйти бы отсюда поскорей!” — невольно подумал я. Но Милфорд жадно вглядывался в храм.

— Там есть кто-нибудь? — спросил он. — И где мост?

— Там монах, — лаконично ответил Анг. — Мост вон там, за поворотом.

Мы поднялись наверх и пошли к мосту. Идти тут было очень трудно. Местность была совершенно пустынной и голой: кругом только хаотическое нагромождение обломков, скалистые уступы да каменные осыпи...

— Анг, а ведь ты говорил, что храм построен там, где на Землю спустились Сыны Неба, — опять заговорил Милфорд. — Что же они, на этот уступ и спустились?

— Они были выше, вон там, над ущельем. А храм они приказали построить так, чтоб его не было видно, — равнодушно пояснил Анг.

Мы перешли на ту сторону. Я за время пути неплохо освоился со здешними шаткими мостами и больше уже не падал так позорно, как в Дарджилинге. Но этот мост мог внушить ужас кому угодно. Он был когда-то сбит прочно, но весь прогнул от сырости. Половины планок не хватало, всюду зияли широкие просветы, перила почти на всем протяжении моста обломились. Даже Милфорд несколько заколебался. Потом мы решили связаться длинной веревкой и так идти. Первым прополз Милфорд, за ним — Анг. Пробрался кое-как и я.

Прежде чем подойти к храму, Милфорд взобрался наверх. Мы последовали за ним.

Местность здесь выглядела особенно странно. Посреди довольно широкого каменистого плато виднелась глубокая круглая котловина. Мы подошли поближе. Милфорд ходил по краям этой котловины и удовлетворенно качал головой. Потом он поднял странный камень, — будто отлитый в круглой форме или обточенный водой, без шероховатостей и неровностей, весь в сизой окалине.

— Что это? — спросил я, недоумевая.

— Как что? Видите же, он оплавился... Неужели вы до сих пор ничего не понимаете, Алек? Ну ладно, идемте к храму. Теперь вы скоро все узнаете!

Милфорд и Анг спустились по уступам, образовавшим что-то вроде лестницы, к площадке, на которой стоял храм. Я помедлил — и вскоре увидел шерпов на той стороне ущелья. Они помахали мне и уселись за выступом скалы. Я спустился, цепляясь за скользкие холодные скалы, и стал на площадке рядом с Ангом. Мы оба невольно отступили подальше от храма и жались к самому краю обрыва — места на площадке было очень мало.

Стоя так шагах в десяти от храма, я с волнением и страхом разглядывал странное мрачное здание, не похожее ни на одно из виденных нами за последние месяцы. Никаких скульптурных украшений, никакой росписи, голые, суровые, аспидно-черные стены; тяжелая крыша словно навалилась на здание, придавила его к земле. Больше всего поражало меня отсутствие окон и гнетущая тишина вокруг. Что за проклятое место!

Милфорд некоторое время постоял молча, приглядываясь к храму. Потом он, к моему удивлению, вынул из рюкзака длинный кусок кисеи (очевидно, от тропического шлема) и обмотал лицо и шею, заправив концы за воротник. На руки он натянул перчатки — и решительно шагнул к двери.

И тут появился монах. Он вышел из какой-то узкой щели в скале справа от здания и, крикнув что-то, загородил дорогу Милфорду.

Этот монах, внезапно вылезший из скалы, точно дух гор, производил впечатление странное и даже зловещее. Прежде всего, буддийские монахи не носят черного. А он был именно в черной одежде из грубой шерсти, покрытой какими-то зелеными пятнами, похожими на плесень, — одно это уже придавала ему странный вид. Ужасно было его лицо: иссохшее, пергаментно-желтое, с обтянутыми скулами, — оно походило на маску с узкими прорезами для глаз, тусклых и безжизненных; обнаженная рука, высунувшаяся из рясы, напоминала руку мумии — желтая, сухая, с четко проступающими сочленениями. Ужасен был и его голос — глухой, ровный, с неживыми интонациями, точно выходящий из могилы. И весь он как-то удивительно подходил к этому мрачному месту — к темным, слезящимся от сырости скалам и черному храму.

Он снова крикнул что-то, и я, не глядя, почувствовал, как вздрогнул и сжался Анг. Я повернул к нему голову, краем глаза следя за Милфордом и монахом.

— Он говорит — там Черная Смерть... — почти шептал Анг. — Он говорит — нельзя туда, говорит — нельзя рядом стоять. Скажи сагибу, чтоб он не шел, скажи!

Я кинулся к Милфорду и схватил его за рукав.

— Монти, не ходите туда! Ну, послушайте меня, Монти! Мы уже знаем, где этот храм, добьемся, чтоб сюда снарядили экспедицию! Монти, ведь вы же знаете, что Черная Смерть существует! Вы видели!

Милфорд посмотрел мимо меня.

— Нет, я пойду, — сказал он без выражения. — Я уже не могу отступить.

— Тогда я пойду с вами! — в отчаянии вскрикнул я.

— Не надо! — твердо и сухо приказал он. — Вы должны мне помочь потом... когда я выйду.

Он оттолкнул монаха и с силой дернул к себе дверь храма. Каменная дверь тяжело заскрипела на ржавых петлях и медленно открылась. Внутри была тьма. Потом острый белый луч фонарика выхватил из тьмы полосу неровного каменного пола и что-то круглое, тускло блеснувшее на полу. Больше я ничего не увидел. Милфорд шагнул внутрь, и дверь за ним закрылась с тем же зловещим скрежетом.

Я растерянно отошел от храма. Монах тоже отошел и принялся бормотать молитвы. Я стоял и напряженно думал — может быть, я напрасно не пошел туда? Словно угадав мои мысли, Анг с тоской прошептал:

— Хорошо, что ты здесь, сагиб... Мне так страшно... так страшно...

Очевидно, нервное напряжение достигло предела: Анг не мог больше держаться с тем хмурым стоицизмом, который так поражал меня в эти дни, и пожаловался, как измученный ребенок. Ведь он и был ребенком... Я положил ему руку на плечо, и мы оба стояли так некоторое время, неотрывно глядя на дверь храма.

Я не знаю, сколько мы простояли. Вероятней всего — не больше пяти минут. Но время словно застыло, и минуты казались часами.

Потом началось то, чего я не забуду до самой смерти... Дверь храма заскрипела и стала открываться — толчками, порывисто. Я кинулся, чтоб помочь Милфорду, и в ту же секунду дверь с отвратительным визгом распахнулась настежь. На пороге, на фоне тьмы стояло фантастическое существо в голубом светящемся ореоле.

Я даже не сразу понял, что это Милфорд. Волосы его поднялись дыбом и тоже светились голубым огнем. Он шатался.

За моей спиной раздался не то крик, не то протяжный стон. Я резко повернулся — лишь для того, чтобы увидеть, как Анг, в страхе пятась от сверкающей фигуры, закачался на миг на краю пропасти и вдруг соскользнул вниз, хватая воздух скрюченными пальцами. По ту сторону обрыва тоже раздался крик я краем сознания понял, что это кричат шерпы.

Когда пишешь, получается дольше, — все случилось в какие-то секунды. Я подбежал к обрыву, смутно разглядел тело Анга, повисшее на остром выступе глубоко внизу, и кинулся обратно, к Милфорду. Он уже отошел от порога, дверь захлопнулась, и при дневном свете фантастическое сияние угасло. Милфорд пошатнулся и сел на камни, безразлично глядя на шерпов, переползавших через мост.

— Вот я и побывал там... — сказал он угасшим голосом. — Все-таки я был там...

Потом он сразу и надолго потерял сознание. Я сначала подумал, что он умер, и растерянно оглядывался кругом, стоя перед ним на коленях. Надо мной наклонился монах и забормотал что-то, указывая на Милфорда. Мне показалось, что он считает моего друга уже мертвым. Но я уже заметил, что Милфорд дышит — слабо, прерывисто.

Тут появились шерпы. Прежде всего Лакпа Чеди спустился на канате вниз, и мы вытащили его вместе с Ангом. Анг был уже мертв.

Сейчас я не могу даже приблизительно вспомнить и описать, что я тогда чувствовал. Скорее всего, чувства мои были приглушены страшным ударом, и я действовал почти механически.

Я хорошо помню искаженное ужасом мертвое лицо Анга с кровавой пеной на губах, помню застывшие, неподвижные лица шерпов и рядом с ними — высохшую, пергаментную маску монаха. Но тогда не было боли, смертельной тоски, чувства невозвратимой утраты — всего, что с такой силой терзало меня потом... да и сейчас...

Шерпы сказали, чтобы я пока побыл с Милфордом, а они пойдут поищут веток, чтобы соорудить для него носилки.

— Что же делать с Ангом? — спросил я.

— Анг умер, — отводя взгляд, сказал Лакпа Чеди. — Мы его спрячем где-нибудь здесь. Потом вернемся за ним.

Шерпы ушли. Монах что-то сказал и уполз, как уж, в свою пещеру. Я остался наедине с мертвым Ангом и умирающим Милфордом. Мрачное режущее ущелье походило на ворота смерти да так оно и было! Монах снова появился. В руках у него была маленькая чаша из нефрита и клочок белой шерсти. Он сел на корточки перед Милфордом и начал осторожно протирать ему лицо этой шерстью, смачивая ее в какой-то пахучей жидкости из чаши. Я почти равнодушно следил за ним; однако через минуту Милфорд пошевелил губами. Монах протер ему уши и ноздри, провел клочком шерсти под подбородком. Милфорд открыл глаза. Монах встал и, что-то сказав, ушел в пещеру.

— Я умираю? — шепотом спросил Милфорд.

— С чего вы взяли, Монти! — запротестовал я.

— Он сказал, что я сегодня умру. — Я понял, что он говорит про монаха. — Да я и сам знаю! — Лицо его мучительно искривилось, не то от боли, не то от ужаса: он, должно быть, вспомнил все. — Помогите мне подняться.

— Не надо, Монти, — поспешно сказал я: мне не хотелось, чтоб он видел Анга. — Сейчас придут шерпы с носилками.

— Откуда шерпы? — вяло удивился Милфорд. — Я долго был без сознания? — Он с видимым усилием поднес к глазам руку с часами. — Нет, недолго. Не больше получаса. Я сам вышел оттуда?

— Сами. И вокруг вас было голубое сияние. Что там произошло, Монти?

— Черная Смерть... — неожиданно ответил Милфорд. — Теперь я знаю, что это. Очень хорошо, Алек, что вам не пришлось входить туда. — Он задохнулся и помолчал. — Это вроде нашей ядерной радиации. Сначала очень ярко засветился циферблат на часах. Я споткнулся, упал. И тогда я увидел голубой ореол вокруг большого колпака, в середине храма. Я об него и споткнулся. Может быть, сдвинул его. Наверное, под ним и есть запасы этой чертовщины. Я много фотографировал там. Возьмите пленку, не забудьте. И пластинки возьмите. Они там на стенах развешаны... я взял две... их трудно снять. Только будьте осторожны, Алек, — может, и они стали опасными. Возьмите у меня в кармане. И еще эту голубую штучку — я взял наудачу, не знаю, что это такое. Вы должны довести дело до конца... слышите, Алек, это ваш долг... Он закрыл глаза и долго молчал.

— Да, мне не выжить, — заговорил он наконец слабым, но ясным голосом. — Алек, вы все еще не понимаете, что это за храм и откуда там радиация?

— Монти, я главного не понимаю! — в отчаянии сказал я. Ведь вы же знали, что там очень опасно, — зачем же вы пошли туда?

— Это как раз не главное, — тихо ответил Милфорд и болезненно поморщился. — Впрочем, окажу вам, — я не знал, что так опасно, что это — неизбежная и быстрая смерть. Я думал, что все это гораздо слабее. А идти надо было! Алек, у вас-то еще все впереди, а я... если говорить честно, я разменял свою жизнь на мелочи. Интересного было много, жилось неплохо, но я знал, что вот умру — и никакого следа, некому вспомнить ни



семьи, ни прочной дружбы, ни настоящей любви... И... вам этого не понять, Алек, вы еще слишком молоды... но никаких настоящих дел. Так нельзя жить человеку, если он считает себя человеком. Может, это сентиментальная чепуха, но перед смертью... Обвиняемый, ваше последнее слово! Вы приговорены к Черной Смерти за нарушение тайны Сынов Неба!

Мне показалось, что Милфорд бредит. Я отвинтил крышку фляги и влил ему в рот коньяку. Милфорд поморщился, но глотнул несколько раз и тихо рассмеялся.

— Неплохо придумано, bravo, бэби! Это вы у меня научились, сознайтесь. Будете меня вспоминать, а? Ругать не будете за эту историю?

Я молчал, не в силах вымолвить ни слова. Глаза невыносимо жгло и щипало. Милфорд слабо пожал мою руку.

— Не надо, Алек. Я сделал то, что мог. Кто может больше, должен сделать больше. Вы должны, слышите? Хотя бы в память обо мне. Но и так... Слушайте, Алек, мы с вами невольно открыли великую тайну. Здесь были жители других планет — не знаю, откуда, может быть, с Марса или Венеры. Там, наверху, опустился корабль Сынов Неба. Это было давно — не знаю когда. Их уже нет в живых. Но они здесь были, они строили этот храм, хотя я думаю, что никакой это не храм, а оклад... ну да, оклад! Или что-то вроде. Там — остатки их корабля и, наверное, запас горючего. Какие-то радиоактивные вещества. Это и есть Черная Смерть, понимаете? Ну вот, я этой Черной Смерти успел наглотаться досыта. — Он опять закрыл глаза. — Никаких носилок уже не надо, Алек, разве вы не видите? Дайте еще коньяку, а то в глазах темнеет... Обязательно возьмите пластинки и прибор. И пленку. Уговорите Анга отдать талисман... где Анг?

Скрывать уже не было смысла, я все рассказал.

— Месть богов... бедный мальчишка! — прошептал Милфорд. Дорого же он заплатил за встречу с нами... Э, все равно теперь! Алек, я вас знаю, вы чересчур совестливый — сейчас же, при мне, снимите талисман с Анга! Я не дам вам покоя все равно — снимайте! Это просьба умирающего. И это — для людей, поймите вы!

Я не мог отказать Милфорду. Прикусив губы, прикоснулся к похолодевшему телу Анга, поглядел на его потускневшие, широко раскрытые глаза. Перерезал перочинным ножом тонкую золотую цепочку и снял талисман, принесший гибель уже двум его обладателям. Милфорд повернулся на бок и напряженно следил за мной.

— Да, вот так милость богов! — сказал он. — “Дешевый крест из серебра, спасающий от бед”! Помните Киплинга, Алек, — балладу о датчанине Гансе? Он носил амулет, подаренный невестой, и был убит в драке... впрочем, бог с ним, с Гансом... Постойте, Алек, о чем я? Да, так вот... когда Анна... австриячка Анна... впрочем, нет, не Анна, а Кэтрин... да, Кэтрин... я ведь и сам говорил, Кэт, что в Англии мне делать нечего, ты права... но если бы...

Он начал бессвязно бредить и кричать. Монах снова появился из расселины и внимательно поглядел на нас. Обращаясь ко мне, он поднял вверх два пальца, потом указал на Милфорда. Жестами он объяснил мне, что Милфорд умрет через два часа. Я отрицательно покачал головой. Тогда он приподнял руку Милфорда и показал мне. Я застонал от ужаса: от ногтей вверх по руке уже ползла знакомая мне бархатная чернота. Почернели и кончики ушей; узкие черные полосы легли вокруг глаз. Не было сомнений: Милфорд умирал. Однако монах вновь принес свое таинственное снадобье и обтер им Милфорда. Я попытался узнать у него, что это — он указал на небо. Я вяло подумал, что, пожалуй, и вправду рецепт этого лекарства прилетел с какой-то другой планеты. Оно, видимо, не излечивало, а просто на время поддерживало умирающий организм и, может быть, немного снимало боли. К Милфорду опять вернулось сознание, на этот раз совсем ненадолго.

— Алек, скоро конец, — сказал он совсем тихо. — Не забудьте взять пластинки и прибор... Я думаю, это особый металл, он не становится радиоактивным. Ведь отец Анга все-таки хоть минуту, да был в храме, а Анг не заболел от пластинки. Так что... А прибор проверьте по циферблату часов, — если они будут сильнее светиться при нем, спрячьте его куда-нибудь под камни и заметьте место... пусть за ним придут потом... Алек, дайте еще глоток... все темно... Помните, вы должны это всем рассказать... это великая сенсация... впрочем, к дьяволу сенсацию... вы должны понять, это очень важно. Расскажите там, своим, у вас есть толковые люди, пусть приедут сюда... покажите им все... не забудьте плевку... Лицо его быстро чернело; громадное черное пятно проступило на лбу.

Голос все слабел; я лег рядом с ним, чтоб слышать.

— Скажите, что мы заблудились... Случайно попали сюда... случайно... пусть шерпы молчат... да, они умеют молчать... если б не мы с вами, никто бы об этом не узнал... Алек, не забывайте меня, доведите это до конца... пусть ищут... обещайте мне, обещайте... даже если не верите, все равно...

Я крепко сжал холодеющую, почерневшую руку Милфорда; он ответил мне чуть заметным пожатием и какой-то тенью улыбки: он понял.

— Вы хороший парень... — прошептал он. — Все кончено... вот теперь я умираю... прощайте...

Он умер через минуту. Вдохнул, вытянулся, судорожно откинул голову набок — и все. Я упал рядом с ним и впервые в жизни потерял сознание — от горя и тяжелой усталости. Когда я очнулся, надо мной стоял монах и бормотал что-то. Мне было так плохо, что я подумал: “Наверное, тоже Черная Смерть”, и даже посмотрел на свои пальцы. Монах понял, о чем я думаю, и отрицательно покачал головой. Он поднес к моим губам флягу, и я послушно отхлебнул коньяку. Потом он заставил меня подняться и знаками показал на пещеру. Я кивнул головой. Темнело; по ущелью с воем неся сырой ледяной ветер; шерпов все не было. “Ночью в горах ходить нельзя, они где-то ночуют”, — подумал я. Задыхаясь от слабости, я вынул из фотоаппарата Милфорда катушку с пленкой, достал из его кармана две пластинки — такие же, как та, что в талисмане Анга, только по-

больше — и еще какой-то странный голубой прибор, очень маленький и изящный. Я вспомнил совет Милфорда и поднес поочередно пластинки и прибор к циферблату своих часов; свечение не усилилось. Тогда я рассовал все это в карманы и пошел вслед за монахом. Меня шатало, голова нестерпимо болела, и я почти не понимал, что происходит кругом. В пещере я сразу повалился на какое-то ложе, покрытое ковром, и уснул...

Не знаю, сколько я проспал. Когда я очнулся, была ночь. Чадила и коптила масляная свечильня, тени плясали по неровным каменным стенам, монах бормотал какие-то молитвы, — я не сразу понял, где нахожусь. Потом вспомнил все и застонал от боли. Монах жестами приказал мне выпить еще коньяку, потом достал отку-да-то вяленого мяса; я с трудом пожевал кусочек и снова заснул, будто провалился куда-то.

Проснулся я уже утром; в пещеру заглянули шерпы и окликнули меня. Я встал — и уже при выходе из пещеры понял, что пещера хорошо обжита, и что в ней тепло... да, тепло... и что тепло это идет от пола. Я даже нагнулся и притронулся рукой к камням — да, они были теплы, очень теплы. Монах, следивший за мной, показал на храм, потом на пол, но я не понял и молча покачал головой. Я поднялся — и тут, в узкой полосе света, падающей от входа, увидел еще одну пластинку Сынов Неба!

Она была прикреплена высоко к стене. Я приблизился к ней и хотел было рассмотреть повнимательней, но монах протянул руку, заслонив пластинку, и гневно сказал что-то. Ссориться с ним и действовать силой я решительно не считал для себя возможным. Впрочем, тогда я вряд ли и думал об этом — просто машинально заинтересовался и так же машинально отступил, встретив препятствие.

Я выбрался из пещеры. Шерпы уже унесли куда-то труп Анга. Потом они спустились вниз и я помог им уложить на носилки, коекак сплетенные из веток и перевязанные канатами, тело Милфорда. Лицо его почти сплошь покрылось черными пятнами и было неузнаваемо. Шерпы избегали глядеть на Милфорда; лица их выражали ужас.

Мы шли с полчаса по безжизненному скалистому плоскогорью — видно, к храму был и другой путь. Сияло солнце, дул сильный холодный ветер. Я еле плелся, силы меня оставили. Наконец мы спустились вниз по довольно пологой каменистой осыпи, и оказались на широком каменном карнизе. Осыпь была замкнута с обеих сторон скатами; немного вправо по карнизу в скале была узкая пещера — миниатюрная копия той, в которой жил монах. В глубине ее виднелся продолговатый холмик из камней; я догадался, что это могила Анга. Мы сняли с носилок тело Милфорда, уложили его в этой пещере, и шерпы на носилках натаскали камней, чтоб засыпать его. Я осторожно укладывал камни — мне все казалось, что Милфорд чувствует их прикосновение.

Потом мы бесконечно долго шли по каким-то тропам, ущельям, мостам. Если б не шерпы, я бы погиб; к тому же в конце пути я сорвался с уступа, ударился о скалу и довольно сильно расшиб руку и колено. Решительно не понимаю, как дотащили меня шерпы до лагеря. Там я пролежал несколько дней в состоянии полной прострации.

Мы с шерпами за всю дорогу вряд ли обменялись и десятком слов; однако на расспросы, почти не сговариваясь, отвечали одинаково — именно так, как советовал Милфорд: да, случайно заблудились, ночью сорвались со скалы, двое упали в реку, тела их найти не удалось, я зацепился за уступ. Все знали, как горячо привязан был я к Милфорду и Ангу, видели, как я убит горем, и никто не имел причин сомневаться в этой версии.

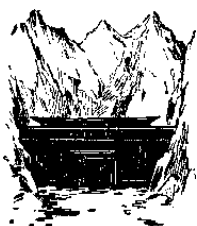
В Намче-Базаре есть радиостанция: оттуда связались с Катманду и договорились, что будет готов самолет, чтоб переправить меня в Индию. Как только я поднялся на ноги, мы двинулись в обратный путь, на юг. В более широких и удобных местах меня тащили на носилках, чтоб я хоть немного отдохнул и набрался сил. Лаппа Чеди и его товарищ — его звали Дава Намгьял — шли со мной; они, конечно, тоже не смогли дальше участвовать в экспедиции.

Обратная дорога прошла для меня, как в тумане, — от боли, слабости и горя я почти ничего не видел кругом, да и не хотел видеть: все сразу опротивело.

Из Катманду меня самолетом отправили в Дели. Оттуда вскоре самолетом же — в Москву.

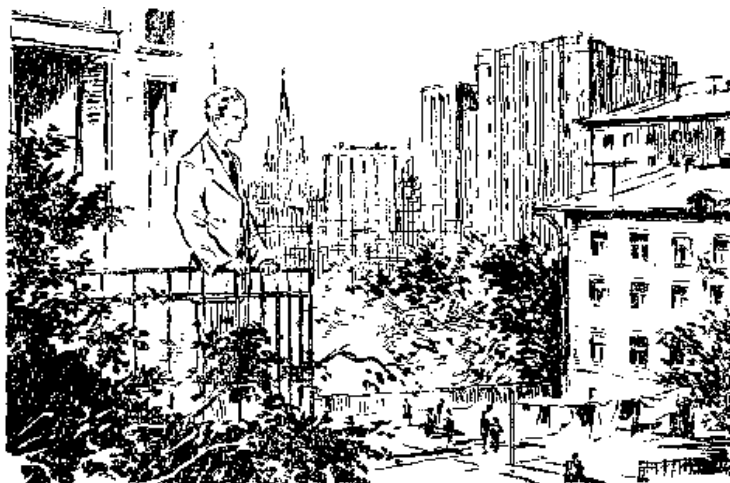
За эти дни я не раз вспоминал о предсмертных словах Милфорда. Я вез с собой все, что он велел взять, — пластинки, катушку пленки и голубой прибор. Но я запаковал все это вместе и даже не хотел вынимать и разглядывать. Странная пассивность, рожденная, как я думал тогда, усталостью, не позволила мне даже обдумать, верна ли теория Милфорда о происхождении пластинок. Я не мог думать. Одно я знал твердо: что последнюю волю Милфорда выполню. Покажу все это в Москве и пусть решают... Пусть решают, а сейчас я ни о чем думать не могу. Не хочу думать, не хочу помнить... устал, смертельно устал. Я не знал тогда, сколько сил мне понадобится вскоре, — но будто бессознательно копил их, временно выключая себя из окружающего мира. Впрочем, сейчас для меня ясно, что дело было не только в усталости и нервном потрясении. Очевидно, возле черного храма я получил, хоть и не смертельную, но все же солидную дозу радиации...

Так закончилась для меня эта страшная и необычайная весна в Гималаях.





ЧАСТЬ III



ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Когда я вошел в свою комнату и распахнул дверь на балкон, все недавно пережитое показалось мне сном. Вот он, с детства знакомый зеленый московский дворик. И старый тополь, доверчиво просунувший сквозь железные прутья балкона свои ветви, убранные седым пухом. В углу на веревке сохнет детское белье — это тетя Поля вывесила трусики и платица своей внучки Танюшки; когда я был мальчишкой, там висели, кажется, точно такие же трусики и цветастые платица, только носила их тогда Танюшкина мама, Валька, — ох, и отчаянная же была девчонка! Да вот и сама Валька, Валентина Петровна Стахеева, техник-электрик, спешит на работу. Дом уже проснулся. Мамаши и бабушки выкатывают колясочки во двор, выбегают ребятишки, дворник на зависть им пускает то туда, то сюда шипящую и сверкающую струю из шланга...

Я стоял, держась за перила балкона. Мне доставляло какое-то особенное, почти болезненное удовольствие любоваться этими привычными, мирными московскими картинками после всего пережитого.

В дверь постучали.

— Приехали наконец, Александр Николаевич! — звонко крикнула, появляясь на пороге, моя молоденькая соседка, Зиночка Латышева. — А вам все звонят, звонят — ужас! Я прямо с ног сбилась на звонки бегать!

Я неохотно поплелся в коридор и взял трубку. Звонили из редакции.

— Отыскался след Тарасов! — радостно прогудел заведующий отделом Силантьев. — Что с тобой было? Увлёкся снежными человечиками? Постой, постой, корреспонденция об этом в следующий номер, сейчас главное — жив, здоров... не перебивай, я знаю, понимаю, с дороги, устал, не можешь, но будь человеком, выручи, больше некому! Строк 80–100, в форме беседы. Поедешь в обсерваторию...

Я досадливо и растерянно усмехнулся. От Силантьева отделаться трудно, это всем известно.

— Я болен, у меня нога болит! — прокричал я в отчаянии.

— Чудак, я же тебя не рекорды посылаю ставить! Сейчас машину подошло, тихонько, культурненько съездишь, посидишь в кресле, поговоришь с дельным человеком, запишешь, что он сказал, — и отдыхай на здоровье! Ты пойми — Лидя ушла в декретный, Миша поехал встречать французскую делегацию, остальные в разъезде, а материал такой, что надо обязательно в завтрашний номер давать. Что-то там, в обсерватории, новое на Марсе нашли, какой-то у них новый телескоп имеется... в общем, интересные новости!

Эти последние слова заставили меня поколебаться. Глупо, но я уже чувствовал себя теперь обязанным заниматься всем, что связано с Марсом и с другими планетами.

— Слушай, Шура, ты же, тем более, уже писал об этом самом Марсе в прошлом году! — продолжал зывать к моей комсомольской совести Силантьев. — Ну, будь человеком, в конце концов!

В конце концов мне пришлось согласиться быть человеком. Тем более, что я и в самом деле в прошлом году организовал материал о Марсе. В этой статье приводились мнения известных ученых. Одни считали, что жизни на Марсе быть не может, другие — что она есть; в общем, любопытство читателей нашей газеты (как и мое собственное) возбуждалось, но никак не удовлетворялось.

— Присылай машину, людоед! — ворчливо сказал я. — Куда смотрит охрана труда? — и услышал, как Силантьев облегченно захохотал.

Я поспешно побрился, переоделся. Машины еще не было. Я вышел в коридор и взял трубку, раздумывая — звонить Маше сейчас или после поездки в обсерваторию. Вдруг аппарат задрожал от звонка, — я даже вздрогнул, схватил трубку и сказал: “Алло!” таким хриплым, ненатуральным голосом, что Маша меня не узнала.

— Скажите, Литвинов еще не приехал? — строго спросила она.

Я подумал, что ей было не очень-то приятно вот так звонить и спрашивать обо мне. А писем от меня она не получала уже давно. Последнее я написал из Катманду, по дороге в горы. Конечно, я ничего не сообщал о таинственной пластинке, но самое молчание мое должно было ее встревожить. А теперь я приехал и не позвонил сразу, и вдобавок еду куда-то, не повидавшись с ней... вот нелепое положение!

— Маша! — сказал я, прикрывая трубку рукой: я боялся, что нас слушает Зиночка или кто-нибудь из соседей. — Маша, это я! Я как раз собирался тебе звонить! Маша! Машенька!

Мне, как всегда, было приятно выговаривать ее имя. Маша это почувствовала и засмеялась.

— Ты такой же чудак, — с удовольствием сказала она. — Я думала, ты в Гималаях умнее стал. Ну, быстро ко мне! Ты видел снежного человека?

Когда я объяснил, что занят, Маша обиделась.

— Подумаешь, какой незаменимый! — проворчала она. — Два месяца без него обходились, а два часа не могут обойтись.

Тут мне пришла в голову блестящая идея.

— Маша, едем вместе! — закричал я в трубку. — Это же недолго. Потом я в редакции отдиктую материал — и к тебе. Идет? Маша, вот уже машина во дворе, я заезжаю за тобой!

Через четверть часа мы сидели рядом в машине и жадно глядели друг на друга. Маша, конечно, была все такая же, красивая и веселая. Лицо и руки у нее потемнели, а волосы посветлели от солнца: лето в Москве было раннее и жаркое. А я, видимо, изменился даже больше, чем предполагал.

— Что с тобой! — ужасалась Маша. — Почернел, исхудал, глаза провалились, вид какой-то дикий. Что у тебя, тропическая лихорадка была? И что это за шрамы на лице?

— Я тебе потом расскажу, — ответил я и подумал, что нелегко мне будет все это рассказывать, даже Маше.

Ошеломляюще яркие и мрачные картины вдруг встали в памяти: зеленый рай Дарджилинга и лукавое смуглое личико Анга, а потом проклятое черное ущелье, зловещее голубое сияние вокруг фигуры Милфорда... Черная Смерть... Я резко откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза. Маша осторожно притронулась ко мне.

— Шура, ты сейчас ни о чем не думай, — очень мягко сказала она. — Потом расскажешь. И не волнуйся. Ведь это все уже позади.

“Ох, если бы позади!” — подумал я. Мы остановились у обсерватории. Маша осталась ждать меня в машине. Она, конечно, заметила, что я хромаю, но ничего не сказала.

Мне нужно было поговорить с астрономом Арсением Михайловичем Соловьевым, — раньше я никогда о нем не слышал, но, как правильно заметил Силантьев, это характеризовало меня, а не Соловьева. Соловьев наблюдал Марс при помощи особого, телевизионного телескопа и увидел там что-то новое, очень интересное, — Силантьев даже не успел объяснить мне, что именно: так он обрадовался, что уговорил меня.

Идя по коридору вслед за сотрудником обсерватории, я думал, что это все же какая-то игра судьбы: не успел я приехать в Москву, как тут же на меня сваливаются какие-то новости, связанные с Марсом.

Удивительно, что в первый же день приезда в Москву мне довелось познакомиться с человеком, который впоследствии так много значил для меня. Но тогда, при первой встрече, я этого, конечно, не мог предполагать, хотя Арсений Михайлович Соловьев произвел на меня очень сильное впечатление. Наша с ним беседа так затянулась, что Маше пришлось долго просидеть в машине. И виноват в этом был, конечно, я сам.

Прежде всего, телевизионный телескоп, который применял для своих исследований Соловьев, был действительно последним словом астрономической техники. Теперь, наверное, многие уже знают о нем, — после небольшой корреспонденции в нашей газете появились другие статьи, более обстоятельные, в журналах, в специальных изданиях. Но тогда, в июне прошлого года, телевизионный телескоп был, по крайней мере для меня, совершенной новинкой, и я смотрел на него с любопытством школьника.

Арсений Михайлович привел меня в небольшую комнату без окон, со стенами, выкрашенными в темный цвет. Одну из стен целиком занимал огромный пульт с бесчисленным множеством кнопок, выключателей, ручек и сигнальных лампочек.

— Вот это и есть телевизионный телескоп, — неожиданно сказал Соловьев и усмехнулся, видя мое замешательство. — Конечно, самого телескопа здесь нет, он в специальной башне, а сюда изображение передается по проводам. Здесь находится пульт управления. Вот, смотрите, — он нажал какую-то кнопку, и в средней части пульта, щелкнув, как крышка портсигара, повернулась черная металлическая пластинка; за ней открылся небольшой квадратный экран. — Вот на этом экране и возникает изображение небесного тела. Можно сидеть здесь и наблюдать его через специальный окуляр, можно и фотографировать.

Мне показалось, что на таком маленьком экране не очень-то много увидишь, и я спросил — чем же это лучше обыкновенного телескопа. Соловьев объяснил — лучше прежде всего тем, что телевизионный телескоп значительно увеличивает яркость наблюдаемых небесных тел.

— Ведь телескопы нужны не столько для увеличения — это, между прочим, очень распространенное заблуждение, — сколько именно для усиления яркости. Даже самый простой, первый в мире телескоп Галилея собирал в сто шестьдесят раз больше света, чем зрачок человеческого глаза. Самые мощные современные телескопы собирают в миллион раз больше. Наш телевизионный телескоп дает возможность увеличить яркость изображения еще в десятки раз. А это очень важно. Видите ли, — тут Соловьев нерешительно поглядел на меня, должно быть, соображав, насколько я ориентируюсь в астрономии, и, смущенно кашлянув, продолжал: —

Вы, вероятно, знаете, что сейчас существуют телескопы, способные увеличивать изображение в десятки тысяч раз. Но практически астрономы такими мощными увеличениями не пользуются. Например, Марс обычно наблюдают при увеличении не более чем в 500–600 раз...

Я непонимающе качнул головой, и Соловьев мягко объяснил:

— Дело в том, видите ли, что при больших увеличениях гораздо резче сказываются атмосферные искажения. Ведь земная атмосфера, как вы понимаете, не обладает идеальной прозрачностью, к тому же постоянные перемещения теплых и холодных масс воздуха заставляют изображение небесного тела дрожать, колебаться. При больших увеличениях эти атмосферные помехи еще сильнее мешают наблюдению, — изображение расплывается, искажается, детали пропадают, смазываются, научное исследование становится попросту невозможным. А если при сравнительно небольшом увеличении добиться сильной яркости, то даже мелкие детали проступают довольно отчетливо.

Потом он объяснил мне, как устроен телевизионный телескоп. Я понял это примерно так. В фокусе мощного телескопа там, где возникает изображение небесного тела, — помещена приемная катодная трубка, вроде приемной трубки у передающей телевизионной камеры. От нее электрические сигналы после усиления передаются по проводам на другую электронно-лучевую трубку; она работает под большим напряжением, — отсюда и высокая яркость изображения.

— Существенно важно еще и то, — добавил Соловьев, — что с нашего телевизионного экрана гораздо легче фотографировать небесные тела. Яркость изображения тут так сильна, что для экспозиции требуется ничтожно малое время. А это позволяет ловить “спокойные” мгновения, когда атмосферные искажения отсутствуют. Кроме того, на этом телевизионном экране мы можем, не очень много теряя в четкости изображения, добиться больших увеличений. Ведь в обычных телескопах увеличение яркости достигается за счет увеличения площади объектива или зеркала. А ее нельзя увеличивать беспредельно — такие гигантские стекла начинают прогибаться в центре. А прогиб на какой-нибудь микрон дает непоправимое искажение. В Америке готовили объектив с пятиметровым диаметром, — так его установка заняла несколько лет, все не выходило как следует. У нас же объектив не очень велик; как я говорил, яркость достигается высоким напряжением, а увеличение осуществляется при помощи магнитных линз; дополнительное увеличение дает и наша оптическая проекционная система, — она у нас доведена до высокой степени совершенства. Мы можем, например, получить четкое изображение Луны диаметром до 25 метров. А это, как вы понимаете, позволяет увидеть очень многое из того, что раньше было недоступно человеческому глазу.

Я старательно записывал все, но эти последние слова заставили меня остановиться. Собственно, ведь из-за этого-то я и пришел сюда. Что же все-таки увидел Соловьев на Марсе? Но я сдержался и пока только выразил свое восхищение чудесным телескопом.

— А нельзя ли взглянуть, как он работает? — несмело спросил я, заранее предполагая, что говорю какую-то очередную глупость.

Соловьев, однако, не засмеялся, а только растерянно пожал плечами, — точно хозяин, которому нечем попотчевать гостя.

— Видите ли, — опять смущенно кашлянув, сказал он, — днем вообще смотреть что-либо трудно. Луны мы сегодня не увидим, а на Солнце смотреть в этот телескоп... просто, я бы сказал, неблагоприятно, — теперь он позволил себе улыбнуться. — Нет, в самом деле: ведь даже в обыкновенных телескопах мы ставим темные стекла, чтоб наблюдать Солнце, иначе оно выжжет глаза, а здесь, при увеличенной яркости...

Я смущенно рассмеялся и покраснел до корней волос, — есть у меня эта привычка краснеть по любому поводу.

— Скажите, а за рубежом есть такого рода телескопы? — опросил я.

— Есть в Америке. И у нас это тоже не первый, — живо отозвался Соловьев. — Первый был смонтирован в Пулковской обсерватории. А наш отличается от всех существующих систем прежде всего специальной электронно-корректирующей системой, — она очень снижает атмосферные искажения. И вообще могу честно сказать, что это — наиболее совершенное из всех известных мне устройств. Остальные пока мало что дали...

Соловьев посмотрел на пульт управления с ласковой улыбкой, как на живое и умное существо.

— И вам, конечно, удалось многого уже достичь при помощи этого чудодейственного телескопа? — спросил я.

Соловьев покачал головой.

— О нет, этого я не могу сказать. Во-первых, телескоп смонтирован всего месяц тому назад. Во-вторых, период противостояния Марса еще не начался. Вы, разумеется, знаете, что наблюдения над Марсом ведутся преимущественно во время противостояний... Хотя, конечно, наш аппарат дает некоторые преимущества...

Я сейчас же схватился за эти слова.

— Конечно же, он дает вам массу преимуществ! В сущности, может быть, впервые теперь можно по-настоящему наблюдать Марс! И вы, конечно, там увидели что-то очень интересное!

Соловьев мягко улыбнулся.

— Боюсь, что я вас разочарую. На основании того, что я пока видел, нельзя сделать никаких убедительных выводов. Мои наблюдения важны пока только для меня, как первое подтверждение некоторых гипотез. Но я вам о них не могу рассказать это еще нельзя давать в печать.

Тогда я сунул блокнот в карман, пообещал ни слова больше не писать о нашем разговоре и пристал к Соловьеву, как репей. Я думаю, тут сыграло роль крайнее напряжение, в котором я находился в те дни. Вдруг мне

показалось, что этот разговор сразу разрешит какие-то жизненно важные для меня вопросы. Хотя, надо признаться, это было нелепо. Ну, допустим, Соловьев заявил бы мне, что своими глазами видел марсиан. Даже это все-таки не решило бы всех вопросов, связанных с пластинками и проклятым храмом. Но в те минуты я ни о чем не думал и жадно выпрашивал Соловьева. Мы перешли, в другую комнату, уселись и начали беседовать.

Арсений Михайлович отвечал вначале очень сдержанно.

— Я не думаю, чтоб на вас мои наблюдения произвели особенно сильное впечатление. Нам удалось наладить непрерывную киносъемку Марса с экрана. При этом мы обнаружили, что из экваториальной области Марса произошло восемь вспышек. Каждая из них продолжалась 40–60 секунд. Добавлю еще, что вспышки эти происходили в предзакатный час (я имею в виду, разумеется, время не на Земле, а в той области Марса, где они происходили). Промежутки между вспышками достигали двух марсианских суток. Вот, собственно, и все...

— Ну, и что же из этого следует? — растерянно спросил я.

— А вот это зависит от того, каких взглядов придерживается ученый. Выводы тут пока что можно сделать самые различные. Поэтому я и говорю, что материал непригоден для опубликования... Я лично могу думать одно, а другие — совсем другое... А ведь о Марсе и без того опорочено много. Некоторые ученые считают, что сколько-нибудь развитой жизни на Марсе нет и быть не может; другие, напротив, доказывают, что там условно существуют, по крайней мере, растения. Некоторые, в том числе и ваш покорный слуга, идут в своих выводах еще дальше.

— Вы считаете, что на Марсе есть люди... то есть, разумные существа? — живо спросил я.

Соловьев уклончиво пожал плечами.

— Во всяком случае, я не считаю это невозможным, — осторожно сказал он и тут же добавил: — но я должен вас предупредить, что мои взгляды на этот вопрос большинство ученых совершенно не разделяет... считает их необоснованными и, так сказать, скорее относящимися к области фантастики... может быть, и научной, как добавляют из вежливости, но все же фантастики. В мою защиту можно сказать прежде всего одно: никто из нас до сих пор не имеет точного и ясного представления о том, что происходит на Марсе и каковы там условия существования. Вот, может быть, наблюдения, которые теперь ведутся при помощи искусственных спутников, да еще наш телевизионный телескоп помогут постепенно выяснить, кто из нас ближе к истине. Еще больше, конечно, помог бы полет на Марс; да что ж, и он не за горами.

Все, что говорил Соловьев, меня интересовало почти болезненно. Слишком еще живы были в памяти предсмертные слова Милфорда, слишком неотступно стояли передо мной все мрачные образы гималайской весны. Мне сейчас казалось, что чуть ли не все мое будущее зависит от того, что думает Соловьев о Марсе. Арсений Михайлович потом говорил, что его сразу поразила какая-то глубокая личная заинтересованность, звучавшая в моих настойчивых вопросах. А я так увлекся, что забыл о Маше, которая ждет меня, не обращал внимания на то, что беседа наша давно уже потеряла деловой характер и что я бесцеремонно отнимаю время у такого занятого человека.

Я читал о Марсе все же немного больше, чем о тех краях, где мне недавно пришлось побывать. Но познания мои были, разумеется, совершенно дилетантскими, и поэтому я, слушая Соловьева, ужасался собственному невежеству. Ведь я же действительно писал о Марсе в прошлом году! А между тем, стоило мне раскрыть рот, как я позорно садился в лужу. Например, я спросил, что же, по мнению Соловьева, означают эти вспышки на Марсе — уж не извержения ли вулканов? Соловьев очень живо отозвался на это.

— Да неужели вы придерживаетесь теории Мак-Лофлина? огорченно спросил он, и засмеялся, поняв, что мне это имя ничего не говорит. — Видите ли, Мак-Лофлин (это американский астроном) считает, что на Марсе имеется очень много действующих вулканов. Действием этих вулканов он и объясняет не понятные пока для нас особенности, замеченные астрономами на поверхности этой планеты. Вот, например, марсианские моря... — он приостановился и опять нерешительно поглядел на меня, ну, вы, конечно, знаете, что это вовсе не моря, воды в них нет. Но они меняют цвет в зависимости от времени года, и это дает основание предполагать, что они покрыты растительностью; отсюда их красновато-коричневый цвет весной, голубовато-зеленый летом и так далее. — Он правильно истолковал напряженное выражение моего лица и торопливо сказал: — Насчет цвета марсианской растительности очень убедительно пишет Тихов, вы прочтите. Так вот, Мак-Лофлин считает, что вулканы выбрасывают в атмосферу Марса массу пепла, а сильные ветры, господствующие на Марсе, разносят этот пепел в определенных направлениях. Этим взаимодействием пепла и ветров и создаются, говорит он, все причудливые очертания марсианских морей. Он считает, что и знаменитые каналы Марса в природе не существуют, что те линии, которые видны в наши телескопы — это полосы пепла: вулканы Марса якобы выбрасывают пепел в строго определенных направлениях... — Соловьев вдруг остановился. Вы не удивляйтесь, товарищ Литвинов, — извиняющимся тоном сказал он, — что я начал вам ни с того ни с сего излагать эту теорию Мак-Лофлина. Ведь теория-то нелепая, прямо-таки образец умозрительного построения, полностью оторванного от реальности. Но я сделал это потому, что ваше замечание, наверное, неожиданно для вас самого, — попало в цель. Мне досадно, что эти вспышки на Марсе Мак-Лофлин и его сторонники могут использовать как подтверждение своей теории! Ведь одним из важнейших аргументов, выдвинутых против его построений, было то, что до сих пор никто никогда не замечал извержений вулканов на Марсе... Правда, в 1954 году японские астрономы видели две вспышки; но даже если эти вспышки объяснить извержением вулкана, то это еще не подтверждает измышлений Мак-Лофлина насчет непрестанно действующих вулканов. А те вспышки, что наблюдал я, — и вовсе не вулканического характера...

— А что же на самом деле означают эти вспышки? — умоляюще спросил я. — И, пожалуйста, не сердитесь на меня за такие вопросы: я ведь совершеннейший профан в астрономии!

— Скажите, а почему, в таком случае, вас так сильно волнуют проблемы Марса? — удивился Соловьев. — Ведь вы дали слово не писать о моих наблюдениях. Значит, у вас есть личная заинтересованность в этом деле?

Я заколебался. Мне очень хотелось рассказать Соловьеву обо всем, что со мной случилось, и попросить совета. Но я не решался. Все-таки надо раньше выяснить, что же представляют собой эти пластинки! В конце концов я с трудом выдавил из себя:

— Мне... мне хотелось бы рассказать вам одну историю... но я не знаю...

И тут наш разговор оборвался. Зазвонил телефон. Соловьева срочно вызывали к директору. Я даже обрадовался, что сейчас не надо больше ничего говорить, от всей души поблагодарил Соловьева, записал его телефон, попросил разрешения позвонить позднее, и мы расстались.

Идя по коридору, я впервые взглянул на часы — и ужаснулся. Я пробыл в обсерватории чуть ли не полтора часа! Бедная Маша! Я помчался к выходу; кубарем, морщась и охая от боли в ноге, скатился по лестнице.

— Маша! — закричал я, выбегая на улицу. — Машенька! Ну, пожалуйста, не сердись! Я идиот, я олух!

Маша распахнула дверцу машины.

— Знаешь, я начала бояться, что тебе там плохо сделалось, — серьезно сказала она. — Ты ведь такой измученный! Но если дело обстоит именно так, как ты сообщаем, то все идет по-старому.

— Ты молодец! — я с облегчением засмеялся. — А теперь нам еще придется поехать в редакцию, я сдам материал и тогда буду свободен. Едемте в редакцию, — сказал я шоферу. — Маша, все это так интересно! Ты не сердись!

— Я не сержусь, но из редакции мы едем ко мне, — категорически заявила она. — Я умираю от любопытства.

— Конечно, — сказал я. — Еще бы! Я тебе все расскажу.

И тут же опять подумал, что просто не представляю себе, как все это ей рассказывать.

В редакции, к счастью, было пусто, и я потерял не слишком много времени, отвечая на вопросы вроде того, который мне еще по телефону задал Силантьев, — о снежных человечихах. Я пошел к машинисткам, продиктовал материал и отдал Силантьеву.

— Зря ты меня гонял, — мрачно заметил я. — Ничего они там пока не открыли.

— Так откроют! — оптимистически заявил Силантьев, читая статью. — Ишь, какую штуку изобрели! Шутишь, что ли: Луна в 25 метров диаметром! Там, небось, лунных жителей, и то видно, если они не поодиночке гуляют. Чего там, ценный материал, молодец, что выручил. А теперь езжай домой и строчи корреспонденцию о походе в горы. А то ты после этого самого Катманду замолчал, как в воду канул. Мы уж решили, что ты застрял где-нибудь на вершинном гребне Эвереста. А серьезно, что с тобой там было? — тут он впервые пристально поглядел на меня и ахнул. — Да ты что, Литвинов, ты ведь и вправду совсем больной какой-то? Прямо лица на тебе нет. Ты что это?

— Устал с дороги, — неохотно ответил я. — Потом вот в горах упал, ногу повредил.

И опять я почувствовал, что просто невозможно даже намекнуть на то, что со мной было в действительности! Ну, как это расскажешь? А рассказывать все равно придется...

— Ты домой иди, домой! — решительно сказал Силантьев. Сейчас машину вызову. Если б у нас телефон был телевизионный, как этот твой телескоп, я бы тебя нипочем не посылал ни в какую обсерваторию...

— Нет, что ты, мне было очень интересно... — возразил, я.

— Интересно, интересно, — ворчал Силантьев. — Мне тоже интересно, что с тобой происходит. Словом, давай домой, машина тебя уже ждет.

Но я, конечно, поехал не домой, а к Маше. Я хоть и устал, но чувствовал себя не так уж плохо, а поговорить с Машей мне было просто необходимо.

И вот опять все было, как прежде. Мы сидели в ее уютной солнечной комнате, за окном шуршали машины по нагретому асфальту, чирикали воробьи на карнизах, и могло бы показаться, что я никуда не уезжал. Я рассказывал ей все по порядку — о Милфорде, об Анге, о его пластинке, о походе в горы, к таинственному храму, о Черной Смерти, — конечно, короче и не так связно, как здесь, но в общем все, что произошло...

Маша слушала молча, не отрывая от меня глаз, — я видел, как они расширились и потемнели.

— И вот, Маша, — закончил я, — я чувствую, что обязан рассказать об этом людям. Надо добиться, чтоб в Непал отправилась экспедиция и по-настоящему изучила следы пребывания небесных гостей. Ты пойми, Маша, что какими бы осложнениями мне ни грозил рассказ обо всем, что произошло, я обязан добиваться экспедиции. Это мне завещал Милфорд перед смертью, это мой долг и перед погибшими товарищами, и вообще перед людьми. Будь что будет, а я доведу все до конца. Это теперь — дело моей жизни!

Эта мысль вначале была внятной, но к концу своего рассказа я уже понял, что это так и есть и иначе быть не может. Да, мой долг — довести до конца дело, за которое погибли Милфорд и Анг. Мой долг — рассказать человечеству об удивительных событиях, может быть, — кто знает! — имеющих немаловажное значение для ближайшего будущего нашей планеты.

Маша по-прежнему сидела неподвижно. Я коснулся ее руки, и это словно вывело ее из забытья.

— Ты с ума сошел! — сказала она с отчаянием. — Нет, ты просто с ума сошел! Это ужасно!

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Эти первые слова Маши довольно точно определили ее отношение ко всей истории... Я только потом, постепенно смог понять, что чувствовала Маша, слушая мой рассказ. А ведь это было понятно — просто я сам был слишком поглощен своими переживаниями и не подумал, что Маша может воспринять эти события иначе, совсем иначе. Она сразу почувствовала, что в нашу с ней жизнь, в наши мечты а будущем вторглась какая-то грозная сила, способная все разрушить. Ведь о том, насколько опасны мои новые планы и замыслы, можно было судить уже по моему внешнему виду: уехал здоровый, вернулся больной, измученный. Что она должна была чувствовать? Товарищи мои погибли, я сам чудом спасся — и теперь собираюсь продолжать эту игру со смертью — во имя чего?..

Так что Маша начала, в привычной своей манере, издеваться надо мной вовсе не потому, что ей было и вправду смешно: скорее она делала это от страха и растерянности — или, может быть, думала, что меня удастся переубедить... Но я — то понял тогда только одно: Маша смеется над тем, что стоило жизни моим товарищам, — и был потрясен. Я слушал, как она, нервно смеясь, предлагает мне написать “на гималайском материале” приключенческую повесть, — и мне было тоскливо и страшно.

Казалось, что все случившееся начисто отрезало мне пути в прежний милый и знакомый мир. Вот и от Маши, которую я так преданно любил, меня словно стеклянная стена отделила. Я вижу, как она сидит рядом со мной, уютно поджав загорелые ноги, на любимой своей тахте со множеством подушечек, вижу, как светятся на солнце ее русые волосы, как движутся ее губы, слышу слова, но на самом деле я очень далеко от нее, и мы совершенно не понимаем друг друга.

Должно быть, на лице моем выразилось отчаяние, потому что Маша ахнула и сразу переменяла тон.

— Шура, не сердись! Ох, какой я должна казаться тебе бессердечной эгоисткой! Ты пережил такую трагедию, так измучен, болен, а я... — На глазах у нее выступили слезы, она отвернулась, потом продолжала срывающимся голосом: — Я ведь потому, что ты слишком всерьез принимаешь эти свои находки... Я понимаю, этот англичанин тебе внушил... и обстановка такая была, впечатляющая... но я уверена, что все это имеет совершенно реальное и разумное объяснение.

Нет, стеклянная стена не исчезла, и я почувствовал, что смертельно устал. Мне больше не хотелось говорить, но обрывать разговор на полуслове было просто невежливо, и я вяло поинтересовался:

— А почему ты считаешь, что марсиане или вообще небесные гости — это непременно фантастика и нелепость?

— Да потому, что если б они были на Земле, мы бы давно об этом знали! — горячо ответила Маша. — Ну, правда, Шурик, ты же не считаешь всерьез, что такое событие, как прилет жителей другой планеты, могло пройти незамеченным? Ну, подумай!

Я растерянно поглядел на Машу. Мне это соображение как-то до сих пор не приходило в голову. Впрочем, я ведь вообще ничего не успел обдумать. В дороге я сознательно запрещал себе думать об этом, а в Москве сразу все на меня обрушилось в таком темпе, что думать было просто некогда.

— Вот видишь! — Маша сразу поняла, что попала в цель. Вот видишь! Ты отдохни, выпишись, а потом хорошенько подумай, посоветуйся с учеными...

Все равно, это был вовсе не тот разговор, которого я ждал. Я даже не стал советоваться с Машей о своих дальнейших планах. Мы выпили чаю, а потом Маша вызвала по телефону такси, — нога у меня разболелась не на шутку, — и я уехал домой...

Я решил поступить благоразумно и, по крайней мере, хоть выспаться — принял снотворное и спал довольно крепко, но сны мне снились очень плохие и какие-то все неприятные. Не Марс, не Гималаи, а так что-то, должно быть, психологически связанное с этим: будто я с мучительными усилиями долго пробиваюсь к какой-то цели, а потом, где-то близко, не то сил не хватает, не то препятствия становятся неодолимыми. Больше всего меня мучил песок — в нем вязли ноги, каждый шаг доставался с таким трудом, что я обливался потом, падал, полз, опять поднимался — и все напрасно. Все же я отоспался и утром чувствовал себя не так уж плохо. Только нога по-прежнему болела, и я решил было вызвать врача, но потом сообразил, что тогда мне придется, может быть, до вечера ждать его визита и не выходить из дому, — и сам поехал в поликлинику.

По дороге туда и ожидая приема у хирурга, я напряженно думал: что же мне делать с пластинками? Я их обязан показать ученым, это ясно. И, конечно, в первую очередь археологам. Но, черт возьми, как же им объяснить всю эту историю? Советский журналист, находясь в чужой стране, впутался в какие-то похождения в компании с эксцентричным англичанином и мальчишкой-туземцем. Тайком, отбившись от экспедиции, пошел с ними в какой-то запретный храм... возможно, оскорбил религиозные и национальные чувства местного населения... и, вдобавок, оба спутника погибли при очень странных обстоятельствах. Признаюсь, когда я вот так, с официальной точки зрения, объяснил себе, что произошло, мне стало очень не по себе. Дело не в том, что я испугался последствий... честное слово, это было бы слишком мелкое чувство после всех недавних трагедий, но я просто не знал теперь, с какого конца начать объяснять, что и как произошло. Все будут смотреть на меня как на авантюриста или, по крайней мере, не вполне нормального человека. Может быть, и разговаривать со мной всерьез не захотят.

Хирург внимательно осмотрел мою ногу, потом перевел взгляд на загорелое и порядком разбитое лицо и сокрушенно покачал головой.

— Что, молодой человек, альпинизмом увлеклись? Вот и результат, как говорится, на лице... и на ноге. Будьте любезны, отправляйтесь-ка на рентген, потом домой, бюллетень я вам сейчас выпишу. Завтра позвоните мне, скажу, что у вас там, нет ли трещины в кости, тогда решим, что делать. На Кавказе, что ли, отдыхали?

Я молча кивнул и попрощался. Вот и этому добродушному старичку — попробуй, Расскажи, где я был и что со мной случилось: ведь, пожалуй, не на рентген, а к психиатру направит! Немудрено, что Маша не верит... Да, Маша, Маша...

Я теперь в ее глазах сумасброд, фантазер, она мне не доверяет. Она думает, что Милфорд меня чуть ли не загипнотизировал... Постой, а ведь все-таки Милфорд и вправду очень влиял на тебя и на Анга. Если б не он, не его одержимость и упорство, никуда бы ты не пошел, конечно, ни в какой храм... Нет, не в этом дело. Тайна все-таки существует, проклятый храм существует и вернее всего, что там действительно были небесные гости... Да если даже это и не так, то все равно, тут какая-то очень важная тайна.

Дома я начал распаковывать вещи. Все слежалось, отсырело и пахло тропиками. У меня сразу мучительно защемило сердце, я сел на пол у раскрытых чемоданов и глубоко задумался.

Тут неожиданно пришла Маша. Вид у меня был, наверное, довольно дурацкий, когда я сидел вот так на полу и держал в руках рубашку сомнительной свежести. Но Маша не засмеялась, как сделала бы раньше. Она вообще была непривычно серьезна и даже грустна.

— Пахнет далекими странами, — сказала она, слегка раздув ноздри. — Все равно, Шура, я тебе завидую, как девчонка, хоть и нелегко тебе там пришлось.

Я подумал, что и сам себе буду завидовать впоследствии, когда немного отойду от всех переживаний.

— Ты говорил, что у тебя есть фотографии Милфорда и Анга, — сказала Маша. — Покажи мне. И пластинки, если можно...

Меня поразило, что она говорила тихо, без обычного задора, почти робко. Я начал лихорадочно выбрасывать вещи из чемодана, — Маша подбирала их молча и расправляла. Я даже не заметил, как она повесила костюм в шкаф, как отобрала белье для стирки. Все это дошло до меня потом. А пока я вынул со дна чемодана сверток с бумагами и фотографиями, — там же были и пластинки, — и застыл, судорожно сжимая этот сверток. Я чувствовал почти физическую боль при мысли о том, что сейчас увижу лица погибших друзей, возьму в руки эти загадочные пластинки...

Должно быть, я побледнел, потому что Маша усадила меня на диван и заставила выпить воды.

— Ты совсем, совсем болен, — сказала она. — И зачем я заговорила об этих пластинках!

— Что ты, Маша, — возразил я, — я же все равно сейчас достал бы все это.

— Ну, хорошо, хорошо, — успокаивающе сказала Маша. — У тебя что, с сердцем неладно?

— Нет-нет, не волнуйся, — сказал я, но тут же почувствовал, что и вправду неладно. Меня охватила странная, почти обморочная слабость, я откинулся на спинку дивана и закрыл глаза. Слабость медленно проходила.

— Я сейчас вызову скорую помощь, — заявила Маша. — Так нельзя, в конце концов.

— Машенька, пожалуйста, не надо никого вызывать, — запротестовал я. — Мне уже лучше. Просто я очень устал.

— Нет, ты болен, Шурик, — настаивала Маша. — Я даже слов таких от тебя раньше не слыхала — устал.

— Раньше со мной и не происходило ничего похожего на то, что я недавно пережил!

Я поднялся, вытер холодный пот, проступивший на лбу, отпил воды, и почувствовал себя вполне сносно. Мне было немного совестно перед Машей, — веду себя, как слабонервная барышня, чуть обморок не закатил, — но, в конце концов, что поделаешь? Видно, долго будут мне помниться Гималаи и черный храм!

Я распаковал сверток. Фотографии были где-то внутри, и я сначала достал пластинки. Маша, затаив дыхание, осторожно взяла пластинку, поглядела на нее, потом положила на стул и нервно отдернула руку.

— Они не опасны, — сказал я, — не радиоактивны.

— Да я не потому, — глухо проговорила Маша. — Только мне кажется, что они пропитаны человеческой кровью...

Должно быть, Маша за эту ночь многое передумала. Она по-прежнему не верила ни в каких марсиан, но по-настоящему поняла, что мне довелось пережить подлинную трагедию и что моя жизнь отныне пойдет, может быть, совсем иначе, чем нам с ней представлялось еще месяца два назад.

Она долго молча рассматривала фотографии — Дарджилинг, Кангченджунга, базар, гималайская красавица с мужем; Анг, Милфорд и я в группе журналистов; жилище шерпов; опять Анг с мохнатой собачкой, и опять Милфорд — в гамаке, на кресле у окна; Милфорд и я о чем-то весело разговариваем. Потом Катманду с его узкими тенистыми улицами, старинные храмы. Вот Милфорд в позе победителя ухватил за рога корову, и рядом — сумрачное личико Анга. Потом — горы, ущелье, реки, пышная зелень, цветущие луга, сияющие зубцы снежной обители... грозный хаос

ледопада Кхумбу, трещина, через которую переправляется на веревке шерп... и еще — мертвое лицо шерпа и обряд похорон. Это — последние снимки, которые мне удалось проявить в лагере у монастыря Тьянгбоче. Больше я почти не фотографировал... не до того было. Я вместе с Машей смотрел эти снимки, давал короткие пояснения, и сердце у меня сжималось от горя и тоски.



— У Милфорда изумительное лицо, даже на этих случайных снимках, — тихо сказала Маша. — Он похож на Шерлока Холмса.

Я невольно усмехнулся: на мой взгляд, Милфорд ничуть не походил на прославленного сыщика — просто для Маши его облик связывался с тайной, с поисками. Впрочем, мне показалось, что Милфорд на снимках выглядел красивей, чем в действительности, — светлые глаза на темном удлинённом лице, выражение спокойного мужества и легкой иронии, так красившее его в первые дни нашего знакомства. Умное и хорошее лицо, Маша права.

— Ты думаешь о Милфорде? — печально и все так же тихо спросила Маша. — Ты теперь его до конца жизни не забудешь. А ведь все-таки это он погубил Анга, да и ты спасся чудом. Мне Анга больше жаль...

В словах Маши мне почудилась ревность к погибшему. Я вздохнул.

— Если б ты знала, Маша, до чего мне жаль Анга! Я тебе ведь не рассказал толком, какой это был замечательный парсек. Я потом расскажу про Анга и про других...

— А храм? — вдруг спросила Маша. — Ты же говорил, что Милфорд делал снимки в храме?

В самом деле, как я мог забыть об этом! Вот катушка с пленкой из аппарата Милфорда, она лежит в углу чемодана. А это что за сверток?... Это же таинственный голубой прибор, который Милфорд вынес из храма! Я его даже не успел толком разглядеть.

Мы долго вертели в руках изящную вещицу, сделанную из странного, очень твердого голубого материала с пробегающими по нему зеленоватыми отсветами. Она с первого взгляда больше всего напоминала рамку для фотографий. Рамка была продолговатая, четырехугольная и состояла из полых полукруглых трубок, точнее, из одной трубки: нигде не было заметно ни пазов, ни соединительных швов.

С двух сторон посредине отходили вниз прозрачные отростки — тоже будто совершенно естественно выраставшие из трубки.

Сквозь них можно было видеть, что внутри трубки тянется очень сложная система тончайших проводков, стерженьков, разноцветных кристалликов. На поверхности трубки, с тех сторон, которые образовывали центральное четырехугольное отверстие, мы увидели множество отверстий различного калибра и формы круглых, овальных, шелевидных. Наружная поверхность трубки слегка поблескивала, и все время казалось, будто по ней пробегают волны зеленоватого света. Внутри, насколько удавалось рассмотреть, трубка была матовой.

Мне почему-то пришло в голову, что все дело в этих странных прозрачных отростках. Я их трогал, сжимал, пытался передвинуть — ничего не выходило. И вдруг, когда я слегка нажал на них снизу, они изменили свою форму, стали более плоскими и приплюснутыми. В то же время из рамки со всех сторон выдвинулась внутрь узкая голубая полоска. Я отпустил отростки — и полоска ушла обратно, не оставив ни малейшего следа на поверхности трубки, а отростки приняли прежнюю продолговатую форму.

— Оставь! — сказала Маша. — Сейчас же оставь! Это же из храма Черной Смерти, а мы с тобой, как дети, играем этой штукой!

Я подумал, что Маша права. Я снова завернул прибор в плотную бумагу и положил его в ящик письменного стола. Потом взял катушку с пленкой и отправился в ванную проявлять.

Вернулся я очень скоро и с совершенно обескураженным видом. Маша взглянула на меня и слабо улыбнулась.

— Пленка засвечена, правда? — спросила она.

Я с минуту смотрел на нее, растерянно моргая. Потом догадался.

— Ну, конечно же! Проникающая радиация! Надо быть олухом, чтоб сразу не сообразить...

— Просто вы оба с Милфордом были в таком состоянии, что не могли всего сообразить, — сказала Маша. — Он ведь и так вел себя с изумительным мужеством и спокойствием. И ты тоже...

— Где там! — откровенно ответил я. — Тогда я еле понимал, что делаю. Если б не шерпы, я бы погиб...

— Все равно ты делал, что надо, — очень серьезно сказала Маша. — А что пленки засвечены, я догадалась, сидя тут. Я стала думать, что же мог сфотографировать Милфорд в том темном храме, потом вспомнила про голубое свечение, про Черную Смерть и поняла, что пленка погибла.

— Значит, Милфорд погиб зря! — в отчаянии оказал я. — Нет даже снимков, и никто не узнает теперь, что было в этой проклятой дыре!

— А голубой прибор? — напомнила Маша. — А пластинки?

Да, верно! Мы опять начали рассматривать пластинки. Вот талисман Анга: на нем изображена солнечная система. Вот те две пластинки, что вынес Милфорд из храма.

Я сел на диван рядом с Машей и внимательно осмотрел эти пластинки. Я их, в сущности, вообще впервые видел — тогда, в Гималаях, мне на них и смотреть не хотелось.

Эти пластинки отличались от той, что носил Анг. Талисман Анга, как я уже писал, был тускло-серебристого цвета, и на нем нанесен чертеж. Эти обе были такие же тонкие и почти невесомо легкие — и вместе с тем твердые, негнувшиеся. Но они отличались от первой прежде всего по цвету: солнечно-желтые, какие-то теплые, приятные на вид. К тому же одна сторона у них оказалась матовой, другая — блестящей. Размером они тоже были несколько побольше — с почтовую открытку. Но главное сколько я их ни рассматривал, не обнаружил ни рисунков, ни знаков; поверхность была с обеих сторон совершенно чистой.

Это меня сбilo с толку и огорчило. Что же можно узнать по таким пластинкам? И что мне скажут ученые, которым я их принесу? Правда, металл какой-то совершенно особый... Но, может быть, просто я, профан в технике, не знаю этого сплава, а специалистам он давно известен?

Маша посидела у меня еще около часу, говорила мало, была все такой же непривычно тихой и печальной. Я даже спросил, не больна ли она. Но Маша обиделась:

— Ты думаешь, должно быть, что твоя судьба мне безразлична, — сказала она с горечью. — А ты даже сам не понимаешь, что тебя ждет!

Может быть, я и в самом деле не понимал, что меня ждет. Но я решил больше об этом не думать, а действовать без промедления. И, как только Маша ушла, начал названивать в редакцию. Там нашлись, конечно, ребята, которым приходилось в связи с какой-нибудь статьей общаться с археологами. Они мне сразу назвали имя одного из крупнейших специалистов в этой области. В ответ на вопросы я сказал, что нашел в горах очень редкую монету и хотел бы определить, к какому веку она относится.

— Ну, вот он тебе скажет! Этот старик все знает! — заверили меня.

Я не буду называть имени этого ученого главным образом потому, что от встречи с ним у меня остались самые неприятные воспоминания, а плохо говорить о нем я не хочу: в конце концов со своей точки зрения он, может быть, и прав.

Я взял такси, поехал в институт и благодаря своему корреспондентскому удостоверению довольно скоро добился приема у “всезнающего старика” — директора.

В громадном темноватом кабинете, уставленном черной громоздкой мебелью, за гигантским столом, сверкающим темным лаком, сидел высокий плотный мужчина с резко очерченным хмурым лицом. Он оказался не таким старым, как я представлял себе со слов товарищей, — полуседые волосы его были довольно густы, а глаза под нависшими кустистыми бровями смотрели зорко и живо. Да и голос у него был басистый, громкий — вовсе не старческий.

— Чем могу служить, молодой человек? — прогудел он, кивком указывая мне на кресло.



О дружеской, душевной беседе в этом мрачном кабинете нечего было и думать — это я сразу понял. Нас разделял необъятный стол; к тому же я беспомощно утопал в глубоком кожаном кресле, а хозяин сурово высился надо мной по ту сторону темного полированного стола. Поэтому я сразу решил говорить как можно меньше.

— Я только что вернулся из Непала, — сказал я; хмурое лицо хозяина на мгновение осветилось живым любопытством. — Там я случайно нашел очень интересные вещи. Вот мне и хотелось бы узнать ваше мнение об этих предметах.

Сделав это предельно краткое вступление, я поднялся и выложил на стол три пластинки и голубой прибор. Хозяин поглядел на все это с недоверием и удивлением.

— А почему вы обращаетесь с этим именно ко мне? — вдруг спросил он.

— Позвольте, но к кому же... вы являетесь признанным авторитетом... — недоумевая, забормотал я.

— Что ж, вы думаете, что мой авторитет распространяется на все отрасли человеческого знания? — желчно пробурчал “всезнающий старик”. — Ведь к археологии-то ваши находки не имеют отношения.

Этого я никак не ожидал!

— Как же так не имеют отношения, — сказал я, стараясь говорить спокойно, — когда пластинка с рисунком солнечной системы была родовым талисманом в шерпской семье и переходила из поколения в поколение.

— Вот эта? — недоверчиво переспросил хозяин и повертел пластинку в руках.

Я тем временем поспешно рассказал ему о легенде, связанной с пластинкой, и о таинственном храме. О Милфорде я ничего не говорил, а сослался на отца Анга, который якобы добыл эти талисманы, а потом погиб от Черной Смерти. Хозяин молча слушал все это; на лице его застыла брюзгливая гримаса. Когда я замолчал, он гулко откашлялся и сгреб пластинки и голубой прибор в ящик письменного стола.

— Ну, вот что, молодой человек, — забасил он. — Вы зайдите... ну, скажем, послезавтра. Я все же попытаюсь еще проверить эти ваши штучки. Только думаю, что сделаны они не ранее, чем лет пяток назад. И, таким образом, к моей компетенции не относятся. Однако проверим, раз уж вы тут такие легенды-сказки рассказываете. Так-то, батенька. Думается, что зря вы занятым людям голову морочите этими вашими... талисманами! — последнее слово он выговорил с презрением.

После этого разговора я, понятно, ничего хорошего уже не ждал. И действительно, при следующем свидании “всезнающий старик” вернул мне пластинки и прибор и решительно заявил, что они — современного происхождения.

— Не хотите же вы уверить меня, молодой человек, — раздраженно загудел он, когда я попробовал возражать, — что ваши шерпы или кто бы там ни был, черт, дьявол, еще несколько поколений тому назад знали секрет изготовления великолепных пластмасс?

— Но ведь речь идет не только о приборе... — возразил я.

— Разумеется, не только! Пластинки-то ваши, в том числе и т-талисман, — почему-то это слово его особенно злило, — они ведь тоже из пластмассы... Ну, или, скажем, вообще из синтетических материалов!

— Разве? — пробормотал я растерянно.

— Да уж поверьте! Или, если угодно, обратитесь к... ну, к признанным авторитетам, как вы изволите выражаться, только уж, пожалуйста, в области химии... да-с, органической химии, а не археологии... Не археологии, молодой человек!

Я так растерялся, что начал бормотать что-то несвязное... потом опять говорил о талисмани, о храме и Черной Смерти... о Сынах Неба... Он слушал меня все с той же желчной гримасой. Наконец ему надоело.

— Да выбросьте вы из головы всю эту чепуху! — прогремел он, вставая, в величайшем негодовании. — Скажите, пожалуйста, — из поколения в поколение передавалась вещь из ультрасовременного материала! Это исключается! Ис-клю-ча-ет-ся! И постыдились бы вы, образованный человек, ссылаться на бредни какого-то дикого, совершенно невежественного мальчишки, насквозь пропитанного суевериями! Да откуда вы знаете, сколько времени его отец носил этот талисман? Может быть, всего год или два! А рассказал сказку мальчишке для того, чтоб он берег эту штуку, вот и все. Я эти края тоже достаточно знаю, там на каждом шагу легенды и предания. Ни одно дерево там просто не вырастает, а все из чьих-нибудь волос или ногтей. А легенды о Сынах Неба можно услышать в любой части земного шара. Да-с, молодой человек!

— А храм? А Черная Смерть? — в отчаянии спросил я, чувствуя, что почва ускользает у меня из-под ног. Археолог яростно фыркнул.

— Залежи урановых руд встречаются в самых разных местах! — зарычал он. — Если вы даже этого не понимаете... В общем, заберите-ка свои экспонатики. Ни к каким Сынам Неба они отношения не имеют... если только вы не согласитесь считать Сынами Неба англичан... или американцев... вот именно, американцев, молодой человек!

Он сердито смотрел, как я собираю свои “экспонатики”. Я думаю, он и вправду считал меня абсолютным кретином. Я неловко попрощался и ушел, чувствуя на спине его презрительный взгляд.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Легко понять, какое настроение было у меня после этого разговора. Ведь доводы сердитого археолога не были лишены известной убедительности. В самом деле, мог ли я ручаться, что суеверное воображение шерпов не создало легенду вокруг какой-то вполне современной вещи? Мало ли при каких обстоятельствах попала эта пластинка к отцу Анга! А вдруг... мне даже стало нехорошо при этой мысли... а вдруг все началось с того загадочного сагиба, который вместе с отцом Анга ходил в храм и тоже был убит Черной Смертью? Может быть, только тогда эта пластинка и попала в семью шерпов. Я ведь ничего толком не знал... из Анга каждое слово клещами приходилось тянуть, а остальные шерпы и вовсе молчали. Что, если это и есть “родовая тайна” — загадочная смерть европейца, стремившегося к запретному храму, смерть, которую просто необходимо было ради безопасности всей семьи окутать покровом непроницаемой тайны и молчания? А этот самый храм... вернее, просто колпак над выходом урановых руд — могли построить европейцы или американцы, побывавшие в тех местах совсем недавно (и уж, наверное, не раньше 1953 года, когда Непал открыл свои границы для чужеземцев!).

Как он открыто презирал меня, этот “всезнающий старик”! Конечно, я в его представлении — просто желторотый юнец, простофиля, который, развесив уши, слушает мальчишку, по горло набитого суевериями. Что ж, — Анг был и в самом деле глубоко пропитан мистицизмом и суеверием... Неужели все это так и есть, и Милфорд, умница и скептик Милфорд, с его жизненным опытом и прекрасным журналистским чутьем, все-таки ошибся, погиб в погоне за призраком, за пустой тенью, за современными штучками из пластмассы? Обидно даже думать так — но что, если это все-таки правда?

Нет, конечно, я не мог на этом успокоиться. Пусть меня считают идиотом, сумасшедшим, авантюристом — кем угодно! пусть смотрят на меня с презрением и недоверием. Я буду ходить всюду, куда только смогу проникнуть, пока не узнаю все, что можно узнать.

Но к кому же идти сначала? К археологам уже, видно, не стоит. Грозный старик свое дело знает, и с этой стороны к пластинкам вряд ли подступишься. Надо пробовать другие пути. Но кто же может тут помочь? Историки? Этнографы? Геологи?

Я решил для начала потолковать с этнографами. Но и тут меня ждали неудачи. Бытом гималайских племен, а тем более маленького народа шерпов занимались очень немногие. Один из этих ученых недавно умер, а другой надолго уехал в экспедицию. Я показал пластинки и прибор человеку, который изучал Китай и особенно Тибет. Он повертел в руках пластинки, осмотрел прибор и решительно подтвердил, что, на его взгляд, вещи эти — безусловно современного происхождения.

— Даже самоновейшего! — добавил он. — Я таких пластмасс еще не видел. Возможно, это американская продукция.

Словно он сговорился с археологом! Я совсем было впал в уныние. Однако, пораздумав, решил отправиться к химикам, чтоб окончательно уточнить, что это за материалы и откуда они могли появиться в Гималаях.

Я решил созвониться с кем-либо из специалистов-химиков. Однако, перелистывая свою записную книжку, наткнулся на свежую запись — телефон Соловьева.

И тут я решил — была не была! Это человек чуткий, отзывчивый, он меня выслушает, не будет высмеивать... Может быть, Соловьев, по крайней мере, подскажет, к кому нужно обратиться.

Я вышел в коридор и набрал номер телефона Соловьева. Почему-то я особенно волновался, больше, чем все эти дни, так, что даже в горле пересохло. Может быть, потому, что я понимал: если уж и Соловьев, человек благожелательный, чуткий, умный, сочтет мою историю не заслуживающей серьезного внимания, то мне просто трудно будет дальше искать и добиваться. А, может быть, и потому, что я смутно предчувствовал — этот человек будет играть какую-то большую роль в моей жизни...

Соловьев не обманул моих ожиданий. Он сразу вспомнил меня, даже как будто обрадовался звонку, и назначил свидание на этот же день, в пять часов. Чтобы понять, с каким подлинным и глубоким интересом отнесся Соловьев к моему рассказу, достаточно сообщить, что мы с ним расстались только после полуночи. Мы долго пробыли в обсерватории, ходили, по улицам, ужинали в кафе, сидели в сквере, потом у него дома, в кабинете, — и все никак не могли наговориться. Конечно, приключения мои были необычайными, и удивительными, а Соловьеву я все рассказывал подробней и даже как-то откровенней, чем Маше, — и потому, что сам многое вспомнил и заново осмыслил в эти дни, и потому, что я, рассказывая, ощущал не ужас и недоверие, как у Маши, а горячую заинтересованность и даже восторг. Я вообще плохо представляю себе, чего я смог бы добиться в этом запутанном деле без энергичной поддержки Арсения Михайловича, без его неустанных хлопот. Ведь у нас оказалось столько противников — да и немудрено.

Прежде всего, как вы уже понимаете, Соловьев подошел к этому делу совсем по-другому. Он очень серьезно и детально расспросил меня и о шерпской легенде, и о храме, и о котловине наверху. Вопросы его сразу показали мне, что он принял теорию Милфорда хотя бы как рабочую гипотезу — во всяком случае не отверг ее безоговорочно.

Потом начал изучать пластинки. И сразу же, разглядывая талисман Анга, протяжно свистнул.

— Вы посмотрите только на этот чертеж! — сказал он.

— Да, я знаю, это схема солнечной системы, — торопливо отозвался я.

— Не в этом дело! — оживленно заговорил Арсений Михайлович. — То есть, конечно, я так же, как и Милфорд, считаю в высшей степени странным, что в семье шерпов стала семейным талисманом именно пластинка с изображением солнечной системы. Тем более, тем более, если она из какой-то особой пластмассы! Археологи и этнографы судили, конечно, верно с точки зрения своей науки, но узко и примитивно. Они говорили только как специалисты в своей области. Понимаете — дело действительно не только в том, что перед нами чертеж на очень странной пластинке, выгравированный непонятным способом. Тут есть и другие загадочные детали. Посмотрите — ведь тут не только планеты, но и их спутники. Так вот, обратили ли вы внимание на то, что у Юпитера здесь двенадцать спутников, а у Марса всего один?

Честно говоря, если б я и обратил внимание, то не придал бы этому никакого значения. Сейчас я начал лихорадочно соображать.

— Да, ведь у Марса на самом деле два спутника! — вспомнил я. — А у Юпитера?

— У Юпитера их и в самом деле двенадцать. Но дело-то в том, что десятый и одиннадцатый спутники были открыты астрономами в 1938 году, а двенадцатый — и того позже, в 1951!

— Позвольте, Арсений Михайлович! — я недоумевал, почему он так радуется. — Но ведь это — еще одно убедительное доказательство, что пластинка вполне современная!

— А почему тогда у Марса тут всего один спутник? Фобос и Деймос были известны давно, еще с 1877 года.

Я пожал плечами, ничего не понимая... Кто их знает, почему они нарисовали один! Может быть, просто упущение в чертеже...

— Этого я не думаю, чертеж сделан очень точно и старательно, — возразил Соловьев. — Тут скорее напрашивается предположение, что этот чертеж относится к тому времени, когда у Марса еще не было второго спутника.

— То есть, вы хотите сказать, что его еще не открыли? переспросил я. — Но как же тогда обстоит дело со спутниками Юпитера?

— Нет, я хочу сказать другое: что второго спутника тогда еще не было! Вы не понимаете? Я вам сейчас объясню...

Мы сидели в обсерватории. Соловьев вдруг весело улыбнулся и прошелся по комнате. Я даже в те часы, в совершенно потрясенном состоянии, любовался им. Мне казалось, что это типичный ученый будущего века — не гипертрофированный мозг, подавляющий своей мощной работой хилое тело, а существо высшего порядка, в организме которого именно гармония и слаженность всех функций обеспечивает свободное и яркое мышление. Быстрые, легкие, точные движения, прекрасно тренированные мускулы, почти физически ощущаемые сила и здоровье.

— Дорогой Александр Николаевич, — Соловьев сел рядом со мной, — вы не представляете себе, как неожиданно этот странный чертеж совпал с некоторыми моими предположениями, очень смелыми и на первый взгляд даже совершенно фантастическими. Но — только на первый взгляд! Я уже предупреждал вас, что большинство моих коллег считает меня еретиком... или, точнее, безудержным фантазером. Но я с этим давно уже примирился. И жду, когда жизнь докажет мою правоту. Конечно, не просто жду, а ищу доказательств... Так

вот. Ученые считают, что спутники Марса — по крайней мере, один из них, Фобос, ведут себя очень странно. Во всей солнечной системе Фобос, можно сказать, единственный в своем роде. Конечно, Фобосом и Деймосом, что, как вам известно, означает Страх и Ужас, их окрестили не за поведение, а исключительно вследствие того, что они сопутствуют красной планете, получившей грозное имя бога войны — Марса. Но все же они во многом удивительны. Фобос — единственный спутник в нашей солнечной системе, у которого период обращения вокруг планеты короче периода ее вращения вокруг своей оси. Марсианские сутки почти равны нашим — в них 24 часа 37 минут, — а Фобос делает полный оборот вокруг Марса за 7 часов 39 минут. Больше нет таких спутников, которые восходили бы над горизонтом на западе и двигались к востоку. Я имею в виду, конечно, естественные спутники! — с особенным ударением сказал Соловьев.

— Вы хотите сказать... — начал я неуверенно.

— Не то что хочу сказать, но могу предположить, — прервал меня Соловьев. — Видите ли, уж очень удобны Фобос и Деймос: будто нарочно приспособлены для потребностей обитателей Марса! Деймос вращается медленней: он совершает свой оборот вокруг планеты за 30 часов 18 минут, то есть немногим более, чем за сутки. Таким спутником очень удобно пользоваться для ретрансляции телевизионных передач и для радиосвязи. Оба они движутся в плоскости, близкой к экваториальной — а известно, что искусственные спутники удобней всего запускать именно так. Особенно — когда речь идет о таких крупных спутниках: масса их нам неизвестна, но предполагаемый диаметр Фобоса 8, а Деймоса — 16 километров. Все это наводит на некоторые размышления о том, естественным ли путем возникли эти два небесных тела... Но этого мало. В движении Фобоса есть еще одна особенность, необъяснимая с точки зрения законов небесной механики. Наблюдая за Фобосом, астрономы установили, что он движется все быстрее и быстрее. Это явление в астрономии называется вековым ускорением. И по отношению к Фобосу его причины неясны. В самом деле, допустим, что это ускорение возникает вследствие сопротивления атмосферы...

Я с недоумением поглядел на Соловьева, и он усмехнулся, как мне показалось, с некоторым оттенком недовольства: наверное, его все же раздражало мое полное невежество в вопросах астрономии. Однако ответил он спокойно:

— Вы меня простите, но я уж не буду все подряд объяснять, а то мы никогда не доберемся до сути вопроса. Почитайте литературу о наших искусственных спутниках и подумайте, например, о том, почему ракетаноситель обгоняла спутник в своем движении вокруг Земли. Вы не сердитесь за такой совет? Нет? Ведь это я просто для экономии времени... Но для Фобоса, продолжаю, такое объяснение не годится: для этого атмосфера Марса на высоте 6000 километров должна была бы обладать значительно большей плотностью. Теперь возьмем другое предположение: что на Фобос действует приливное торможение... Да, конечно, тут опять вам не все будет понятно. Но вот, например, взаимодействие Земли и Луны, которое повседневно и наглядно наблюдается в виде морских приливов, приводит к тому, что вращение Земли тормозится и земные сутки постепенно удлиняются, зато расстояние между Землей и Луной все больше возрастает. Но Фобос находится так близко от планеты, что действие приливной волны уже не тормозит его движение, а, наоборот, ускоряет. Вам это понятно?

— Не совсем, — решился возразить я. — Какая же приливная волна может быть на Марсе, раз там нет океанов?

— Твердое тело планеты тоже испытывает действие приливной волны, — терпеливо пояснил Соловьев. — Вы знаете, что в Москве почва дважды в сутки поднимается и опускается на 50 сантиметров? Однако вековое ускорение Фобоса все равно не может объясниться действием приливного механизма. И вот почему. Для каждой планеты существует “зона устойчивости”. Если спутник находится вне этой зоны — вот как Луна по отношению к Земле — то он будет постепенно удаляться от планеты; находясь же внутри этой зоны, он, наоборот, будет приближаться к планете. Фобос обгоняет свою планету в ее суточном вращении, значит, он находится внутри зоны. Значит, и при своем возникновении он должен был находиться внутри этой зоны иначе он удалялся бы от Марса и не мог бы попасть в зону устойчивости. Вы поняли?

— Да, — сказал я более уверенно.

— Ну вот. Но дело в том, что астрономы имеют возможность точно подсчитать, когда должен был образоваться Фобос, чтоб к нашим дням занять такое положение, которое мы наблюдаем. И по этим подсчетам получается, что Фобосу не более 440 миллионов лет.

— Почтенный, однако, возраст, — заметил я.

— Наоборот, слишком юный, если учесть, что Марсу несколько миллиардов лет. Ведь по современным космогоническим теориям планеты и их спутники возникали вместе, в едином процессе.

— Так, может быть, Фобос — астероид?

Соловьев одобрительно усмехнулся.

— Вы, я вижу, начинаете мыслить астрономически. Но тогда выходит, что Марс захватил в свою орбиту два астероида, движущихся в одной и той же плоскости, да еще в такой, которая практически совпадает с его собственной экваториальной плоскостью. С точки зрения теории вероятности такая возможность равна нулю.

— Я уже вижу, что мои попытки мыслить астрономически ни к чему хорошему не приводят. Но что же тогда все это означает?

— Мне лично кажется реальным только одно объяснение, что Фобос — полый. На примере земных искусственных спутников мы знаем, что полые тела испытывают значительно большее торможение, чем сплошные. Сильно разреженная атмосфера Марса может оказывать тормозящее воздействие на Фобос лишь в том случае, если он полый. Но такой спутник, конечно, не мог образоваться естественным путем... Вы, я вижу, не-

сколько озадачены. Но, если жители Земли запускают крупные искусственные спутники, то почему бы марсианам не сделать это раньше и, так сказать, капитальнее? Почему бы им было не создать рядом с планетой постоянно действующую станцию — для посадки и взлета космических кораблей, для астрономических наблюдений, телевизионных установок?

У меня даже дух захватило. Я недоверчиво взглянул на Соловьева — нет, он говорил совершенно серьезно.

— Так вы считаете, что марсиане существуют? — сдавленным голосом спросил я.

— Я, во всяком случае, не считаю это невозможным, — твердо оказал Соловьев. — Вот посмотрите на снимки, сделанные с нашего телевизионного экрана.

Я смотрел на причудливые очертания темных морей, на знаменитую сеть каналов. Все это выглядело иначе, чем на тех снимках, что мне доводилось видеть раньше, — все выглядело более крупным, четким, каким-то понятным. Каналы были неровными — то вдруг разбухали, превращались в цепь сливающихся пятен, то почти исчезали. На перекрестках каналов тоже виднелись какие-то темные пятна неправильной формы. Но все же, если поглядеть на снимок издали, видна какая-то общая планомерность, обдуманность в размещении каналов — параллельные линии, четкие перекрестки... Я старался приучить себя к мысли, что где-то там и сейчас живут существа с высоко развитым интеллектом.

Соловьев тем временем рассматривал пластинки. Наконец у него вырвался взглас досады.

— Значит, это — пластмасса? — переспросил он. — Надо будет все же обратиться к химикам, работающим в области полимеров. Нет, конечно, не для того, чтобы проверить, когда это сделано. Но, может быть, удастся установить, что это — какой-то новый, особый вид пластмасс.

— По-моему, пластинки совершенно необыкновенны на вид, оказал я. — Они вообще не похожи на пластмассу. Я бы никогда не сказал...

— Ну, Александр Николаевич, в пластмассах и вообще в полимерных материалах не так-то легко разобаться, — заметил Соловьев. — Они так неисчерпаемо разнообразны! Вам не приходилось знакомиться с этой областью?

— Нет, — с сожалением сказал я.

— Ну, очень жаль, — серьезно ответил Соловьев. — Наш век часто называют веком атомной энергии и полимеров. Теперь уже ни одна отрасль техники и ни один человек в быту не обходится без полимерных материалов. И все же — это только заря полимерной эры. Сейчас трудно даже представить себе во всем объеме, какое значение будут иметь полимеры для нашей жизни. В том числе — и для межпланетных путешествий. Конечно же, космические корабли скоро будут делаться прежде всего из армированных пластиков — прозрачных и твердых, как стекло, но упругих и гибких, как сталь, легких, как... вот, как эти гималайские пластинки! — он приподнял желтую пластинку и бросил ее на стол: она упала почти неслышно, с легким певучим звуком и немного подскочила. — Да, видите, действительно похоже, что она сделана из синтетического материала: легкая, упругая, прочная... Поневоле поверишь, что она прибыла не из прошлого, а из будущего... И что уже летают где-то в космосе корабли из прозрачного и легкого материала, который не боится ни огня, ни ледяного холода, который под мощными ударами космических частиц, несущихся с бешеной скоростью в безвоздушном пространстве, лишь прогибается и снова принимает прежнюю форму, надежно страхуя пассажиров... да что и говорить, освоение космоса невозможно без полимеров! Но вернемся к нашим пластинкам. Итак, если б удалось установить, что это — полимер особого типа, может быть, приготовленный в необычных условиях, — это был бы очень существенный довод в пользу... ну, скажем, теории Милфорда. Кроме того, конечно же, вы правы — надо, чтобы в те места поехала экспедиция и выяснила все как следует...

Как ни странно, но теперь, когда нашелся человек (и какой человек!), который, видимо, верил мне и готов был активно помогать розыскам, мне стало страшно. Ну, а что, если это все-таки выдумка, еще одна гималайская легенда, причудливо преобразовавшая простые житейские факты? Я вспомнил гневные и презрительные слова археолога... трезвую логику Маши...

— Арсений Михайлович! — возбужденно, заговорил я. — Но ведь если на Земле действительно были существа с других планет, то как же так получилось, что никто до сих пор об этом не знал? Ведь это невозможно!

— Сомнения замучили? — Соловьев с интересом посмотрел на меня. — Но почему же невозможно? Во-первых, наша планета исследована совсем не так хорошо, как можно предположить, не зная фактов. Даже сейчас открывают новые области, находят новые племена. А если космический корабль опустился в Гималаях и в самом деле несколько сот лет тому назад, как утверждают шерпы? Ведь тогда и мир был исследован гораздо меньше, и уровень науки был ниже, и, главное, люди были разобщены. Не существовало ни самолетов, ни поездов, ни радио, ни телеграфа. А Гималаи и вовсе были книгой за семью печатями... да и не только Гималаи! И вполне возможно, что так никто и не узнал о небесных гостях, что о них остались только туманные легенды... Тем более, что марсиане, или кто бы там ни был, могли запретить местным жителям разглашать тайну. А если прилетали именно марсиане, то они должны были обитать преимущественно в очень малонаселенных или даже пустынных высокогорных местностях... ну, как же! Для них даже воздух на вершине Эвереста, вероятно, должен был казаться слишком плотным. Ведь считается, что у поверхности Марса плотность атмосферы примерно такая же, как на высоте восемнадцати километров над Землей. А вершина Эвереста не достигает и девяти километров, как вам хорошо известно, Александр Николаевич.

Я слушал Соловьева, и у меня даже дух захватывало. Как бы объяснить? Ведь я как будто и поверил Милфорду и твердо решил добиваться организации экспедиции, счел это делом своей жизни. Но я уже рассказывал вполне откровенно, как на первых порах меня сбивали с толку всякие возражения — даже простейшее, почти обывательское возражение Маши. Я бы сказал, что до беседы с Соловьевым для меня была реальностью не сама проблема прилета небесных гостей, а скорее все связанное с ней: гибель друзей, завещание Милфорда, какая-то мрачная тайна, окружавшая всю историю. Но, конечно, я считал себя обязанным добиться истины, сделать для этого все, что смогу, и не отступать ни в коем случае.

А простые, почти веселые слова Соловьева сразу перевели эту фантастическую легенду в реальный план. Я даже задохнулся, когда понял: да, это могло быть, да, Милфорд, должно быть, погиб не напрасно! И мне сразу же неудержимо захотелось действовать, захотелось немедленно отправиться обратно в Гималаи, найти, доказать... Да и вообще все осветилось для меня как-то иначе, все стало ярче, шире, просторней. Точно голубые ворота распахнулись над Землей, открывая дорогу в бесконечный, стремительно летящий мир. Я думаю, многие из читателей тоже испытали это чувство живой связи со Вселенной, ощущение громадного, неизведанного мира, ее всех сторон обступившего маленькую родную Землю. И я жалею тех, кто никогда не испытал ничего подобного. Впрочем, недалек тот час, когда всем придется пережить это чувство восторга и изумления, от которого, как от страха, слегка кружится голова и холодок пробегает по спине. Всем нам скоро повеет в лицо ветер бесконечности, перед всеми раскроется черная мировая бездна с пылающими светилами. Пусть не мы первые среди обитателей нашей Галактики вырвались за пределы родной планеты, но ведь и наши космические корабли уже на старте. И одной из первых целей будет, конечно, Марс...

Но я отвлекся. Итак, Соловьев не просто оказал мне, как говорится, моральную поддержку — он, в сущности, произвел переворот в моих взглядах на все это дело. Отныне я действительно мог бороться не только во имя памяти друзей, но и во имя идеи общения миров — большой, прекрасной, светлой идеи, может быть, уже воплотившейся в реальность.

Расставшись с Соловьевым, я долго сидел в сквере, а дома не мог уснуть. Я снова и снова видел громадную котловину среди мрачной каменной пустыни, видел камень на ладони Милфорда — опаленный, оплавленный небесным огнем... потом странный храм, ничуть не похожий на все храмы, которые я видел до тех пор... и голубое свечение из-под круглого блестящего колпака, погубившее Милфорда... Я вспомнил, как монах указывал на небо, объясняя, откуда взялось таинственное снадобье, вспомнил загадочно теплый пол пещеры и пластинку на стене... Нет, надо, надо как можно скорее ехать туда! Только там — доказательства, там — ключ к тайне.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Соловьев действовал, как и следовало ожидать, очень энергично и быстро. Конечно, его авторитет и широкие связи в научных кругах очень помогали делу, но он проявлял, к тому же, исключительную напористость. В ближайшие же дни появились новости. Только все они были пока не слишком утешительны.

Работники института химической физики, куда были отданы для исследования гималайские находки, подтвердили, что и пластинки, и прибор сделаны из каких-то синтетических материалов. Некоторые предполагали, что это — американская продукция, технология производства которой нам не известна. Другие же возражали:

— Это невероятно! Конечно, у американцев могут быть такие синтетические материалы, которых нет у нас. Но при современном соотношении сил в этой области нам могут остаться неизвестными только какие-то детали технологического процесса. Здесь же речь идет совсем о другом. У материалов, из которых изготовлены пластинки и прибор, принципиально иные параметры технологического процесса и, скорее всего, состава: и температура, и давление, и прочие условия, при которых они изготавливались, и их строение. Необычны и их свойства — удивительная твердость, высокая упругость и очень малый удельный вес (все это в более высокой степени, чем нам удастся добиться). И вдобавок они обладают способностью поглотить радиоактивное излучение. Все это, безусловно, отличает данные материалы от того, что мы до сих пор получали или считаем возможным получить. К тому же — совершенно непонятно, каким способом нанесен на пластинку чертеж!

Никак не удавалось также раскрыть секрет назначения гладких желтых пластинок, они оставались безмолвными. Поскольку эти пластинки казались совершенно одинаковыми, для опытов взяли одну — другая хранилась в обсерватории в качестве контрольной.

Данных, как видите, у нас пока было маловато для того, чтобы убедить сомневающихся. А Соловьев, как и я, считал, что необходимо сейчас же снарядить экспедицию в Гималаи и выяснить все, что возможно, на месте, добыть дополнительные сведения.

Я уж не говорю о том, что многие из тех, с кем беседовал Соловьев, прежде всего опасались дипломатических осложнений и даже не хотели поэтому вникать в существо дела. Ведь и вправду — как благовидно истолковать мое поведение (а если не говорить обо мне, то как же вообще объяснить, откуда у нас пластинки)? Как организовать экспедицию, которая должна будет проникнуть в таинственный храм, прочно охраняемый суеверным ужасом туземцев? Как объяснить англичанам гибель Милфорда? Как рассказать непальцам о смерти Анга? Как заставить шерпов снова идти в проклятое ущелье, как добиться, чтоб они побольше рассказали обо

всей этой истории? Мы оба хорошо чувствовали, что у большинства наших собеседников возникает прежде всего желание отделаться от этой неприятнейшей истории и ни в коем случае не раздувать ее. И мы их понимали.



Но открытый бой дали нам астрономы. Нам — это, конечно, так только говорится. Отбивался Соловьев, а я мысленно аплодировал его остроумию, находчивости, его яркой, образной речи и умению широко и свободно мыслить. Он-то уж не принадлежал к таким специалистам, которых Козьма Прутков справедливо уподоблял флюсу — за одностороннюю полноту. Соловьев был прежде всего мыслителем, а не просто человеком, накопившим сумму знаний в определенной области. Он действительно знал “кое-что обо всем и все об одном”. И этим он выгодно отличался от большинства своих противников.

— Но это же нелепо! — кричал, возмущаясь, один известный астроном. — Поймите, Арсений Михайлович, нелепо и несерьезно. Я даже не могу поверить, что вы сами-то полностью убеждены в том, что решается утверждать!

Соловьев добродушно засмеялся.

— Ну, зачем же мне было бы злить вас... да и не только вас! — мягко возразил он.

— Да помилуйте, Арсений Михайлович, вы же умный человек... вы же эрудит! —

продолжал ужасаться его собеседник.

Это был плотный лысый человек. Сквозь стекла громадных очков в светлой оправе его темно-карие глаза сверкали искренним негодованием.

— Допустим, что я умный... допустим, что я эрудит... — согласился Соловьев. — Так что ж из этого? Вы все-таки скажите по существу, дорогой коллега, что вас не устраивает в моей гипотезе?

— Да все! — решительно заявил “дорогой коллега”. — Все чушь, и вы сами превосходно это знаете!

Соловьев опять засмеялся, но уже не так добродушно.

— Вот, полюбуйтеесь, Александр Николаевич, — обратился он ко мне. — Видите, как неопровержимо разбивают ваши пластинки?

Астроном обиделся.

— Если угодно, я могу по пунктам и в самом деле разбить всю эту легенду о пластинках и храме, — сухо сказал он.

Тут уж и я не выдержал.

— Простите, но пластинки и храм — вовсе не легенда, — тоже довольно сухо сказал я. — Они существуют в действительности, и с этим, как хотите, надо считаться.

Соловьев одобрительно подмигнул мне.

— Но, конечно же, наш дорогой собеседник вовсе не отрицает реальных фактов, — на очень мягких, почти бархатистых нотах заговорил он. — Просто он считает, что эти факты надо истолковывать совсем иначе, не так ли?

— Разумеется так, — сердито подтвердил астроном. — И я вам крайне благодарен, что вы избавили меня от труда втолковывать вашему юному другу азбучные истины. Если же говорить о пластинках, то я совершенно убежден, что это ультрасовременные штучки. Это ясно всякому здравомыслящему человеку!

— А чертеж солнечной системы с одним спутником Марса? напомнил Соловьев. — Что вы о нем скажете?

— Допустим, что я не знаю, как его объяснить, — упрямо возразил астроном. — Но это еще не значит, что я обязан соглашаться с вашими фантастическими объяснениями. Откуда я знаю, кто и с какой целью чертил эту схему? И почему я не могу допустить, что тут просто произошла ошибка? Помилуйте, — продолжал он, все более горячась, — да вот мой младший сорванец, Борька, вчера изобразил в своей тетради такое словечко “эликтрон”. Ну, попадет, не дай бог, эта тетрадка на глаза вот такому... горячему человеку, как вы... филологу... и начнет он думать: а почему же это слово вдруг через “и” пишется? А может, это что-нибудь означает? И так далее. Вон у Ильфа и Петрова рассказывается об учителе географии, который сошел с ума от того, что увидел карту, на которой отсутствовал Берингов пролив. Зачем же вам, Арсений Михайлович, простите меня, уподобляться этому бедному учителю?

Мне показалось, что на этот раз Соловьев обиделся. Вообще, думал я, “дорогой коллега” попал в точку: ведь и вправду — а вдруг это просто ошибка того, кто делал чертеж?

— Вы все-таки не объяснили, — настойчиво, хоть и по-прежнему мягко, сказал Соловьев, — каким же образом этот неизвестный чертежник, способный, по вашим предположениям, так нелепо ошибаться (ведь чертил, надо полагать, не ученик шестого класса!), каким именно способом он нанес этот чертеж на пластинку? Ведь вам известно, что ни алмаз, ни сверхтвердые экспериментальные сплавы не оставляют на этом материале даже еле заметных царапин? Так вот — что же это значит?

— Помилуйте, я не всезнайка! — возразил астроном. — Но повторяю: если я не знаю, в чем тут дело, это еще не значит, что вы правы. Если я не понимаю, на каком языке говорит человек, я все же не обязан верить, когда мне сообщают, что он изъясняется на языке жителей Атлантиды!

Решительно, ему нельзя было отказать в остроумии! Но Соловьева было не так легко сбить. Он все с той же мягкой настойчивостью спросил:

— Но как же все-таки быть, если вы сами не выдвигаете никаких конструктивных предложений и в то же время решительно отказываетесь принять мою гипотезу даже в качестве рабочей? Что же вы советуете: попро-

сту отмахнуться от непонятных фактов? Предать забвению все, что случилось? Будет ли это достойно ученого, дорогой коллега?



— Позвольте! — возопил коллега. — Но ведь можно же попытаться истолковать эти факты, оставаясь в границах правдоподобия! Зачем же увлекаться явной фантастикой?

— Вот как! — сказал Соловьев. — Но скажите тогда, какое же толкование вы считаете хоть относительно правдоподобным? Что эти пластинки сделаны когда бы то ни было местными жителями? Но археологи это решительно отвергают. И я считаю, что они правы. И материал, и способ гравировки, и даже само содержание чертежа — все решительно выходит за границы возможностей, какими когда-либо могли располагать обитатели Гималаев. Что же тогда? Вы хотите сказать, что это — современная продукция,



скажем, американская? Но вот наши химики в большинстве держатся на этот счет другого мнения. Да и вы, я думаю, знаете, что за последние годы мы не только догнали Америку в этой области, но по большинству показателей явно опередили ее. Так что если и существуют у американских химиков секреты, то они не такого рода, чтоб наши ученые даже и подступа к ним не знали, если уж видят образцы готовой продукции! И потом, повторяю: способ гравировки никому не понятен — вам не кажется это удивительным?

Астроном молчал, протирая платком очки.

— И еще вопрос: почему вы, собственно, находите совершенно фантастичным само по себе предположение о том, что на Земле побывали гости из других миров? Ведь не считаете же вы, что жизнь существует только на нашей планете?

— Детский вопрос! — раздраженно заявил астроном, снова водружая на нос свои огромные очки. — Разумеется, я этого не считаю. Но, Арсений Михайлович, если я плохо ориентируюсь в полимерах, то уж в астрономии-то я кое-что понимаю, надеюсь! Так разрешите же вас спросить: откуда могли прибыть к нам эти небесные гости?

— Трудно ответить на этот вопрос на основании тех скудных данных, которыми мы пока располагаем, — серьезно ответил Соловьев. — Но в принципе это могли быть обитатели Марса или Венеры, либо гости из других звездных систем, о которых мы вообще почти ничего не знаем. Ясно одно: что их космический корабль когда-то приземлился в Гималаях. И Черная Смерть это просто результат повреждения резервуара с ядерным горючим.

Астроном даже простонал от возмущения.

— Ну, нельзя же так, в конце концов! — закричал он. — Арсений Михайлович, это же несерьезно! Человек с вашей эрудицией, с вашим опытом — и вдруг говорит о существовании каких-то марсиан! Ну, я понимаю, мхи, лишайники, пусть даже кустарники или травы существуют на Марсе, в его холодной, до предела разреженной атмосфере... но люди! Да еще существа высшего порядка, чья цивилизация далеко обогнала земную! Ну, пишите тогда романы... вроде "Аэлиты"... и оставьте в покое науку! Ядерное горючее — скажите, пожалуйста! Это уж...

— Вы же знаете, что истинная наука не может безоговорочно отвергать, без самой детальной проверки, никакие предположения, в которых имеется хоть крупица правдоподобия, — с усмешкой проговорил Соловьев: к такого рода возражениям он, должно быть, давно привык. — Поэтому меня восхищает, но ничуть не убеждает ваша, я бы сказал, юношеская горячность. Да, климат Марса очень суров. Даже на экваторе, где температура летним днем достигает 20 градусов тепла, ночью царит полярный холод — 60–70 градусов ниже нуля. Но ведь известно, например, что в Сибири, возле Оймякона, бывают морозы и ниже 70 градусов. И климат там резко континентальный. Однако там существует свыше двухсот видов растений и животных. И люди постоянно живут. А экспедиции в Антарктиде? Их участники работают при температурах, близких к марсианским, при ураганных ветрах и, вдобавок, зачастую — на больших высотах, в разреженном воздухе. И это, заметьте себе, люди, выросшие в условиях умеренного, а иногда и жаркого климата. А где только, в каких условиях не живут люди, из поколения в поколение приспособившиеся к особенностям местности! И на высоте более четырех километров над уровнем моря — вот, хотя бы, как друзья Александра Николаевича, гималайские горцы — шерпы. И в полярном холоде — как наши нганасаны. И в тропических джунглях, и среди безводной пустыни, и под землей, и на воде... А "снежный человек", который обитает на самой границе вечных снегов, на высоте более пяти километров? Границы жизни невероятно широки даже в привычных нам земных условиях. Низшие организмы, как вам известно, живут и в кипящих источниках, и в области вечных снегов, и на громадной высоте, и в безводной пустыне... Да вот, еще несколько лет тому назад на Кавказе, в Нальчике, пробовали выращивать растения в атмосфере, в три раза более разреженной, чем атмосфера Марса. Вы знаете — ведь они развивались вполне нормально и даже быстрее, чем обычно! Вас это не заставляет задуматься?

Меня очень удивляло, что астроном даже не пытается всерьез опровергать доводы Соловьева. А если он с ними согласен, то как можно так косно мыслить? Вот он напомнил, что на Марсе мало воды.

— Не так уж мало! — немедленно отпарировал Соловьев. Одна только его полярная шапка дает столько же влаги, сколько Нил за год приносит воды в Средиземное море.

— Но позвольте! — с негодованием воскликнул астроном. Ведь известно, что полярные шапки не тают, а испаряются. Профессор Лебединский убедительно доказал, что на поверхности Марса воды вообще не может быть — она немедленно испаряется, а водяной пар замерзает и оседает на поверхности планеты тонким слоем инея. Да разве может в таких условиях существовать растительность?

— Безусловно, может, — ответил Соловьев. — Вода имеется в почве Марса. И кстати, тот же профессор Лебединский предполагает, что у марсианских растений может существовать сильно развитая корневая система — чтоб высасывать влагу из почвы.

— Но, Арсений Михайлович! — почти умоляюще простонал астроном. — Я допускаю, что при этих условиях могла бы сохраняться жизнь в каком-либо виде. Но ведь для того, чтобы она возникла, нужны несомненно другие условия! Нужна высокая температура, значительная плотность атмосферы, открытые водоемы. Это же аксиома!

— Аксиома — для Земли, — снова возразил Соловьев. — Нельзя же танцевать от печки: у нас — так, значит, везде так. В конце концов можно уподобиться человеку, который при виде жирафа решительно заявил: “Такого не может быть”. И к тому же мы не знаем, каковы были условия на Марсе в далеком прошлом. Я, к сожалению, знаю наизусть все доводы, которые вы еще собираетесь привести. В атмосфере Марса, хотите сказать вы, нет свободного кислорода, значит, нет и растений, нет и жизни — ведь земной кислород создан растениями. Но и тут многое можно возразить. Прежде всего, наши методы наблюдений еще очень несовершенны. И если мы до сих пор не обнаружили кислорода в атмосфере Марса, это еще не значит, что он там действительно отсутствует. Мы и водяных паров не сумели обнаружить, а тем не менее известно, что на Марсе есть снег или иней.

— Но ведь уже установлено, что кислорода там во всяком случае не более тысячной доли того, что содержится в земной атмосфере!

— Ну и что ж? А, может быть, марсианские растения не выделяют кислород в воздух? Может быть, они сохраняют его в корневой системе? Или же выделяют его в почву, как некоторые наши болотные растения? Кстати — возможно, что именно поэтому марсианская почва имеет красноватый оттенок.

— Но вы же знаете: Козырев предполагает, что окраска Марса зависит вовсе не от цвета его поверхности, а от особенностей распространения света в его атмосфере.

— Меня поистине поражает, дорогой коллега, — с чуть уловимым оттенком раздражения сказал Соловьев, — что вы с таким вниманием и доверием относитесь к любым гипотезам — даже к таким, в сущности, произвольным, как козыревская, — и решительно заранее отвергаете мои предположения, хотя не можете возразить против их предпосылок... Я хотел бы только обратить ваше внимание на то, что с точки зрения марсиан (если вы позволите на минуту, хотя бы условно, допустить их существование), Земля могла бы показаться не пригодной для жизни. Ведь то, что они смогли бы увидеть сквозь плотную земную атмосферу и густой слой облаков, несомненно, заставило бы их задуматься. Слишком высокий процент содержания кислорода в нашей атмосфере и недостаток углекислого газа; большая сила тяжести и высокие температуры... Если предположить, что марсиане мыслят так же скованно и “приземленно”, как некоторые наши ученые, то они должны были бы несомненно заключить, что на Земле жизнь существует разве что в низших формах...

Астроном опять обиделся; однако его возражения уже не только не казались мне убедительными, но даже просто раздражали: почему он уклоняется от ответов на прямые вопросы и зачем вообще спорит вопреки очевидности! Я вполне разделял взгляды Соловьева и готов был их всячески пропагандировать. Однако Соловьев продолжал допрашивать своего противника. Тот заявил, что на Венере развитой жизни, конечно, нет, и даже не затруднил себя доказательствами на этот счет. А когда Соловьев спросил, почему он считает невероятным предположение, что Землю могли посещать гости из других звездных систем, астроном опять вознегодовал:

— Да вы знаете, какая малая доля вероятия, чтоб именно на нашу планету попали гости из глубин мирового пространства! Ну, почему они прилетят именно к нам?

— Ну, это не ответ! — уже с досадой заметил Соловьев. — А почему именно не к нам?

Я привел один разговор, а их за эти дни было немало, и в моем присутствии, и без меня. Я только удивлялся — как Соловьев все это выдерживает! На его месте я давно ругался бы последними словами. А он был все так же спокоен, любезен и насмешлив.

И самое главное — он постепенно пробивал путь экспедиции. Рассказывать, как действовал Соловьев и как трудно ему приходилось, я думаю, не стоит. Все это в общих чертах можно себе представить. Важен результат — уже в августе в Непал отправилась советско-английская экспедиция.

Я не могу подробно описать работу этой экспедиции прежде всего по той причине, что сам я в ней не участвовал. Нога у меня продолжала болеть: трещины в кости рентген не обнаружил, но опухоль на колене не проходила, ссадины гноились. В горах я был бы только помехой; к тому же и с сердцем у меня были нелады — видимо, вследствие крайнего физического и душевного напряжения, в котором я находился. Словом, поехали другие, а я лежал дома, обложившись горой книг, и сходил с ума от досады, нетерпения и тревоги.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Читал я в те дни жадно, прямо-таки взахлеб. Все подряд, что удавалось достать — и популярную литературу, и специальные труды по астрономии (смысл которых усваивал едва на одну десятую), и романы о Марсе и межпланетных путешествиях. Все это мне в изобилии таскали ребята из редакции. Они, конечно, уже знали о моих приключениях. Я видел, что они поглядывают на меня с восхищением и тревогой, умышленно безразличным тоном задают вопросы о Катманду, об Эвересте, а потом не выдерживают и уже с откровенным любопытством спрашивают — неужели правда, что я видел марсиан, или что-то в этом роде. Сначала я горячо объяснял, как обстоят дела, а потом мне надоело, и я хмуро отмалчивался. Меня злило, что многие совершенно очевидно не верят мне, считают, что я либо выдумываю, либо не вполне в своем уме: с интересом выслушивают мои рассказы, осторожно переспрашивают, а потом уходят чуть ли не на цыпочках, как от тяжело больного, — так и хочется запустить им вслед каким-нибудь увесистым астрономическим трактатом.

Я было пожаловался одному из наших ребят, Леве Кофману, мне казалось, что он вполне понимает меня: что это, мол, за молодежь, что за сотрудники комсомольской газеты, если они мыслят КОСНО, как замшелые старики. Но, как видно, зря я пожаловался. Лева смущенно заерзал, поправил громадные очки и сказал:

— Ты, главное, успокойся, Шура! Вот закончится экспедиция, тогда будет ясно, что к чему и почему.

Я хотел было возразить, но только рукой махнул. Выходит, что на мои рассказы даже внимания обращать не стоит, что я просто сумасшедший. До того мне стало горько, что и передать трудно.

И с Машей было не легче. Она приходила каждый день, очень трогательно хлопотала по хозяйству (вместе со старушкой Лукьяновной с нашего двора, которая уже несколько лет после смерти мамы вела мое холостяцкое хозяйство). Но мы, по молчаливому уговору, избегали упоминать об экспедиции и обо всем, что связано с ней. А о чем же мне еще было разговаривать, когда я только об этом и думал? Вот и выходило, что мы больше молчали. И мне казалось: все, что раньше связывало нас с Машей, было непрочным.

С тем большим нетерпением и жадностью набрасывался я на книги. Писем от Соловьева долго не было — кроме коротенькой, в несколько строк, записки, извещавшей, что экспедиция благополучно прибыла в Катманду, — и чувство одиночества, так томившее меня в эти дни, отступало, лишь когда я находил единомышленников в книгах.

Читал я, конечно, очень предвзято и по-дилетантски. Мне вовсе не хотелось объективно и беспристрастно устанавливать истину. Да и как бы мог я, профан, сделать это? Я искал успокоения, искал помощи, дружеской поддержки, а не холодной справедливости. А попутно мне, конечно, просто хотелось изучить хоть немного астрономию, чтоб не выглядеть невеждой в глазах Соловьева и других астрономов. Я и читал все, что попадалось под руку, жадно впитывая новые и новые факты.

Боже, каким же я был самодовольным глупцом всю жизнь! Как мало я знал и как попусту подчас тратил время! Может быть, эти мои сожаления кое-кому покажутся и преувеличенными, но я в самом деле испытывал такие чувства в те дни. Да и позже. Начиная с той гималайской весны, я непрерывно узнавал что-то новое и удивительно интересное.

Вскоре я знал уже многое, хотя и вразброс, без системы. Я уже с полуслова понимал рассуждения и аргументы Арсения Михайловича и его единомышленников. Мне стыдно было вспомнить, что еще совсем недавно я ничего толком не слышал о работах Г.А.Тихова и только хлопал глазами, когда Соловьев рекомендовал мне прочесть у Тихова о марсианской флоре.

Часто, вытянувшись на диване и глядя на зеленые ветви тополя, затенявшие мое окно, я мысленно представлял себе сухие каменистые плоскогорья и красные песчаные пустыни Марса, по которым проносятся беспощадные вихри. Мир, умирающий от жажды в сухом прозрачном воздухе, под ярким сиянием далекого Солнца. Полярные ледяные шапки дают мало влаги, но все же весной они испаряются, над Марсом льют холодные дожди и везде, куда распространяется влага, вспыхивает красноватое пламя первых побегов; потом этот красновато-коричневый цвет, так напоминающий рыжевато-красные земные побеги, гаснет, переходит в сине-фиолетовые тона зрелости. Под свистящим ветром качаются странные — голубые, синие, фиолетовые листья, цветут не известные нам цветы. Они стойко выдерживают и недостаток влаги, и пыльные бури, и ледяной холод ночей... Наверное, они, как цветы Гималаев у границы вечных снегов, укрыты густым пухом, — думал я. — Наверное, вообще в климате высокогорных местностей есть много общего с марсианскими пустынями — резкий холод, ураганные ветры, сухой разреженный воздух, спящее сияние солнца... Пустынями? Нет, нет, я не верю, что Марс — пустыня! Если даже там и в самом деле такие условия, как мы себе представляем, то ведь не сразу же они сложились. Марс постепенно терял атмосферу, его обитатели могли приспособиться к медленно изменяющимся условиям. Я снова и снова вглядывался в сложную сеть марсианских каналов — тонких пунктиров, перекрещивающихся с обдуманностью, неестественной и невозможной для творений природы. Квадраты и ромбы, трапеции и треугольники, правильные круги... Нет, конечно же, это уверенная воля разумных существ, это их гениальные планы воплотились в жизнь. Каким образом вода тающих полярных шапок могла бы дойти до экватора? Даже небольшие неровности почвы меняют течение земных рек. Чем равниннее местность, тем больше они петляют, обходя каждый бугорок, уклоняясь от борьбы с твердым грунтом. Только горные реки стремительно несутся вниз по прямому пути. Но если даже на полюсах Марса есть высокие горы, то ведь его полярные шапки не тают, как у нас снег и лед, а испаряются в воздух, проливаются дождем... И воды на поверхности почвы там не встретишь... Нет, это не реки несут жизнь экваториальным областям, а ис-

кусственные сооружения — каналы, трубы, водонапорные станции, разумное распределение небольших природных ресурсов.

И я, шуря глаза, всматривался в скрещения каналов, ища в них марсианские оазисы, которые еще в прошлом веке увидели итальянец Скиапарелли и американец Персиваль Лоуэлл. Скиапарелли был инженером, но изменил своей профессии ради созерцания звезд. Перед молодым американским консулом в Японии, Лоуэллом, открывалась блестящая дипломатическая карьера, но он отказался от всех ее соблазнов и двадцать лет прожил в Аризонской пустыне, потому что там, на высоте более двух километров, в чистом сухом воздухе яснее виделись далекие звезды и среди них — красная планета, испещренная загадочными тонкими линиями. Лоуэлл верил в существование марсиан; он увидел не только правильные линии каналов, но и параллельные пути, и правильные скрещения, и черные точки на них — конечно же, населенные пункты! Он видел то, что отказывались видеть другие, неверующие. Что это было — фанатизм верующего или убежденность исследователя? Ведь долгие годы потом астрономы всех стран издевались над Лоуэллом, утверждали, что каналы — обман зрения, порожденный несовершенством телескопов, что беспорядочное скопление точек при наблюдении издали порождает несуществующие линии... Но Лоуэлл верил.

И вот передо мной — новейшие фотокарты Марса, добытые при помощи телевизионного телескопа Соловьева. На них эти линии видны совершенно ясно. Да, при увеличении они оказываются неровными, прерывистыми, иногда кажутся цепью темных пятен. Что же из этого? Ведь перед нами, конечно, не сами каналы (их нельзя увидеть, даже пролетая над поверхностью Марса, это, скорее всего, трубы, проложенные в почве), а марсианская растительность, которая еще более жадно жмется к воде, чем наша, земная. Понятно, что она в одних местах разрастается гуще, в других — узкой, невидимой для наших телескопов полоской, прижимается к каналу. И где-то на скрещениях каналов, в сине-фиолетовой глубине марсианских морей-лесов расположены города и селения, может быть, покрытые прозрачными куполами из пластмассы, где кондиционированный воздух, тепло и свет дают машины. Мой любимый поэт, Валерий Брюсов, еще в начале нашего века предсказывал появление таких городов на Земле — даже всемирного города:

Единый город скроет шар земной,
Как в чешую, в сверкающие стекла,
Чтоб вечно жить ласкательной весной,
Чтоб зелень листьев осенью не блекла,
Чтоб не было рассветов, ни ночей,
Но вечный свет, без облаков, без тени...

Правда, Брюсов рисовал дальше земной рай, счастливое общество “царей стихий, владык естества, последышей и баловней природы”, чья жизнь будет вечным пиром. Кто знает, как там, у марсиан, обстоит дело с социальным устройством? Тут я поймал себя на мысли, что думаю о марсианах уже всерьез, с полной уверенностью в их существовании. Но что же невероятного в том, что они существуют? Почему бы и не думать об этом? Может быть, я и не брошу своей профессии ради астрономии, как сделали инженер Скиапарелли и дипломат Лоуэлл, но не думать о том, что произошло, не думать непрерывно, ежеминутно я уже не могу. Вся моя жизнь, все мое сознание отдано сейчас одному — разгадке великой тайны. А что будет потом, когда все разъяснится — посмотрим.

Пришло наконец первое подробное письмо от Соловьева из Катманду.

“Вы очень хорошо рассказали мне о здешних местах, — писал он, — и я чувствую себя так, словно когда-то побывал в Гималаях. Но, конечно, никакие, даже самые детальные и яркие описания не передают всей красоты и очарования этих краев. Честное слово, Александр Николаевич, я должен был бы испытывать к вам чувство глубочайшей благодарности уже за то, что сейчас нахожусь в этом зеленом раю. Поверьте, я хорошо понимаю, что мои восторги не очень деликатны: ведь для вас все воспоминания о Гималаях покрыты тенью трагедии. Но я верю, что жертвы были не напрасны. Мы пойдем теперь в горы во всеоружии и раскроем тайну Черной Смерти и Сынов Неба. Звучит ультраромантически; но ведь и дело, за которое мы с вами взялись, — это, если подумать, высочайшая поэзия и романтика, дорогой Александр Николаевич! А романтика не всем доступна поэтому в наш успех не все верят. Как там у вас, в Москве, идут дела? Какие новости? Не было ли новых вспышек на Марсе? Надеюсь, что вы не падаете духом, думая о трудностях, предстоящих нам. Читайте побольше — вам теперь надо знать все, что возможно для непрофессионала, о небе и звездах. Фламариона прочтите, если незнакомы, Циолковского... Эти люди умели мечтать!”

Дальше Соловьев рассказывал об английском руководителе экспедиции — астрономе Осборне:

“Вот кто тоже умеет мечтать — сэр Лесли Осборн! Можете себе представить — я кажусь ему скептиком и сухарем. Это потому, что я выражаю свои мнения не очень категорически и осмеливаюсь напоминать, что надо бы прежде исследовать все факты. Жаль, что вас здесь нет. Вы английский знаете, и разговоры с сэром Осборном доставили бы вам немало удовольствия. Мне этот неумейный англичанин решительно нравится. Я еще по переписке почувствовал, что он энтузиаст отчаянный, а тут он, увидев воочию вашу пластинку (Соловьев взял с собой талисман Анга), пришел в почти молитвенный экстаз. Он горячо жал мне руки, говорил, чуть ли не со слезами на глазах, что мы совершаем переворот в истории человечества, и не хотел слушать никаких возражений. Вот вам и английская сдержанность и чопорность! Конечно, дело тут не только в пластинках. Просто он уверен в существовании марсиан не меньше Лоуэлла. Фанатически уверен. Наши скептики, как вам известно, называют меня фантастом и прожектером, а уж сэра Осборна они считают попросту сумасшедшим. Во вся-

ком случае Шахов высказывается именно в таком духе, — а он не хуже, хоть и не лучше многих других. Хорошо еще, что он по-английски не говорит. Вообще — зря я согласился взять с собой Шахова. Лучше бы ехать с кем-нибудь из наших сторонников — с Малышевым, например, или с Ситковским.

Не знаю, верит ли во что-нибудь помощник Осборна — Арчибальд Мак-Кинли. Тоже очень любопытная фигура! Осборн несколько напоминает Паганеля (не по внешности — это очень красивый среброволосый джентльмен, — а по типу поведения и отношению к окружающему). Мак-Кинли же отличается крайней деловитостью, он очень подтянут, сух и даже несколько мрачен. Однако, Осборну нужен именно такой помощник, ибо он сам совершенно беспомощен во всем, кроме науки. Да и вообще этот мрачноватый, точный, как хронометр, шотландец может быть очень полезен в любой экспедиции.

Мы вместе с ним были на аудиенции у короля Непала. Задача наша, как вы понимаете, была весьма сложной и щекотливой. Я побаивался, что властелин этой заоблачной страны попросту выгонит нас да еще и привлечет к ответственности, как осквернителей святынь. Король и в самом деле очень колебался и раздумывал. Мак-Кинли долго доказывал ему, что храм этот ничего общего со святынями буддизма и индуизма не имеет и даже вообще представляет угрозу для безопасности страны. Говорил он так точно и убежденно, словно сам побывал возле этого храма, и обнаружил прекрасное знание местных верований и быта. Он предложил, в конце концов, чтоб к экспедиции присоединились монахи в роли, так сказать, экспертов по части религии. Мне это показалось рискованным, но зато короля успокоило. В конце концов, я думаю, что монахи нам не помешают. Безусловно, никакой это не храм, по вашему описанию это ясно, и они сами увидят. Только бы не дали каких-нибудь тупиц — ну, да уж Мак-Кинли позаботится. Он в Непале бывал и на все кругом смотрит без особого интереса, но зато ориентируется легко и свободно.

В общем, разрешение идти к храму у нас имеется. Теперь надо уговорить вашего друга Лакпа Чеди и его приятеля, чтоб они проводили нас к ущелью. Без них нам трудно придется. Завтра я и Мак-Кинли летим в Дарджилинг. Сейчас я особенно жалею, что здесь нет вас. Вы бы легче нашли с ними общий язык”.

В бессильной ярости я отбросил письмо и уткнулся головой в подушку. С ума можно сойти — вот так валяться на этом проклятом диване, а они там... Я опять схватил письмо, поглядел на штемпель — да, они уже, наверное, двинулись в горы, ведь переход будет не очень трудным, и снаряжаться долго незачем... Главное начнется у храма. А я тут прикован к постели!

Пришла Маша. Я дал ей письмо. Мне хотелось, чтоб она поняла, как мне тяжело. Но она, прочитав письмо, только вздохнула и пошла менять воду в вазе с цветами.

Я отвернулся к стенке. Нет, никогда больше не буду говорить с ней об экспедиции. Что толку обоим расстраиваться? Маша вернулась и стала у меня за спиной. Я поглядел на нее через плечо. Она была очень красива, когда стояла вот так, с цветами в руках, и лицо ее выглядывало из темно-красных георгинов.

— Пожалуйста, не сердись, Шура! — ласково и печально сказала она. — Мне бы давно надо с этим примириться, а я все еще надеюсь... надеюсь, что у тебя это пройдет, что мы опять поедем вместе на Кавказ и опять все будет хорошо. Ты помнишь?

Конечно, я помнил. Мы вместе были на Кавказе, в горах Маша с ботанической экспедицией, а я по заданию редакции. Мы так радовались, что нам удалось вместе поехать! И мы решили, что следующее лето проведем на Кавказе — в горах, на море, всюду побываем! Вот оно и пришло, это следующее лето...

— Маша, — сказал я, — ведь все-таки главное — не Кавказ. А главное — чтоб нам быть вместе. Ведь так мы решили, правда?

Я говорил это и сам понимал, что мы уже не вместе, и мне было очень больно и тяжело. Маша поставила цветы на стол и села около меня. Мы долго молчали.

— Да, конечно, — сказала она потом. — Конечно, это само собой понятно, что мы вместе. Но как быть, если я сейчас убеждена, что ты губишь себя? Я же никуда не отхожу, я рядом. Но как мне убедить тебя? Все твои планы рухнули, ты болен, отравлен этой сумасшедшей мечтой.

— Мои планы... — пробормотал я, все казалось теперь таким жалким.

— Да, твои планы! — горячо говорила Маша. — Аспирантура, работа над Брюсовым... ты же так мечтал об этом! А теперь ты даже книжку о Гималаях не пишешь, тебя ничто уже не интересует!

— Маша, книжку о Гималаях я обязательно напишу, — сказал я как можно спокойнее. — И аспирантура от меня никуда не уйдет. Ну, в будущем году поступлю, ведь мне же только 27 лет тогда будет. А что касается Валерия Брюсова, так он бы просто в восторг пришел, если б знал, ради чего я ему изменяю. Даю тебе слово! Тем более, что еще неизвестно, что за работу я выдал бы на-гора, а тут... ты пойми только, Маша...

— Нет, с тобой бесполезно говорить, — устало ответила Маша. — Ты фанатик. Ты все предал и разлюбил, что у тебя было. И меня тоже...

Я молча смотрел на нее, не зная, что сказать. В конце концов, она была права. Все, чем я жил прежде, потеряло теперь для меня настоящую цену. Конечно, если б Маша относилась к делу так же, как я, если б душой, а не на словах была вместе со мной в эти трудные дни, многое было бы легче. Но она сама захотела остаться по ту сторону, и я не то, чтоб перестал ее любить, но духовно как-то отдалился от нее...

— Давай уговоримся так, — сказал я наконец, — ты все же не будешь с ходу и заранее все отрицать, а считаешь, подумаешь, поспоришь со мной. Вот Арсений Михайлович вернется, я вас познакомлю...

— Это давно следовало сделать! — откликнулась Маша.

— Да он был уж очень занят, — смущенно возразил я и подумал, что все же надо было как-то улучшить момент для знакомства: может, Маша иначе относилась бы теперь к делу. — А пока, прошу тебя, просто для меня, из дружбы, из сочувствия, прочти все, что возможно.

Маша согласилась и унесла с собой пачку книг. После этого у нас хоть общие темы для разговора появились. Я с пылкостью неопита доказывал Маше, что прав Соловьев, правы Лоуэлл и Осборн: на Марсе есть высоко развитая жизнь! Маша, собственно, не спорила, а задавала вопросы: видно, она хотела поверить. Но ей это плохо удавалось.

— Ты пойми только, Маша, — с увлечением говорил я, — ведь Циолковский считал, что во Вселенной



есть не менее полумиллиона планет, населенных разумными существами. Не менее полумиллиона! А Фламарион мечтал о том, что человек станет гражданином неба. Ты ведь читала, как он говорит о планетах: “Ведь это человечество, ведь это родственные нам духи несутся мимо нас!” Неужели тебя это никак не волнует?

— Фламарион — талантливый мечтатель, — ответила Маша, а Циолковский и вовсе фантаст. Нет, я говорю не о межпланетных полетах — тут спорить просто смешно, когда мы вот-вот посетим Луну. Но зачем внушать себе несбыточные мечты о встрече с разумными существами? Ведь это же размагничивает! А если никого там нет?

— А если есть? — возразил я. — Все-таки, Маша, недаром люди еще с давних времен верили в то, что обитаемых миров множество. Вот смотри — Фламарион цитирует то, что говорил Лукреций почти два тысячелетия назад: “Весь этот видимый мир в природе не единственный, и мы должны полагать, что в других областях Вселенной есть другие земли, другие существа и другие люди”. И послушай, как горячо соглашается с этой мыслью Фламарион: “Если волны созидательной материи в тысячах различных видов проносятся по океану беспредельного пространства, то неужели их плодотворности хватило только на создание земного шара и его небосвода? Нет и нет!” Люди всегда об этом думали; А теперь есть и доказательства.

— Ну, доказательства, положим, все же нет, — тихо заметила Маша.

— А вспышки на Марсе? — воскликнул я. — Ну, пусть вся гималайская история имеет какое-то другое объяснение, — а вспышки?

Да, вспышки — это было действительно очень интересно! Еще до отъезда Соловьева на Марсе произошла новая вспышка; недавно, с интервалом в 40 дней, она повторилась. Наблюдались эти вспышки в той же местности, где и те, о которых мне рассказал Соловьев при первой встрече, но по характеру отличались от них. Они были более длительными, чем первые, продолжались по 3–4 минуты. Они смещались по экватору в сторону вращения планеты. Им сопутствовало сильное инфракрасное излучение. И, кроме того, оба раза, минут через пятнадцать после этих вспышек, у другого края экваториальной зоны возникали неподалеку друг от друга более яркие и короткие вспышки. Искусственное происхождение этих вспышек казалось еще более несомненным. В обсерватории с нетерпением ждали возвращения Соловьева и неустанно следили за Марсом.

Маше я уже рассказывал об этих новых наблюдениях. Тогда она промолчала, а теперь неожиданно оказала:

— Да ведь это могут быть просто извержения вулканов!

Я не рассердился только потому, что прекрасно помнил, как совсем недавно сам задал подобный вопрос Соловьеву. Однако я не стал допрашивать Машу — не является ли она сторонницей теории Мак-Лофлина, — а просто начал объяснять ей, почему это не может быть извержением вулкана.

— Вот послушай, Маша, — говорил я. — Во-первых, что это за вулканы, которые действуют так строго периодически? Где ты видела такие?

— Не видела, но знаю! — торжествующе okazала Маша. — А вулкан Стромболи в Средиземном море?

Черт бы побрал этот вулкан, я о нем совсем забыл! А ведь еще в детстве про него читал!

— Ну, допустим, — продолжал я, несколько смущенно. — А почему же именно в предрассветные часы? Ведь эта новая серия вспышек выглядит совсем иначе — по периодичности и так далее, — а происходит опять-таки в предрассветное время?

— Этого я уж не знаю. Я же не изучала ни Марс, ни вулканы. Может быть, просто совпадение? Ведь может же быть такое?

— Слишком много совпадений! — недовольно сказал я. — А почему эти вспышки смещаются вдоль экватора? А почему вслед за ними в другом месте возникают разбросанные яркие вспышки? Нет, серьезно. Маша?

Маша пожала плечами.

— Что ты меня спрашиваешь? Я ботаник, а не астроном. Так что же, по-твоему, происходило на Марсе, если не извержение вулкана?

— Ну, я бы сказал, — осторожно ответил я, — что эти вспышки больше всего похожи на испытание какого-то мощного оружия. Поэтому они и производятся перед рассветом, вдали от населенных пунктов, в экваториальных пустынях.

— Атомные бомбы, да? — Маша усмехнулась, потом задумалась. — Нет, Шура, ты фанатик. Я даже не подозревала, что ты можешь быть таким. Словно какой-то чужой человек со мной разговаривает...

Я молчал. Мне ведь тоже было трудно поверить, что это Маша, смелая, веселая моя подруга, так говорит со мной...

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Письма от Соловьева стали приходить все чаще. И в каждом сообщались вещи, глубоко волновавшие меня.

Первое подробное письмо пришло из Дарджилинга.



“Лакпа Чеди встретил нас не очень-то радостно, но мы и не рассчитывали на восторженный прием, — писал Соловьев. — Вся эта история с талисманом даже у человека, свободного от суеверий и мистических страхов, должна была бы вызвать болезненное чувство. За год с небольшим — две смерти в семье да еще гибель двух европейцев... Узнав, зачем мы пришли, Лакпа Чеди даже голову пригнул от ужаса. А в глазах Нимы выразилось такое отчаяние, что у меня сердце защемило. Тем более, что по вашим рассказам я представлял их себе очень ясно и встретился с ними, словно со старыми друзьями. Мак-Кинли долго уговаривал шерпов, объясняя им с большим знанием дела, что это не храм, что все это не имеет на самом деле ничего общего с религией, но мало преуспел. Да и вообще это была, на мой взгляд, попытка с негодными средствами. Для шерпов за этим стоит и родовая легенда, и мрачный, монах, охраняющий храм, и чудеса, которые произошли на их глазах. В конце концов, Мак-Кинли переменил тактику и сделал очень простой и жестокий ход: он напомнил Лакпа Чеди, что тот все

равно уже выдал тайну и подлежит смерти. При этих словах Нима упала ничком на пол, а Лакпа Чеди сжался, будто ожидая удара, и губы у него посинели. Мак-Кинли попал в самую точку, но я был зол на него. Я постарался смягчить действие этих жестоких слов и сказал, что на этот раз никто в экспедиции не пострадает, за это я вполне ручаюсь, так как у нас есть надежная защита.

После этого Лакпа Чеди долго сидел на корточках с застывшим лицом, бормоча молитвы. Мак-Кинли разглядывал все вокруг со спокойным неодобрением, а я разговаривал с Нимой, всячески стараясь ее утешить. Передал привет от вас — это ее видимо обрадовало, несмотря на весь ужас, который она испытывала, — а потом дал увеличенную, фотографию Анга. Этот ваш подарок поверг ее в оцепенение. Нима даже побоялась взять фотографию в руки, и я положил ее на стол. Нима молча смотрела на портрет, и в глазах ее был ужас. Я уж подсадовал было на себя за бестактность. Но потом Нима глубоко, прерывисто вздохнула и сказала: “Туджи чей!” так искренно, что у меня даже глаза начало щипать. Поднялся Лакпа Чеди, подошел к столу и тоже долго смотрел на фотографию. Потом он повернулся к нам и очень тихо оказал, что согласен проводить экспедицию до самого ущелья.

Сказал, что готов отправиться хоть завтра. Нима молчала.

Очень хорошие и очень несчастные люди. Мне их жаль до глубины души. Успокаиваю себя только тем, что на этот раз все должно кончиться благополучно. На рожон мы не полезем, как Милфорд. Да ведь нам и незачем: мы пустим в ход нашу “Железную маску”! Как жаль, что вы с ней не познакомились до отъезда (посылаю вам ее фотографию). Впрочем, и я ее почти не видел; контакт мы установили только здесь. Она гениальна, поистине гениальна, дьявольски чутка и послушна, и я готов ее расцеловать, но боюсь, что она это неправильно истолкует! Хотя, конечно, она ответит мне взаимностью!”

Я засмеялся. Гениальная и чуткая “Железная маска” — это был оригинальнейший робот, специально сконструированный для экспедиции по заданию Соловьева. Этот робот управлялся биотоками — то есть, фактически мыслью человека. Первая, экспериментальная модель такого механизма — “Железная рука” — демонстрировалась еще в 1958 году, на Всемирной Брюссельской выставке, в нашем советском павильоне. Тогда она казалась настоящим чудом: подчиняясь мысли человека, действовала с точностью настоящей руки — брала предметы, переносила их с места на место, удивительно осторожно обращалась с хрупкими вещами, но по приказанию могла проявлять и большую силу. Управление этой рукой было самым примитивным, хотя и оно каза-



лось тогда чем-то невероятным: рука человека была подсоединена к “Железной руке” железными браслетами (с токопроводящей массой внутри) и электропроводом. С тех пор механизмы, управляемые биотоками, очень усовершенствовались. Наш робот (первая модель такого типа) не только свободно двигал руками от плеча до кончиков пальцев и производил ими любые движения, но и ходил (вернее, передвигался на гусеницах), сгибал туловище, вертел во все стороны головой, в которую были вмонтированы телепередатчик и два мощных фонаря. Он обладал действительно дьявольской чуткостью, точнее, чем-то вроде осязания: “чувствовал” температуру и тяжесть предмета, степень его твердости, мог определить его форму и характер поверхности. А самое главное — он управлялся издалека, а изображение того, что освещалось ослепительными “глазами” робота, передавалось на экран портативного телевизора. Действительно, гениальная машина! Я посмотрел на фотографию робота — он сидел за столом и, согнув шею, копался в набросанных перед ним предметах.

“Видите, какая умница наша “Железная маска”? — писал Соловьев. — Ведь это она сортирует предметы — хорошо очиненные карандаши в одну кучку, с обломанным грифелем — в другую; кроме того, она вынимает перья из ручек и старательно протирает их. Но вы не думайте, что она способна только на канцелярскую работу. Ничуть! Она роет землю, таскает тяжести, быстро ходит по лестницам... О, это настоящее чудо! И ей не страшна никакая Черная Смерть. Эта умница пойдет в храм с небольшой тележкой на роликах и по моей команде вынесет оттуда все, что там оставили небесные гости. (За исключением, конечно, радиоактивного вещества — тут мы еще не придумали, как поступить). А мы в это время будем сидеть где-нибудь наверху, хотя бы в той котловине, которая так заинтересовала Милфорда, или еще где-нибудь и рассматривать обиталище Черной Смерти на экране телевизора. А потом мы попросим “Железную маску” выйти из храма, вытащить тележку, поплотнее закрыть за собой дверь — и готово! Получим то, что она там достала. Наша умница ведь вся сделана из особого рода пластмасс. Так что мы ее просто отмоем хорошенько и сможем опять здороваться с ней за руку и даже гулять в обнимку”.

Я отложил письмо. Мне было грустно до боли. Да, они-то войдут в храм! Ах, Монти, Монти, зачем вы поторопились! Мы бы сейчас вместе были там и смотрели, как чудесный робот орудует в этой смертоносной мгле, как под белыми лучами его фонарей возникают на экране телевизора неровный каменный пол, и круглый блестящий купол, и странные разноцветные приборы, и детали каких-то неземных механизмов... может быть, остатки разобранного на части космического корабля... Да, Маша права: я никогда, до самой смерти не забуду Милфорда. Как поступил бы он, если б знал о существовании “Железной маски”? Ведь, наверное, подождал бы все-таки, не стал бы попусту рисковать жизнью... Он же догадывался, что там такое, — неспроста устроил себе какую-то примитивную защиту... Марлевая маска и перчатки против всемогущей Черной Смерти... бедный Монти! Ну, подожди ты, проклятая, попробуй-ка справиться с нашей “Железной маской”!

Можете себе представить, с каким нетерпением ждал я новых писем! Соловьев писал часто, рассказывал о монахах-наблюдателях, о сборах в экспедицию, восхищался красотой гор и ласковым обращением местных жителей. Потом пришло письмо из Намче-Базара; там оставался базовый лагерь, а экспедиция шла уже прямо к таинственному ущелью.

Маша читала все письма Соловьева, читала книги по астрономии. Мне казалось, что она молчит просто из упрямства. Ведь не могла же она не понять, какое важное дело начинается на ее глазах? Просто ей обидно, что я как будто изменил литературе и журналистике, без всяких колебаний бросил даже и думать пока об аспирантуре, и что вся наша с ней жизнь пойдет теперь неизвестно как. Мне как-то даже в голову не приходило, что те факты и аргументы, которые совершенно убедили меня, могут не подействовать на Машу. Одно дело — ученые-консерваторы. У тех убеждения (или предрассудки) уже сложились, им трудно отказаться от них даже перед лицом очевидных фактов. А Маша — какие у нее могут быть убеждения или предубеждения в астрономии? Просто — упрямство. И, как это ни горько, — забота о личном спокойствии и благополучии (личном — включая меня). Я, наверное, был несправедлив, думая так, — но уж очень мне тогда обидно и больно было.

А тут еще это ужасное сообщение по радио! Я себе просто места не находил с тех пор, как услышал его. Никакие новые открытия меня в те дни не радовали.

Вот что произошло. Однажды поздно вечером мне позвонил Григорий Львович Бершадский, заместитель Соловьева. Мы с ним часто перезванивались, сообщали друг другу новости: он — о делах обсерватории, а я, в свою очередь, рассказывал, что пишет Соловьев (в обсерваторию он писал короче, сообщал только самое главное). Бершадский рассказал мне о новых вспышках на Марсе, принес даже фотографии, чтоб мне было понятней. Он извещал меня о том, как идут дела с исследованием пластинок, точнее говоря — одной пластинки и прибора (талисман Анга, как уже говорилось, взял с собой в экспедицию Соловьев, а одну из гладких желтых пластинок, во всем похожую на другую, оставили на хранение в обсерватории — для контроля).

Пластинка упорно молчала. Что только с ней ни делали, а она оставалась такой же безмятежно ровной и чистой, все так же светилась матовым теплым золотом. Некоторые из исследователей стали говорить, что, возможно, это просто чистые таблички, предназначенные для записи, а запись еще не сделана. В конце концов, и это было возможно. Но ни Соловьев, ни я не хотели на этом успокоиться, — и пластинку подвергали, по нашей просьбе, все новым и новым испытаниям.

И вот Бершадский, крайне взбудораженный, позвонил поздно вечером и сказал, что хочет немедленно приехать ко мне. Маша пригласила его. Бершадский поверил трубку — и сейчас же позвонил опять. Он спросил, есть ли у меня радиоприемник. Маша сказала, что есть.

— Зачем ему радиоприемник? — недоумевал я. — Новости какие-нибудь, что ли? — И мне стало не по себе. — Маша! Маша, скорее включи приемник, поищи по шкале — может, что-нибудь передают об экспедиции! Или нет, подожди, я сам.

— Маша, а какой у него был голос? Взволнованный?

— Взволнованный. Но, я бы сказала, какой-то обрадованный, — ответила Маша.

Мы уселись у радиоприемника, я начал вертеть ручку настройки.

И вдруг мы услышали печальный и торжественный голос: “Наука требует жертв, — говорил кто-то по-русски с еле заметным акцентом. — И как ни велика наша скорбь о погибших — замечательных сынах Англии и их смелых спутниках, — но мы хотим надеяться, что гибель их не напрасна и что тайна Черной Смерти будет раскрыта”.

У меня все внутри оборвалось. Я вскочил и дико уставился на Машу. Она тоже смотрела на меня с ужасом. Что же это? Они погибли? Пропали без вести? Что случилось?



Передача окончилась. Я побежал в коридор и начал названивать в радиокомитет. Там ответили, что никаких новых сведений об экспедиции не имеют, ничего на эту тему не передавали и что, скорее всего, я поймал какую-то зарубежную передачу на русском языке.

Бершадского я встретил чуть ли не воплем:

— Что с ними? Что вы знаете?

Он сам испугался не меньше меня. Нет, он ровно ничего не знал об экспедиции. Я бросился к радиоприемнику. Передача с этой станции прекратилась. Слышалось только глухое жужжание и

потрескивание. Я в отчаянии махнул рукой. Теперь ничего не узнаешь.

— Да что случилось? — встревоженно повторял Бершадский.

Мы с Машей передали ему услышанные слова... Он судорожно глотнул воздух и тяжело опустился на диван рядом со мной. Помолчав немного, он сказал, что это может быть что угодно: конец какого-нибудь фантастического рассказа, мистификаторская передача... у зарубежного радиовещания свои нравы. Но мы все еще находились под впечатлением глубокой печали, звучавшей в голосе того, кто выступал по радио. Нет, это не мистификация.

— Но ведь если бы что-нибудь случилось, у нас на радио знали бы! — успокаивал нас Бершадский.

— А если англичане раньше получили известия? Ведь в Катманду есть английский консул! Могли передать по радио из Намче-Базара в Катманду, а оттуда — в Лондон. А мы узнаем немного позже... — Мне стало так страшно, когда я все это сказал, что даже колени задрожали.

Я видел, что и Бершадский испугался. Он посмотрел на меня широко раскрытыми глазами и облизнул пересохшие губы. Но потом он порывисто встал и наклонился надо мной — высокий, худой, с пышными полуседыми волосами.

— Вот что, — он говорил резко и сухо, — я больше не хочу разговаривать об этом, пока не получу официальных сведений. Не хочу, понятно? И вам не советую.

Я понимал, что он прав. И, хотя сердце у меня нестерпимо ныло, я сказал:

— Ладно, Григорий Львович, не будем больше пока. Рассказывайте, что у вас там случилось.

А случилось нечто в высшей степени интересное.

Бершадский сидел вечером в кабинете Соловьева. Уже смеркалось. Думал он, конечно, как и я, больше всего об экспедиции, о небесных гостях, о тайне храма... Ему захотелось еще раз посмотреть на загадочную пластинку и он достал ее из сейфа — ту самую вторую желтую пластинку, которую Соловьев оставил для контроля. Бершадский начал ее разглядывать, стоя у включенного радиоприемника.

В эту минуту зазвонил телефон. Бершадский машинально положил пластинку на радиоприемник и взял трубку. Говорил он долго — как он предполагает, не менее десяти минут. Вдруг он услышал какой-то треск в радиоприемнике и, повернувшись к нему лицом, в наступивших сумерках увидел над ним слабое мерцающее свечение. Бершадский поспешно извинился перед собеседником и прервал разговор. Подойдя к радиоприемнику, он обнаружил, что свечение исходит от пластинки. На ней проступили бледно светящиеся контуры географической карты. Линии были каким-то образом так подсвечены, что казались выпуклыми. Бершадский различил волнистую линию гористого побережья, рельефно выступающие горные хребты и пики. В одном месте где-то в горах — он увидел очень яркую световую точку, горевшую, как маленькая звездочка. Он кинулся к фотоаппарату, чтоб заснять изображение, но оно уже погасло. Пластинка опять была безжизненно гладкой.

Бершадский обнаружил, что приемник не работает — сгорел предохранитель. Он записал волну и станцию, на которую был настроен приемник. Затем вызвал дежурного механика. Спросил, не подскочило ли сейчас напряжение в сети. Оказалось, что напряжение все время оставалось обычным, не превышало нормы. Механик исправил повреждение. После этого Бершадский начал подносить пластинку к приемнику со всех сторон, клал ее опять на то место, где она лежала, когда возникло свечение, и на другие места. Все его усилия оказались тщетными: пластинка молчала.

— Но что за карту вы увидели? — допытывался я. — Какая это была местность?

Бершадский в отчаянии развел руками.

— Я же не географ! Да и вообще видел-то я ее секунду, не больше. Ну, вот помню, что побережье, что горы на востоке и вода на западе. Горы вплотную подступают к берегу.

— Может быть, Кавказ? — предположил я.

— Н-не знаю... конечно, может быть... да нет, что-то на Кавказ не похоже. Там же хребты идут не вдоль моря, а почти под прямым углом к нему. А в общем, не знаю, ничего не успел сообразить, очень волновался.

Бершадский сразу же позвонил в лабораторию Института химической физики, где испытывали пластинку. Но там, конечно, никто не отвечал — было уже около десяти вечера. Тогда он кинулся ко мне — поделиться удивительной новостью...

— Но что же это могло быть, как вы думаете? — спросил я.

— Ну, очевидно, перед тем, как предохранитель перегорел, вокруг приемника, вследствие случайной неисправности, создалось особое электромагнитное поле — оно просуществовало, вероятно, не более минуты, но успело вызвать к жизни то, что написано на пластинке. Во всяком случае у нас теперь есть ключ к ней. Надо только повторить эти условия и стабилизировать их. Этим займются специалисты. Нет, но вы понимаете, Александр Николаевич, какое счастье, какая удача! — восторженно говорил Бершадский.

Конечно, это была удача, и час назад, я радовался бы этому известию еще больше Бершадского. Но сейчас даже это не утешало — так терзала меня тревога. Что же случилось там, в горах?

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Никто ничего не знал. На радио повторяли, что никаких новых известий об экспедиции нет, а если бы что-нибудь серьезное произошло, то в Москве об этом знали бы обязательно. То же самое отвечали в Академии наук (экспедиция снаряжалась Академией), в Совете Министров — всюду, куда мы обращались. Запрашивали Лондон — оттуда дали официальную справку, что никаких новых сведений об экспедиции нет; известно, что они вышли из Намче-Базара и направились к храму в ущелье; новые сведения, вероятно, должны поступить не ранее, чем через два-три дня, когда экспедиция вернется в Намче-Базар.

Оставалось ждать, терпеть, надеяться. И в эти дни, когда я, не находя себе места, то ковылял по комнате, то хватался за книгу, то звонил в обсерваторию, — именно в эти тяжелые дни снова удалось заставить желтую пластинку говорить.

После случая в обсерватории специалисты пытались воспроизвести те условия, при которых могло возникнуть изображение на пластинке. Они пробовали помещать пластинку в электромагнитное поле, которое по своим параметрам приближалось к тому, что могло создаться тогда, возле радиоприемника.

И наконец, при каких-то условиях (сочетание которых, к сожалению и на этот раз не удалось полностью определить и зафиксировать) на пластинке снова проступили светящиеся контуры географической карты с яркой точкой почти посередине изображения. На этот раз пластинка светилась около трех минут, и ее успели сфотографировать. Географы легко определили, что это за местность: это было тихоокеанское побережье Южной Америки между 25–35 градусами южной широты и Кордильеры на границе между Чили и Аргентиной. Светящаяся точка находилась в Кордильерах, примерно около 31 градуса южной широты. Конечно же, она указывала место высадки межпланетного корабля! И опять небесные гости выбрали гористую и пустынную местность: они, видимо, искали климат, близкий к тому, который был им привычен. Значит, скорей всего, это марсиане! Это им нужны высокие горы, сухой и разреженный воздух... Арсений Михайлович прав. Но что же с ним, что с ним?

Новости приходили теперь одна за другой. Несмотря на то, что очередное противостояние Марса, проходившее на этот год, уже окончилось, и условия наблюдения быстро ухудшались, все же удалось заметить еще одну вспышку, очень похожую на те, которые наблюдались в последнее время.

Я так пишу, что можно подумать, будто об экспедиции не было вестей по крайней мере месяц. На самом деле ждать пришлось всего три дня — но после этого загадочного сообщения по радио мне дни казались бесконечно длинными, а к тому же и события как-то все совпали во времени: заговорила пластинка, появились новые вспышки.

На четвертый день утром меня разбудил почтальон. Я жадно схватил конверт, увидев стремительные косые линии знакомого почерка. Посмотрел на штемпель — Катманду. И шло письмо не больше, чем положено. С некоторой опаской я поглядел на конверт. Ясно, что Соловьев жив. Но что же с экспедицией? Кто погиб? Почему?

Письмо Соловьева меня ошеломило. Это было совсем не то, чего я ожидал все эти дни с таким ужасом; но все равно, что за неожиданный поворот, что за таинственные трагедии на каждом шагу!

“Приготовьтесь выслушать очень неприятные известия, — писал Арсений Михайлович. — Будьте мужественны, не падайте духом. Я верю, что еще не все потеряно, хотя, надо признать, положение создалось очень тяжелое. Удивительный край — эти Гималаи! Ну, как тут не создаваться легендам!

Но перейду к делу. Мы благополучно добрались до Намче-Базара, отдохнули денек и направились в ущелье. Робота мы тащили на носилках в собранном виде; одели нашу милую умницу, как человека, на лицо

нацепили специальную каску с прорезями для глаз, да и на них пока очки надели: боялись насмерть перепугать шерпов и монахов, и поэтому сказали, что это человек, погруженный в гипнотический сон. Вообще-то так выдумал Мак-Кинли; кажется, это была не самая удачная из его выдумок. Шерпы-проводники все равно шли, как на смерть, — с застывшими лицами, молча, без обычных для этого народа шуток и смеха. Я пробовал с ними заговаривать, объяснял, какое великое дело мы делаем, но они отмалчивались. Впрочем, я знаю английский язык вовсе не так уж хорошо, а шерпы, пожалуй, еще хуже — у них запас слов очень небольшой и чисто утилитарный по составу.

Все же они уверенно вели нас по тому же пустынному, каменистому плоскогорью, по которому вы с ними возвращались из храма. Лакпа Чеди показал мне пещеру, где лежали тела Милфорда и Анга. Но шерпы уже давно забрали тела и сожгли их. Конечно, для науки это — потеря: тело Милфорда следовало внимательно осмотреть, произвести вскрытие — ведь надо же выяснить более точно природу Черной Смерти! Ее проявления, по вашим рассказам, хоть и походят несколько на лучевую болезнь, но полностью с ее симптомами не совпадают... Однако я хорошо понимаю, что вам все же приятно будет сознавать, что тело вашего друга больше не лежит под непрочной охраной камней, которые легко разбросал бы медведь или волк (если б им вздумалось забрести в эти пустынные края), что огненное погребение — должно быть, именно тот вид погребения, которое выбрал бы сам Милфорд, так близко связанный с Востоком, надежно защитило его. Грустно мне было стоять у этой пещеры. Мне казалось, что я тоже знал и любил этих замечательных людей. Англичане обнажили головы; я последовал их примеру. Впрочем, долго стоять с непокрытой головой на ледяном ветру высот нельзя. Мак-Кинли первый натянул свою вязаную шапку и заставил Осборна сделать то же.



Ну вот. И на этом, собственно, кончилась наша экспедиция. Вы недоумеваете? Еще бы! Ведь никому в голову даже не приходило, что может произойти. И мне тоже. Итак, уже около часа я замечал, что шерпы сильно беспокоятся и как-то неуверенно озираются по сторонам. Началось это с того, что нам преградила путь очень узкая, но глубокая и длинная трещина. Перешагнуть ее не стоило никакого труда, и я бы попросту не обратил на нее никакого внимания. Но шерпы осматривали ее с видом величайшего изумления и тревоги. Я спросил их, не сбились ли мы с пути; они заверили, что мы идем правильно, но что трещины здесь никогда не было. Не знаю, почему я не задумался над тем, что это может означать; вероятно, я просто, как и все участники экспедиции, сгорал от нетерпения: ведь до цели оставалось тогда уже

меньше часа ходу. Один Мак-Кинли нахмурился, услышав, что говорят шерпы; он зато и меньше всех был потрясен тем, что случилось дальше. Правда, он вообще всегда мрачен и невозмутим. А мы все просто пришли в отчаяние и сейчас еще не можем опомниться.

Только успели мы подняться из впадины, где расположена пещера, как путь нам снова преградила трещина. На этот раз она была настолько широкой, что даже перепрыгнуть через нее не удавалось. Шерпы застыли, увидев эту трещину, и начали бормотать молитвы. Мы сказали им, что надо переправиться на ту сторону по веревке. Лакпа Чеди долго раздумывал, советовался с товарищами, и наконец объявил, что сначала они пойдут одни, а мы должны подождать здесь. Лица у них окаменели, в глазах было отчаяние и ужас. Мак-Кинли что-то пробормотал сквозь зубы. Потом он вскарабкался на высокий обломок скалы и начал вглядываться вперед. Шерпы переправились через трещину и медленно двинулись дальше. Пройдя еще несколько шагов, шерпы остановились и вдруг упали ничком на землю. Полежав так с минуту, они чуть не бегом бросились обратно. Мак-Кинли слез с обломка и с ожесточением выругался.

— Что случилось? — спрашивали мы.

— Сейчас они вам расскажут, — зловеще пообещал шотландец.

Лица шерпов были искажены ужасом, руки дрожали.

— Гнев богов! — задыхаясь, сказал Лакпа Чеди. — Боги приказали больше никого не пускать в ущелье. Они закрыли вход в свою обитель!

В голосе его прозвучало скорбное торжество. Мы недоумевали.

— Мой друг, — мягко, но настойчиво оказал Осборн, — поймите, нам не страшен гнев богов. Вы увидите, что мы все вернемся невредимыми. Вы можете остаться здесь, а мы пойдем в ущелье.

Шерпы с недоумением поглядели на него.

— Нет больше ущелья! — сказал Лакпа Чеди. — Нет храма, нет реки. Ничего нет. Гнев богов все уничтожил.

— Что они говорят? Что это значит? — спрашивали мы, не в силах еще поверить, что произошла катастрофа, что вмиг рухнули все наши замыслы, все наши надежды.

— Они говорят правду, джентльмены! — подтвердил Мак-Кинли. — Вы же видите, что здесь недавно произошло сильнейшее землетрясение.

Мы огляделись. Действительно, все кругом было сдвинуто, изломано, исковеркано, зияли трещины, высились нагромождения гигантских камней со свежими, не успевшими обветриться изломами.

— Не может быть! — в полной растерянности пробормотал я.

— Почему не может быть? — угрюмо возразил Мак-Кинли. Землетрясения в Гималаях — не такая уж редкость.

Да, конечно, землетрясения в Гималаях бывают часто. Но ведь надо же, чтоб это землетрясение произошло именно в эти дни и в этом месте! И замысел, и выполнение достойны богов. Однако, поразмыслив, я нахожу, что эти боги, кто бы они ни были, обошлись с нами весьма гуманно. Они заперли наглухо двери перед самым нашим носом — всего только! А что им стоило бы устроить это в тот момент, когда мы вошли в ущелье?

Но, кроме шуток, катастрофа полнейшая. Распространяться о своем состоянии не буду — вы сами можете догадаться, что оно, мягко выражаясь, оставляет желать лучшего. Сначала мне не хотелось даже писать вам, но вот я рассказал обо всем и почувствовал, что стало как-то легче. Это письмо отправится с сегодняшним самолетом в Индию, а оттуда — в Москву. Сам же я сделаю этот путь на несколько дней позже. Надо еще дать официальное объяснение непальскому правительству, потом присутствовать на празднике, где будет показано искусство непальских спортсменов, и так далее. Словом, надо сделать все, чего требует вежливость. А потом я надеюсь явиться в Москву вместе с Осборном. Он, конечно, тоже огорчен, но по-прежнему пылает энтузиазмом и уверен, что из ваших пластинок можно что-нибудь выжать (кстати, ничего я здесь не знаю: как идут дела в этом направлении?). Сейчас мы согласовываем этот вопрос с Москвой и Лондоном. Отказа с чьей бы то ни было стороны мы не ждем — но опять-таки необходимые формальности оттянут наш приезд.

Письмо мое несколько мрачно, но вы все же не предавайтесь отчаянию, дорогой Александр Николаевич! Я верю, что все еще наладится, не тем, так другим путем!”

Я был так ошеломлен, что не мог сказать ни слова. Маша вопросительно поглядела на меня — я молча протянул ей письмо. На этот раз и Машу, что называется, пробрало, она даже вскрикнула, читая о катастрофе.

— Ну, что за трагическая нелепость! — горячо сказала она. — Ведь это же ужасно! — и вдруг задумалась. — Постой, Шура, а откуда же возникли слухи об их гибели? Что все-таки означает эта передача?

— Да, в самом деле, — вяло сказал я. — Впрочем, теперь это уже не так важно. Ведь все живы и здоровы...

“Нет, нет, Соловьев не сдастся! — думал я. — Не может быть, чтоб он ничего не предпринял дальше. Ведь пластинки заговорили! И вспышки на Марсе продолжаются... Он будет действовать!”

Я уже начал ходить на работу, втягивался понемногу в жизнь редакции и с удовлетворением отмечал, что журналистика все же осталась близка моему сердцу. Мне уж, признаться, казалось в последнее время, что я охладел ко всему, что не связано с гималайской загадкой. Конечно, я несколько отошел от своей привычной жизни, не уходил в работу с головой, как это бывало раньше, но все же работал охотно. Но когда я ехал на аэродром встречать Соловьева, я опять уже ни о чем не мог думать, кроме одного: что будет дальше, как пойдут наши поиски?

Соловьев обнял меня — загорелый, веселый, бодрый. От него словно излучалась энергия и уверенность. Мне сразу стало легче, хоть он ничего еще не сказал. Он посторонился, представляя мне английских гостей.

Сэр Осборн порывисто сжал и встряхнул мою руку. Я еле смог скрыть свое удивление. Соловьев писал, что английский астроном — красивый старик, и я думал, что увижу величественного старца вроде нашего Менделеева. А передо мной стоял худощавый человек, чуть повыше среднего роста, с красивой серебряной шевелюрой, скорее похожий на артиста или музыканта. Сходство это усиливали беспокойные, порывистые движения длинных худых пальцев, отличавшихся удивительно изящной формой, и большие, глубоко посаженные серые глаза в темных тенях вокруг — глаза мечтателя и фанатика.

Артистическая внешность сэра Осборна еще ярче оттенялась сугубо деловым видом его спутника — высокого, смуглого, темноволосого человека, в котором, я, по описанию Соловьева, сразу угадал Мак-Кинли. Шотландец сухо поклонился мне и, знакомясь, отчеканил свое имя с очень недовольным видом. Я даже подумал, что он на меня за что-нибудь злится. Но такая уж у него была манера разговаривать, как я потом узнал.

Я перезнакомился с другими участниками экспедиции, и мы двинулись к машинам. От одежды Соловьева все еще исходил аромат тропиков, и я, вдохнув его, даже глаза закрыл: опять все пережитое воскресло. Ведь запахи вообще обладают особой силой воскрешать прошлое, а тут все было так недавно!

— Не грустите! Слышите, не надо! — весело приказал Соловьев, слегка встряхнув меня за плечи. — Подождите, у нас еще все впереди!

Я невольно улыбнулся. Нет, конечно, перед Соловьевым я просто мальчишка и нытик, падающий духом от каждой неудачи. Мы сели в машину, и я поспешно рассказал обо всем, что случилось за это время в Москве. Соловьев выслушал все с величайшим вниманием, а когда я сказал, где находилась на пластинке светящаяся точка, он ахнул.

— Ну, знаете! Это такое везение, на которое трудно было и рассчитывать! И вы, Александр Николаевич, вы, зная все это, встречаете меня с похоронным видом! Да как вам не стыдно, ей-богу!

Мне и в самом деле стало теперь стыдно. Но я все же сказал:

— Арсений Михайлович, да ведь светящаяся точка на карте такого масштаба — это указание весьма приблизительное! Я знаю, что при вашей энергии вы сумеете добиться экспедиции в Анды, но ведь там придется все искать заново, в труднодоступной местности, в горах... Не лучше ли было бы еще поискать в Гималаях?

У Соловьева вырвался взглас досады. Но ответил он мягко:

— Ваши рассуждения, конечно, имеют рациональное зерно. Но вы издалека, видимо, не поняли, как сильно повлияла эта катастрофа на шерпов... да и не только на шерпов, конечно. Теперь ни от кого из них слова не добьешься, даже под страхом смерти. Один только Лакпа Чеди после долгих уговоров подтвердил, что храм стоял в ущелье долгие века, сказал еще, что монахи-служители при нем часто сменялись, потому что скоро умирали. Пищу и масло для светильни им доставляли из ближайшего селения. Всегда была одна семья, которая ведала этим; если в ней вымирали все мужчины, эти обязанности, по каким-то указаниям, передавались другой семье. Больше никто не смел приближаться к ущелью. И даже в избранной семье дорогу туда знали всегда только двое — тот, кто носил пищу, и его заранее назначенный преемник. Откуда знал дорогу Лакпа Чеди, я не понял. Вероятно, семья, в которой хранился талисман, пользовалась какими-то привилегиями. Но приближаться к ущелью и им было запрещено, как вы понимаете... И больше ничего ни мне, ни Мак-Кинли добиться не удалось. Все до полусмерти напуганы этим проклятым землетрясением, да и не удивительно... Нет, вы не думайте, мы, конечно, не бросим поисков там, но это все придется делать совсем другими методами и исподволь. Тут нам поможет один непальский журналист, житель Катманду. Он поедет через некоторое время в Соло-Кхумбу, будет жить там, писать книгу о шерпах. Это — не маскировка, а чистая правда. Он все равно собирался туда ехать. И он постепенно, осторожно разузнает все, что можно, о храме и о легенде. Ему легче, он там свой, хорошо знает язык шерпов, их обычаи и нравы. И то он предупредил, что будет соблюдать величайшую осторожность и чтоб мы не ждали новостей в ближайшее время — шерпы слишком напуганы. Очень толковый и хороший человек. Кстати, вы знаете, он хорошо помнит вас и Милфорда. Даже разговаривал с вами.

— О чем? Об истории гималайских гор? — взволнованно спросил я. — О землетрясениях? Это он предостерегал Милфорда?

Соловьев недоумевающе пожал плечами, и я вспомнил, что не говорил ему об этой встрече и о пророческих словах непальца.

— Любопытно! — отозвался Арсений Михайлович, выслушав мой рассказ. — В высшей степени. Жаль, что вы мне этого не сказали раньше. Ну, да мы с ним будем переписываться. Может быть, потому он и предложил свои услуги, что у него уже было какое-то личное отношение ко всему, что произошло?

Забегая вперед, я скажу, что непальским корреспондентом Соловьева стал действительно тот самый журналист, что провожал нас с Милфордом по улицам Катманду. Отвечая на вопросы Соловьева, он написал, что прекрасно помнит весь разговор, помнит и то, что Милфорд, при всем его блестящем остроумии и живости, произвел на него впечатление человека, находящегося в состоянии крайнего напряжения. Он вовсе не имел в виду предсказать Милфорду смерть, а просто предостерег его, зная, что горы требуют самообладания и твердости духа...

Машина остановилась у гостиницы. Мы высадили наших гостей и поехали дальше. Улицы были залиты золотым вечерним светом, и Соловьев с жадностью глядел по сторонам — видно, соскучился по Москве.

— А что касается Анд, — продолжал он, — то даже логически можно было заключить, что там тоже могли побывать небесные гости. Может быть, конечно, и в Гималаях опускался не один звездный корабль, а два или несколько, но теперь у нас нет даже приблизительных указаний, где искать. Так что разумней будет сейчас отправиться именно в Анды, не превращая, конечно, поисков в Гималаях. Вы согласны со мной? Нет, мне что-то не нравится ваше лицо! Почему такой унылый вид? Ведь у нас все еще впереди!

Мне опять стало стыдно. Я никогда не считал себя нытиком, а тут получилось так, что Соловьев все время чуть ли не силой заставляет меня верить в успех. А если б не он? Что же, я так и опустил бы руки, предал бы память погибших? Нет, конечно, я этого не сделал бы. Но что за дурацкий характер у меня! Чем лучше, тем хуже — так получается, что ли?

— Арсений Михайлович, я просто очень переволновался! сказал я. — Ведь вы ничего не знаете: тут общили о вашей гибели!

Соловьева мой рассказ удивил — он не мог себе представить, откуда могла идти такая передача, и сказал, что постарается узнать через англичан.

Мы поехали в обсерваторию — Соловьеву не терпелось взглянуть на фотографии вспышек и на снимок с пластинки, — потом я проводил его домой. По-моему, Арсений Михайлович — вообще идеал человека. Я уже не мальчишка и никогда не выбирал себе образцов среди живых людей, но если б я хотел быть на кого-нибудь хоть немного похожим, так это на него.

Но надо рассказать еще о таинственной передаче по радио. Точный, как автомат, Мак-Кинли все это быстро выяснил. Передача была из Лондона для русских слушателей. Но, конечно, она не была рассчитана на тех, кто, подобно мне и Маше, услышит только последнюю фразу. Погибшие англичане и их смелые спутники, о которых шла речь в передаче, — это были Анг и его отец, Милфорд и его предшественник, тот самый сагиб, с которым ходил к храму отец Анга! Англичане уже установили, кто он — это был (как ни странным покажется такое совпадение), тоже журналист, звали его Фредерик Старботл. Я потом получил, все через того же Мак-Кинли, точный текст этой передачи.

Глубокая скорбь, звучащая в голосе диктора, была совершенно искренней: статью эту читал по радио сам автор — близкий друг Старботла, знавший в свое время и Милфорда. Он долго ничего не знал о судьбе своего друга — тот как в воду канул. Беседуя с участниками готовящейся экспедиции, он услышал об европейце, погибшем в загадочном храме, написал в Катманду, связался в Англии с осведомленными людьми и установил, что, точно, его друг прошлой осенью приехал в столицу Непала из Дарджилинга и присоединился к экспе-

диции в качестве корреспондента. На этом следы обрывались, но журналист уже был уверен, зная характер Старботла, что это именно он, каким-то образом узнав о существовании храма, уговорил шерпа повести его туда. Да и где, при каких еще обстоятельствах мог опытный альпинист, уже не раз побывавший в Гималаях, исчезнуть так бесследно, что даже участники экспедиции не могли ничего сказать по этому поводу? Видимо, он сумел отбиться от экспедиции под каким-то вполне благовидным и убедительным предлогом, не вызвав никаких подозрений. Возможно, что он и вообще не шел с экспедицией, а только отправился из Катманду вместе с ней.

О Милфорде автор тоже говорил очень много хорошего, восхищался его талантом, острым и своеобразным умом, его блестящими корреспонденциями с Востока. Упоминал — очень сдержанно и туманно — о какой-то личной драме, вследствие которой Милфорд навсегда оставил Англию. Мне было и горько, и радостно читать эти взволнованные слова и я от всей души благодарю автора передачи, журналиста Ричарда Дарили. Если он прочтет эти строки, пусть знает, что я очень хотел бы встретиться с ним и рассказать ему о Милфорде. Я думаю, что об этом человеке надо написать; жизнь его и гибель — достойный материал для книги. И, конечно, лучше будет, если книгу эту напишет соотечественник Милфорда.

С приездом Соловьева сразу все изменилось. Ведь вот удивительно — приехал он после такой серьезной неудачи; казалось бы, его противники должны торжествовать, говорить, что и храма-то никакого никогда не было, что Соловьев-де — известный фантазер и тому подобное. А получилось совсем иначе. Конечно, всякие ехидные слова произносились; конечно, некоторые ученые мужи, встречаясь с Соловьевым, соболезнующе улыбались и ахали — мол, какие бывают все-таки удивительные явления в природе... вот хотя бы землетрясения... Но Соловьева это, в общем, довольно мало трогало. Он охотно и с совершенно серьезным видом выслушивал все эти лицемерные охи и вздохи, подтверждал, что да, бывают удивительные явления природы и добавлял, что он лично, видя искренний интерес, который уважаемый коллега проявляет к этому вопросу, советовал бы уважаемому коллеге совершить небольшую поездку в Гималаи — там настоящая сокровищница чудес. После этого он прибавлял несколько слов о поразительной красоте гималайской природы, горячо пожимал руку собеседнику и, посмеиваясь, устремлялся по своим бесконечным делам.

Вообще, надо признать, — Соловьев поступил в высшей степени мудро и дипломатично, привезя а Моксву англичан. Пылкая убежденность сэра Осборна сама по себе действовала заразительно — если не на столпов астрономической науки, то на простых смертных безусловно. К тому же на его фоне Соловьев казался действительно очень трезвым, рассудительным, даже чуть суховатым — человеком дела, а не мечтателем, каким его привыкло считать большинство коллег. Это был очень выгодный фон, и Соловьев не зря, отправляясь хлопотать по делам экспедиции, старался всюду, где можно, появляться вместе с англичанами. Над англичанами никто не решался подшучивать даже исподтишка. И не только потому, что они гости: действовала и мировая известность Осборна, и его романтическая внешность, и угрюмая солидность Мак-Кинли.

Так или иначе — но дела экспедиции устраивались очень быстро. Я говорю даже не о том, что Соловьеву вообще сравнительно легко удалось добиться разрешения организовать экспедицию в Анды — и наше, и английское правительство, и южно-американские страны проявили большую заинтересованность и желание помочь ученым. Но даже на тех стадиях, где так часто тормозятся вполне решенные, бесспорные дела — подбор кадров, финансирование, техническое оснащение экспедиции — даже на этих различных ступенях крутой хозяйственной лестницы все продвигалось удивительно гладко. То ли романтическая, необычайная цель экспедиции поражала воображение тех, от кого зависели наши дела, то ли действовала исключительная энергия Соловьева, то ли играло роль присутствие английских гостей (а вернее, действовало все вместе), — но только нам была открыта “зеленая улица”.

И, конечно, после такого быстрого продвижения дел в СССР, Осборну и Мак-Кинли было куда легче разговаривать со своей родиной. На Англию не могла не подействовать энергия и щедрость, проявленные руководителями нашей страны.

Экспедиция в Анды требовала, разумеется, куда более сложной и трудной подготовки, чем гималайская. Там экспедиция двигалась в строго определенное место по заранее разведанному маршруту; было, хотя бы в общих чертах, известно, с чем придется столкнуться и как надо будет действовать... А тут сплошная неизвестность: лишь самые приблизительные указания, в какой местности предстоит производить поиски; полное незнание этих диких и пустынных краев... К тому же никто из участников экспедиции (за исключением всезнающего Мак-Кинли) не знал ни испанского языка, на котором объясняется значительная часть населения Южной Америки, ни языков индейских племен, обитающих на этом мало исследованном континенте.

С этой экспедицией было вообще больше хлопот, хотя бы потому, что она отправлялась на долгий срок и участников здесь намечалось гораздо больше, чем в первой. Как-то само собой получилось, что Соловьев больше занимался общими организационными вопросами и подбором кадров, сэр Осборн осуществлял связь с Англией и вел необходимые переговоры, а неукошительный и всеведущий Мак-Кинли почти целиком взял на себя хлопоты по снаряжению экспедиции. Мы потом не раз выражали ему свое восхищение — так он был точен, (предусмотрителен, изобретателен, я оказал бы даже — остроумен, если б наш милейший Мак-Кинли не был начисто лишен чувства юмора и даже, кажется, способности улыбаться. Несомненно, надо быть своего рода гением, чтоб в таких сложных обстоятельствах, за такой короткий срок снарядить большую экспедицию и не сделать при этом ни единого просчета, даже в мелочах.

Впрочем, не надо думать, что каждый отвечал только за свой участок работы. Нет, скорее это был Совет трех. Все важнейшие вопросы обсуждались троим. Подготовка шла очень слаженно, Соловьев и англичане были вполне довольны друг другом.

Думаю, опять-таки, что нет смысла посвящать читателя во все сложности этой подготовки. Достаточно будет указать, что подготовка к экспедиции благодаря исключительной энергии и целеустремленности наших руководителей была успешно закончена в рекордные, почти фантастические сроки. Я думаю, читателям ясно, что торопливость эта оправдывалась тем, что мы направлялись в южное полушарие и должны были попасть туда в период года, который там соответствует нашему лету. Поэтому Соловьев, Осборн и Мак-Кинли и добились всеми силами, чтоб экспедиция смогла выехать не позже начала ноября.

И они этого добились. Мы очень весело и шумно провели в Москве первый день праздника, а на второй уже прощались с друзьями и родными на аэродроме: мы летели во Владивосток, чтоб оттуда морем отправиться к берегам Чили. Весь багаж экспедиции заранее был отправлен во Владивосток, и Мак-Кинли полетел туда немного раньше, чтоб самолично проследить за его прибытием и погрузкой на корабль.

Маша тоже ехала с нами. Ее включили в состав экспедиции как ботаника: в штате экспедиции были предусмотрены различные специалисты. Ведь мы собирались работать в совершенно незнакомых краях, чтоб искать неизвестные следы неведомых существ. Вполне понятно, что нам нужны были специалисты, которые могли хотя бы указать, что является нормой и что отклонением от нормы, и почему.

Что и говорить — можно было найти более опытного специалиста, чем Маша. Ведь ей было всего 24 года, и она не так давно окончила университет. Правда, известный опыт Маша уже накопила и именно в области высокогорной флоры — не случайно и я с ней познакомился в горах! А в дальнюю, трудную и опасную нашу экспедицию вряд ли пошел бы умудренный опытом, но зато отягченный годами и болезнями специалист. Мы набирали преимущественно молодежь — здоровую, крепкую, со спортивной закалкой и, по возможности, с альпинистскими навыками. В сущности, единственный, кто внушал нам опасения в этом смысле, был сэр Осборн. Мы решили, что в случае необходимости оставим его в каком-нибудь горном селении или просто в удобном базовом лагере.

Так что удивительно тут не то, что Машу включили в состав экспедиции, — тем более, что об этом позаботился лично сам Арсений Михайлович, — а то, что она вдруг сама изъявила желание поехать. Впрочем, и это не очень удивительно.

Произошло это после долгой ее беседы с Соловьевым. Я уходил в коридор звонить по телефону, бегал за папиросами, оставляя их вдвоем. Как я и ожидал, Соловьев произвел на Машу сильнейшее впечатление. Я понял это сразу, увидев, как Маша слушает его, чуть прикрывая глаза рукой (была у нее такая привычка в минуты волнения), как горят ее щеки. Я даже ощутил укол самолюбия. Ведь вот здесь, в этой комнате, я столько раз так горячо, с такой тоской просил ее поверить, быть по-настоящему вместе, а она только головой качала! А Соловьеву она верит, хоть он ее как будто бы и не убеждает особенно, просто рассказывает о провале гималайской экспедиции, о новых замыслах, о своих хлопотах, об английских друзьях... рассказывает с веселой, чуть насмешливой улыбкой, будто и не придавая особого значения тому, что говорит. Нет, решительно, никогда Маша не любила меня по-настоящему, — думал я тогда, — я ей все казался мальчишкой, которого надо воспитывать и держать в руках. И когда я вдруг резко свернул куда-то в сторону с намеченного ею пути — она пришла в отчаяние и не знала, как к этому отнестись. А пришел другой человек — опытный, зрелый — и ему она верит безоговорочно, с его слов легко воспринимает идеи, еще вчера казавшиеся ей пустыми бреднями. Вот уж типично женская манера восприятия, — со злостью говорил я себе, — субъективная, ненадежная, опирающаяся больше на эмоции, чем на интеллект!

Потом, постепенно я понял, что был неправ. Во-первых, разговор с Соловьевым послужил просто последним толчком. Замкнувшись в обиде и ожесточении, я не замечал, что Маша уже иначе относится ко всему, что происходит. Она говорила, что перемена в ней началась с того вечера, когда мы слушали загадочную передачу по радио и Бершадский пришел с пластинкой. Во-вторых, хоть Соловьев глубоко поразил ее воображение, но энтузиасткой нашего дела она не стала. Это-то я понял сразу.

— Все же, Шура, — говорила мне Маша, — я должна тебе честно сказать: хотя в тот вечер я как-то начала верить в реальность небесных гостей, мне и сейчас больше всего хотелось бы, чтоб все было по-прежнему.

— И сейчас ты этого хочешь? — опросил я, заранее угадывая ответ. — Неужели и сейчас, Маша?

— Да! — сказала она, прямо глядя мне в глаза. — Да! Можешь считать меня мещанкой, эгоисткой, трусихой. А я бы просто мечтала повернуть все назад. Вот снова апрель, но ты не едешь в Гималаи. Вот июль — мы едем вместе отдыхать. Вот сентябрь — ты поступаешь в аспирантуру. И все так хорошо...

Я видел, что Маша чуть не плачет. Но меня ее слова поразили настолько, что даже жалость к ней исчезла.

— Зачем же ты тогда собираешься ехать с экспедицией? спросил я.

— А затем, что я о тебе тревожусь, — мягко и печально ответила Маша. — Разве тебе это непонятно?

— Нет, непонятно, — я уже не сдерживался. — Непонятно, как это можно идти в такую изумительную, небывалую еще в истории человечества экспедицию и думать только о каких-то своих личных делах!

Маша круто повернулась и подошла к окну. Мне показалось, что она плачет. “Все-таки нельзя так резко говорить, — подумал я. — Ведь мы любим друг друга”. Хотя я уже не понимал, люблю ли я Машу и можно ли назвать настоящей любовью ее отношение ко мне. Я подошел к Маше и положил ей руку на плечо. Она резко отшатнулась.

— Ты ничего не понял! — со слезами в голосе сказала она. — Ничего не понял! Ты что думаешь — я тебе в няньки нанялась? Я ботаник, а не нянька, вот и все. И я все равно поеду с экспедицией, Соловьев мне обещал, так что это не твое дело!

Она сердито вытерла глаза платком и ушла, не прощаясь. Я вышел на балкон и растерянно посмотрел ей вслед. Она почти бежала по двору и казалась маленькой и тоненькой, как девочка, в своем сером спортивном костюме. Все-таки какая она странная! То веселая и насмешливая, то молчаливая и угрюмая; только что говорила со мной так, словно у нее за плечами уже долгая жизнь и накопилась усталость, и больше всего хочется покоя и уюта, а потом вдруг расплакалась, как обиженная школьница, и наговорила мне дерзостей, совсем по-детски.

Я попробовал поговорить с Соловьевым о Маше, но он был очень занят, да и просто не придал особого значения моим переживаниям.

— Поверьте мне, — вы напрасно об этом столько думаете, сказал он. — Я, конечно, вас понимаю, но все же... Не все ли равно, в конце концов, почему она хочет ехать с нами? Пользу она принесет, да и вам обоим будет все же поспокойней. Оставьте вы Машу в покое, не мучайте ее расспросами и, поверьте, все со временем уладится...

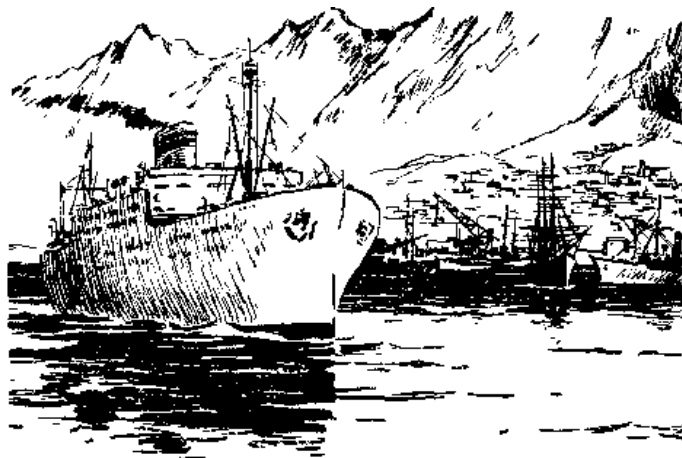
Мне больше ничего и не оставалось делать, как последовать совету Соловьева. Так и появился в составе нашей экспедиции еще один участник — ботаник Мария Сергеевна Батурина. Англичане называли ее — мисс Мэри, русские — кто по имени и отчеству, кто просто Машей.

И вот, наконец, мы покинули Москву и отправились в дальние края по следам Неведомого...





ЧАСТЬ III



ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

С самого начала путешествия вплоть до дня, когда произошла катастрофа, я вел довольно подробный путевой дневник — уж настолько-то я оставался журналистом! Поэтому, я думаю, правильно будет, если я обращусь к дневнику с некоторыми необходимыми комментариями. Для немногочисленных корреспонденции, появлявшихся в нашей прессе, я использовал ничтожно малую долю этих записей, так что повториться не рискую. Но я опушу почти все записи, сделанные на корабле, потому что прямого отношения к делу они не имеют.

Приведу, пожалуй, одну из них. Но тут тоже нужны некоторые комментарии. Дело в том, что, плывя к берегам Южной Америки, мы все усиленно изучали испанский язык. Надо же было научиться хоть немного разговаривать с местным населением! Изучали мы язык самым практическим образом — зазубривали каждый день по два десятка слов, а потом всеми силами старались изъясняться с Мак-Кинли и между собой. Хохоту было при этом!.. Так вот что я записал 18 ноября:

“Сегодня, как всегда, на палубе пытались разговаривать по-испански. Осборну быстро надоело коверкать испанские слова и он молча уселся в шезлонг. Я долго смотрел на него исподтишка: до чего он красив! Это не та здоровая мужественная красота, которой отличается Соловьев; скорее что-то женственное, излишне утонченное есть в романтическом облике англичанина. Я не представляю, как он будет ходить по горам, кажется, его унесет первым порывом горного ледяного ветра. Но зато время почти не имеет власти над сэром Осборном: кроме седых волос, нет никаких признаков старости в его облике — ни в юношески стройной фигуре, ни в лице с гладкой бледной кожей и четкими линиями. А глаза его совершенно необычайны они словно подсвечены изнутри каким-то негаснущим пламенем. Вот бывают же люди с такой поэтической внешностью!

А Мак-Кинли рядом с ним — как ворон Эдгара По... Он презрительно шурится, наблюдая за нашими жалкими потугами овладеть испанской речью. Говорить с ним трудно — ответит одним-двумя словами и сидит хмурясь. Сегодня он сказал, что вообще надо бы учить в первую очередь не испанский, а хотя бы *Lingua Geral*. Я уже знаю из книг, что это такое. Язык, созданный миссионерами. В Южной Америке масса индейских племен, изолированных друг от друга природными условиями, и, соответственно, уйма языков и наречий. Даже крохотный народец арикапо, насчитывающий всего 14 человек, имеет свой язык. Вот миссионеры, чтоб общаться с местным населением, взяли два наиболее распространенных наречия и из них слепили упрощенный язык, такое южноамериканское эсперанто. Это и есть *Lingua Geral*, “главный язык”. Он широко распространен среди местного населения, его понимают многие. Конечно, Мак-Кинли прав, надо бы в первую очередь учить этот язык, но кто будет нас учить? Его никто не знает. А досадно!

Все это я записываю, сидя в шезлонге на палубе. А тем временем Соловьев подсел к Осборну, и у них завязался очень оживленный разговор. О чем это они?

— ...Места всем хватит! — пылко говорит Осборн. — Мы еще далеко не использовали всех возможностей Земли. Циолковский подсчитал — на каждого человека приходится так много свободного пространства!

— Циолковский, однако, считает, — отвечает Соловьев, чуть приметно усмехаясь, — что это пространство нельзя практически использовать при современном состоянии человеческого общества. Нужно, чтоб все обитатели нашей планеты объединились для организованного выступления против стихий.

— Они объединятся! — убежденно восклицает Осборн. — Рано или поздно. Это ведь неизбежно. Правда, Арчибальд?

Мак-Кинли бормочет что-то в высшей степени неопределенное.

— Но даже и сейчас места на Земле хватит! — повторяет Осборн. — Ведь это событие обязательно объединит всех людей хоть на время.

Громадные серые глаза Осборна сияют мистическим огнем. Соловьев смотрит на него почти с нежностью. Наверное, Осборн у большинства вызывает именно это чувство, рожденное восхищением и тревогой. Даже суровый Мак-Кинли вряд ли только из деловых соображений опекает его, словно нянька...

За бортом равномерно и однообразно вздымаются зеленые пологие волны. Ни облачка на небе, ни клочка суши на горизонте. Вода и воздух, первозданные стихии, властвуют здесь безраздельно. Да, конечно, мало мы знаем о своей Земле! Тут и вправду могут быть ресурсы почти неисчерпаемые, особенно, если к нам придут существа, вооруженные более высоким опытом и уровнем познаний об окружающем мире. Да дело и не в уровне — ведь опыт никогда не совпадает полностью, даже у людей, живущих бок о бок. А у жителей других планет! Впрочем, это не мои собственные рассуждения; я сейчас все время — в атмосфере горячих споров и гипотез, может быть, фантастических, но в общем удивительно расширяющих кругозор.

Маша молчит и слушает. Она вообще стала очень молчаливой, я ее не узнаю. Со мной разговаривает тоже мало; вполне по-дружески, но холодно. А я прямо не знаю, как себя вести с ней. С Соловьевым советовать по этому поводу неудобно и даже просто смешно. Остается — ждать. Чего?"

Не надо думать, что все мои записи так пространны и, я бы сказал, статичны. Это — только во время плавания. Тогда писать было удобней, да и времени свободного хватало. А дальше пошли записи все более короткие, часто неразборчивые, сделанные на ходу непослушными руками, заочневшими от горного ветра, в кровь ободранными о скалы или о колючие кустарники пуны — андийской высокогорной области. Чем дальше, тем больше потребуется к ним комментариев. А все же обращаться к запискам придется — это живые свидетельства. Я сам после всего пережитого помню иногда меньше, чем мой дневник.

Итак — записи, сделанные на континенте.

"21 ноября. Наконец мы на берегу! Наш великолепный "Спутник" прибыл в Вальпараисо. Приятно будет заснуть в гостинице, на твердой земле. Впрочем, земля тут очень ненадежная землетрясения бывают чаще, чем в Гималаях, полным полно действующих вулканов. Мы все, конечно, не можем забыть о гималайском землетрясении и с опаской поглядываем на горы — не подшутят ли они над нами? Впрочем, из порта видны только Береговые Кордильеры — древние, мудрые, спокойные горы. А вулканы и землетрясения — это все проказы "молодых" Кордильер, той снежной зубчатой стены, которой мы любовались издалека, когда перед нами начали подниматься из волн берега Южной Америки. Эта громадная горная цепь, протянувшаяся через весь материк, за тысячелетия своего существования то уходила под воду, то снова поднималась. На ее вершинах Дарвин видел окаменевшие деревья: они выросли на горах, потом вместе с ними ушли под воду и покрылись толстым слоем осадочных пород, а лотом снова вознеслись высоко над океаном и стоят под солнцем юга, мертвые в своих каменных панцирях. В последний раз Анды поднялись из океана сравнительно недавно (недавно это, конечно, в представлении геологов) и теперь еще продолжают формироваться.

Надо признать, что небесным гостям просто удивительно не везло: они все время попадали в районы землетрясений и действующих вулканов. Что бы им отправиться в Альпы!

Вальпараисо — по-испански означает "райская долина". Но я не знаю, что райского увидели тут испанские конквистадоры, давшие имя этой бухте. Голые красно-бурые скалы, странный какой-то город, висящий, уступами на крутых склонах, прижатый к воде... Удивляюсь вкусу этих разбойников!

Вальпараисо — город необыкновенный. Береговые Кордильеры, обрываясь прямо в океан, спускаются громадными террасами к воде. На нижней узкой террасе расположен "деловой квартал". Он защищен только с юга, но и то хорошо, ведь именно оттуда рвутся страшные ветры "ревущих сороковых широт". Выше идут дома зажиточных горожан. А еще выше — лепятся, как попало, жалкие лачужки бедноты. Трущобы висят над богатым городом зрелище очень оригинальное. Подъем такой крутой, что для сообщения между террасами устроены подъемники — вроде тех фуникулеров, что у нас в Киеве и Тбилиси, только подъем еще круче и выше. Впрочем, ребяташки бегают по узким, почти отвесно опускающимся тропинкам, не боясь свернуть шею, — привычка!

Богатым не нравится, что беднота оказалась выше их, и они строят свои виллы совсем наверху, там, где кончается обрыв и тянется плоская возвышенность. Эта местность называется Альмендраль: тут когда-то отцы-иезуиты пытались выращивать миндальные деревья. Теперь богачи Вальпараисо наслаждаются здесь солнцем и прекрасным видом на снежные вершины. Это вроде загородных вилл.

Мы побывали на одной из таких вилл и как зачарованные глядели из окон хорошо обставленного домика на сверкающую снежную цепь. Это мало походит на Гималаи: там снежные пики словно вырастают из густой тропической зелени или высются над живописными лугами и лесами долины Катманду, а здесь пустота, безмолвие, голые мертвые плато Береговых гор, бесконечные каменные осыпи, а над ними — словно окровавленная, грозно пламенеющая в свете вечернего солнца громадная зубчатая стена, прикрытая сверху снегом. Зрелище величественное, но мрачное и даже угнетающее. Может быть, я просто начал бояться гор? Но нет, Соловьеву тоже было как-то не по себе. Да и все остальные молчали и задумчиво глядели на горы. Воздух тут удивительно прозрачный — горы кажутся совсем близкими.

В городе всюду высажены ломбардские тополя, эвкалипты, плакучие ивы — все "импортные" деревья (в Чили вообще, говорят, привозные растения и животные играют большую роль в жизни населения, чем местные) — вообще зелени много. Но все дело портят тучи пыли, несущиеся сверху, с Береговых Кордильер. Это — бич города.

Как только закончится выгрузка снаряжения и припасов, мы поедем в Сант-Яго, столицу Чили; надо лично представиться президенту и попросить помощи. Нам нужны мулы и носильщики; нужен проводник и переводчик — это все, конечно, можно организовать только на месте”.

Хочу добавить кое-что к дневнику.

В Вальпараисо живет довольно много англичан; с одним из них Мак-Кинли еще заранее связался через общих знакомых, и сэр Гриффитс встретил нас на пристани, как старых друзей. Это был пожилой, тучный, краснолицый джентльмен, похожий на героев Диккенса; он оказался довольно словоохотливым и, во всяком случае, считал своим долгом рассказывать соотечественникам и их друзьям все, что знает об этой “проклятой стране”. Впрочем, бранился он больше для виду — живется ему в Чили неплохо. Он женат на местной уроженке, красивой черноглазой метиске; у них две взрослые дочери, весьма кокетливые девицы.

Чили — тоже страна удивительная. Хотя, я думаю, Козьма Прутков был прав, заметив:

“Во всех частях света имеются свои, даже иногда очень любопытные, другие части”. Все кажется необыкновенным, если мало ездешь и привыкаешь к какому-то определенному укладу жизни... А в Чили удивили меня две особенности. Во-первых, страна эта тянется узкой длинной полосой вдоль тихоокеанского побережья, и вся точно зажата между океаном и горами: даже в самых широких местах она не отходит от берега дальше, чем на 350 километров. А, во-вторых, большая часть этой длинной полосы необитаема: на юге свирепствуют ураганные ветры и непрерывно льют холодные дожди, а на севере раскинулась страшная огненная пустыня Атакама, где по несколько лет не бывает дождя. Девяносто процентов населения Чили живет в средней его части, на берегу и в долинах между гор.

Энергичные дочери Гриффитса охотно показывали нам местные достопримечательности, катали на подъемнике, водили в городской сад (довольно чахлый и унылый) и даже, расхрабившись, поднимались в верхний город, в лачуги портовой бедноты.

Ужасные ласточкины гнезда! Я их никогда не забуду. Лепятся они по обрыву в самых неожиданных местах; добро бы, порода была твердая и надежная, а то ведь Береговые Кордильеры все время дробятся, ползут, осыпаются, и всюду эти лачуги подперты жердями, камнями, бревнами — всем, что под руку попадет. Вообще это даже и не хижины, а какие-то балкончики с навесом или небольшие углубления в скале с пристроенной к ним верандой. Добираются сюда по опаснейшим тропинкам; во многие места я бы просто не решился идти, а тут все ходят как ни в чем не бывало. Грязь и бедность — ужасающие: дети в лохмотьях, истощенные, бледные; тут свирепствует туберкулез, и дело не столько в пыли, на которую так горько сетуют жители Вальпараисо, сколько в отвратительных условиях быта и в постоянном недоедании.

Это все — впечатления журналиста, не имеющие прямого отношения к нашей экспедиции. А дальше я постараюсь цитировать и комментировать более экономно.

Вечером того дня, когда мы прибыли в Вальпараисо, я сделал еще одну запись, которая имеет прямое отношение к делам экспедиции. Я сам тогда не понимал, насколько важное событие произошло.

“Слухи о нашей экспедиции неведомым образом (уж не через Гриффитса ли?) успели проникнуть в Вальпараисо. Только мы расположились в гостинице, как нас попросили зайти к Осборну в номер. Там мы увидели щеголевато одетого стройного смуглого человека лет тридцати с очень яркими и живыми глазами.

— Познакомьтесь, джентльмены, — сказал Осборн. — Это сеньор Луис Мендоса, он хочет участвовать в нашей экспедиции.

Луис Мендоса встал и учтиво поклонился.

— Я уже говорил, сеньоры, — он плавным и грациозным жестом указал на Осборна, — что я хотел бы присоединиться к вашей экспедиции. Мне кажется, что я могу быть вам полезен. Я знаю не только испанский язык, но и языки арауканов, аймара, кечуа и многие другие индейские наречия. Кроме того, я неплохо знаю горы и очевя вынослив. Я согласен на умеренную оплату.

Он говорил по-английски совершенно свободно, почти без акцента.

Осборн беспомощно смотрел на нас.

— Видите ли, сеньор Мендоса, — сказал Соловьев, — вы, вероятно, понимаете, что мы не имеем права вербовать местных жителей в экспедицию, не получив на то официального разрешения вашего президента. Мы должны сначала поехать в Сант-Яго...

Мендоса слушал, почтительно склонив голову.

— О, разумеется! — ответил он. — Разумеется, я понимаю! Но я могу вместе с вами поехать в Сант-Яго... нет, нет, сеньоры, поймите меня правильно: я еду сам по себе, у меня там свои дела... И я там дождусь разрешения. Вы согласны на это?

Тут вошел Мак-Кинли и с недоумением взглянул на Мендосу. Я шепотом объяснил ему, в чем дело; Мак-Кинли кивнул головой и закурил сигару, внимательно наблюдая за щеголеватым туземцем.

— А откуда вы узнали о нашей экспедиции? — довольно сухо спросил Соловьев, и я подумал, что осведомленность и настойчивость Мендосы в самом деле несколько подозрительны. — И почему вам так хочется участвовать в этом трудном походе?

Мендоса умоляюще поднял руку.

— О, мать божья! — вскричал он. — Я понимаю, что вам все это кажется несколько странным. Но я слышал от людей, знакомых с сеньором Гриффитсом, о том, что прибудет ваша экспедиция. И я был сегодня на



пристани, когда прибыл ваш корабль. Я слышал разговоры... о, в Вальпараисо все становится известным через несколько минут. Кто-нибудь из вас понимает испанский язык? — Мак-Кинли молча кивнул. — Тогда разрешите, сеньоры, маленький опыт... вы убедитесь!

Он вышел на балкон, перегнулся через перила и крикнул вниз что-то по-испански. Ему немедленно ответил целый хор голосов; люди перекрикивали друг друга. Мак-Кинли мрачно улыбнулся.

— Наш новый знакомый прав, — сказал он. — Все эти люди знают, что наша экспедиция идет в горы. Только насчет цели у них разногласия: одни считают, что мы будем искать сокровища инков, а другие утверждают, что мы хотим найти путь к неведомым богам...

— К неведомым богам? — взволнованно переспросил Осборн. Что это значит?

— О, здесь ходят всякие слухи, — успокаивающе сказал Мендоса. — Нельзя придавать им слишком большое значение.

Мы переглянулись. После недолгого молчания первым заговорил Мак-Кинли.

— Вот что, сеньор Мендоса, — решительно сказал он. — Вы сами понимаете, что нам нужно обсудить ваше предложение. Дайте ваш адрес, и мы сообщим вам решение завтра же.

Франтоватый Мендоса явно смутился, услышав это.

— О нет, сеньоры, не надо сообщать это... моим соседям. Я не хочу, чтоб они знали. Я сам позвоню вам завтра. Ах, послезавтра? В одиннадцать часов утра? Превосходно, сеньоры.

После его ухода мы долго совещались. Если рассуждать строго логически, то Мендоса для нас сущий клад. Найдем ли мы еще в Сант-Яго такого полиглота, да к тому же знающего горы? Но что-то в личности Мендосы внушает недоверие и даже опасения. И почему он так жаждет участвовать в нашей экспедиции? Мы говорили долго. Осборну Мендоса очень не понравился; Соловьеву он тоже внушал сомнения. Но Мак-Кинли, обычно такой подозрительный и желчный, считал, что Мендосу непременно нужно взять с собой. Повредить он нам вряд ли способен, да и какой смысл вредить нашей экспедиции, она ведь ничьих материальных интересов не затрагивает, а помочь, безусловно, может, тем более, если знает что-то о тайне, которую мы стремимся разгадать. В конце концов мы решили еще посоветоваться с Гриффитсом и попытаться что-нибудь узнать о Мендосе".

Запись через день:

"Гриффитс помог нам собрать сведения о Мендосе. В Вальпараисо он живет всего с полгода; прибыл откуда-то из горных местностей. Живет в квартале богачей (снимает комнату у вдовы разорившегося коммерсанта), однако постоянно знает с бедняками, с самой отчаянной портовой братией. Промышляет какими-то мелкими спекуляциями. Вообще, личность не очень понятная. Известно еще, что он — большой любитель женщин, и на этой почве у него уже были неприятности с мужьями, братьями и прочими покровителями красавиц Вальпараисо. Гриффитс не очень советует с ним связываться.

— Вы еще не знаете, какие тут жулики бывают! — говорил он. — Вежливые, воспитанные, а сами так и норовят в карман залезть.

Может быть, он и прав, но Мендосу жаль упускать. Скоро он позвонит Осборну, и тот пригласит его зайти и поговорить. Мак-Кинли рассчитывает вытянуть из Мендосы какие-нибудь признания. Иду к Осборну в номер".

В тот же день вечером я записал:

"Мак-Кинли здорово помучил Мендосу. Он сначала сказал, что экспедиция идет по очень важному делу и что мы должны быть полностью уверены в ее участниках. И добавил, что побуждения Мендосы нам неясны.

— Ну зачем, по-вашему, мы идем в горы? — спросил он Мендосу в упор. — И почему вас так интересует наша экспедиция?

Мендоса выпрямился и гордо, почти с угрозой, заявил:

— То, что мне известно, — мое дело. Почему я хочу идти с вами — тоже мое дело. Надеюсь, вы согласитесь со мной, сеньоры?

Но Мак-Кинли не так-то легко сбить с толку. Он невозмутимо процедил сквозь зубы:

— Ну, а то, что мы решили не брать вас с собой — это уже наше дело. Надеюсь, вы с этим согласитесь, сеньор Мендоса?

Мы все удивились и даже огорчились. Ведь Мак-Кинли больше всех настаивал на том, чтобы взять Мендосу в экспедицию. Но шотландец действовал решительно.

— Итак, сеньор Мендоса, просим извинить нас, — бодро говорил он, наступая на пораженного Мендосу, — но вы, конечно, понимаете, что мы очень заняты...

Вид у Мендосы был несчастный. Он, видимо, никак не ожидал, что дело так повернется.

— Вы не хотите...? — пролепетал он. — Нет, этого не может быть! Вы не понимаете, что делаете!

— Нет, мы очень хорошо понимаем, что делаем, — неумолимо возразил Мак-Кинли. — У нас достаточно своих тайн, чужие нас не интересуют. А если вам нужно попасть в горы, подождите другой экспедиции.

— Но такой экспедиции, наверное, больше не будет! — совершенно забывшись, крикнул Мендоса. Он задыхался, глаза его расширились. — Ну, хорошо, пусть будет так, как вы хотите! Пусть все пропадает!

Он отчаянно махнул рукой и бросился к двери. На пороге он обернулся, хотел что-то сказать, но опять резко повернулся и хлопнул дверью. Было слышно, как он бежал по лестнице.

Мы ошеломленно поглядели на Мак-Кинли. Тот, по своему обыкновению, мрачно усмехнулся.

— Этот щеголь недаром носит такую аристократическую фамилию, — сказал он. — В нем много испанской крови. Индейцы гораздо сдержанней.

— Но ведь он, пожалуй, действительно знает что-то интересное, — заметил Соловьев.

— Не сомневаюсь. Только надо, чтоб и мы это знали, хладнокровно ответил Мак-Кинли. — И он скажет. Он еще придет.



Действительно, не прошло и часа, как Мендоса появился снова. Он распахнул дверь и влетел в номер.

— Вот, сеньоры! Вот! — воскликнул он в исступлении, протягивая нам какой-то сверток. — Вот мои рекомендации!

— Ну-с, вы, кажется, забыли, что в дверь полагается стучать, — презрительно сказал Мак-Кинли. — И на что нам ваши рекомендации?

Мендоса яростно взглянул на него и что-то пробормотал по-испански. Потом он снова воскликнул, потрясая свертком: “Вот, вот сеньоры!”

Мы просмотрели рекомендации. Там были отзывы различного рода. Мендосу хвалил коммерсант, в конторе которого он работал; юрист, у которого он был чем-то вроде секретаре; инженер, на стройке у которого Мендоса тоже что-то делал (уж не помню, что). Нас, конечно, больше всего интересовали отзывы о его способностях переводчика и о горных походах. Были и такие — и очень лестные, надо сказать, — от начальников двух экспедиций (имя одного из них, геолога-англичанина, было хорошо известно Осборну).

— Вы убедились, сеньоры, что я честный человек! — гордо заявил Мендоса, уловив по нашим лицам, что рекомендации производят хорошее впечатление.

Мак-Кинли, однако, решил произвести еще одну атаку.

— А почему вы так много мест переменяли? Вам всего 29 лет!

— Человек имеет право искать счастье! — заявил Мендоса.

— Да, но смотря какими путями! — со значением сказал Мак-Кинли.

Мендоса так и вспыхнул.

— Что вы хотите этим сказать?

Мак-Кинли некоторое время хладнокровно и бесцеремонно разглядывал его. Потом сказал медленно и веско:

— Вот что я хочу сказать: вы слишком много знаете об экспедиции. И, больше того — эти сведения у вас добыты преступным путем. Посмейте-ка отрицать это!

Мендоса в ярости и отчаянии вскинул руки несколько театральным жестом. Хотя теперь я понимаю, что он был вполне искренен, аффектированные манеры просто были свойственны ему, как южанину.

— В не смеете оскорблять меня! — закричал он. — Преступления не было! Смерть — да! Тайна — да! Но никакого преступления! Я сам рисковал жизнью!

— Жизнью рискуют в очень разных случаях, — оскорбительным тоном заметил Мак-Кинли. — Виселица, например...

Мендоса задохнулся. Губы у него побелели. Нам стало его жалко.

— Послушайте, Арчибалд, — первым вмешался Осборн, — я думаю, если сеньор Мендоса знает что-то важное для нас, то он сам расскажет нам об этом, когда убедится, что наши цели чисты и благородны...

При этих словах Мак-Кинли презрительно хмыкнул.

— Но вы понимаете, сеньор Мендоса, — продолжал Осборн, что нам тоже очень трудно. Вы сами признались, что у вас есть какая-то тайна. А как же мы будем делить труд и опасности с человеком, который от нас скрывает какие-то нужные для нас сведения? Который почему-то не хочет нам помочь?

Мендоса несколько успокоился и выслушал все это, покорно опустив голову.

— Вы правы, сеньор! — ответил он с искренним отчаянием. Но я не могу... Я не отказываюсь вам помочь — о нет, вы никогда не пожалеете, если возьмете меня с собой! Поверьте, что я вам не врал. Но у меня есть своя тайна... своя цель...

Мак-Кинли раздраженно фыркнул.

— Сеньор Мендоса, — сказал Соловьев, — нам надо посоветоваться.

Мендоса с достоинством поклонился и вышел. Мак-Кинли посмотрел, не стоит ли он за дверью (мне это показалось излишним), и сейчас же сказал, что думать нечего — “этого пройдоху” надо брать с собой, но смотреть за ним придется в оба. Да никто, по-моему, и не собирался всерьез отказываться от помощи Мендосы. И не все мы считали его жуликом. Мне лично он даже нравится. Или вернее будет сказать, он возбудил во мне участие, даже жалость. Какой-то он ушибленный жизнью, а в общем, по-моему, неплохой человек.

Мы пригласили Мендосу в номер и сообщили ему о нашем решении. Он так обрадовался! Как ребенок. Наверное, все же боялся, что его не примут. Нет, Мак-Кинли слишком уж подозрителен. Это не мошенник. Но все-таки — что ему нужно в горах?

Идя к себе в номер, я встретил Машу. Она поздоровалась и хотела пройти мимо, но я рассказал ей о Мендосе. Она выслушала, вежливо заметила, что все это очень интересно, и ушла. Я стоял в коридоре, глядя ей вслед. Вообще не знаю, как мне вести себя с Машей. У нее появились новые друзья — врач Костя Лисовский, франтоватый, красивый парень, моих примерно лет, и зоолог Петя Веневцев, мрачный, очкастый и лохматый. Они все время вместе, и их в шутку называют “факультетом естествознания”. Костя, кажется, ухаживает за ней. Не то, чтоб я ревновал, но ведь все знают о наших отношениях... Лучше бы она в Москве оставалась...”

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

“26 ноября. Вот мы и в Сант-Яго. Настоящая-то райская долина, оказывается, здесь! Везде — масса зелени и цветов. И все это залито ослепительным светом, фантастически ярким, праздничным, ликующим. Праздник света — первое, что приходит в голову.

Эта долина между гор, замкнутая высокими хребтами, немного похожа на Катманду, особенно, если смотреть на восток, где высятся сверкающие вершины главной цепи. Но сходство слишком общее — и горы здесь выглядят из-за прозрачного воздуха иначе, как-то ближе и яснее, и долина более плоская, и зелени на ней (если не считать самого города) меньше, чем в Непале. В сущности, Анды ниже, чем Гималаи: самая высокая их вершина, Аконкагуа, чуть повыше 7000, и до гималайских гигантов ей далеко. Но зато и плоская равнина, в которой расположен Сант-Яго, лежит очень низко: местами она находится на уровне моря. И горы на востоке видны во всей мощи и красоте: гигантские холмы, сперва пологие и округлые, становятся все круче, обрывистее; за ними встают серые, синие, фиолетовые каменистые края, и, наконец, вверху, как зубцы громадной короны, сверкают вершины, одетые снегом. Граница вечных снегов здесь очень высока — она проходит на уровне 4000–5000 метров, в иных местах и выше. Ох, какие грозные и пустынные эти горы! И климат там, говорят, страшный. Я, должно быть, стал трусом: только и думаю об опасностях.

28 ноября. Наши дела движутся. Соловьев, Осборн и Мак-Кинли уже побывали у президента, добыли пропуск — этот документ должен обеспечить нам самое активное содействие всего чилийского населения. Очень трудно, говорит Соловьев, оказалось объяснить президенту, куда мы идем. Зачем — это он понял и заинтересовался, а куда — мы и сами толком не понимаем. Карта очень приблизительна и неточна. И вообще — ведь в конце концов это только предположение, что светящаяся точка указывает место высадки. А если нет? И главное — как это проверить, где искать? Точка указывает на очень пустынные и опасные места. Безлюдные скалистые горы, вечные снега и ледяные вихри — вот что ждет нас.

Возможно, мы окажемся на территории других стран — Аргентины, Перу, Боливии. С ними тоже отношения налажены, пропуска, в случае надобности, вышлют в Сант-Яго или мы их лично получим в столице той страны, куда попадем, как нам будет удобней. Впрочем, кажется, в горной пустыне границы не очень-то строго охраняются...

Уже наняты носильщики и проводник; багаж экспедиции перегружается на мулов — пока возможно, они будут тащить груз, а когда исчезнут тропы, тюки перекочуют на плечи людей. Носильщики — все индейцы, невысокие, но крепкие и стройные, очень смуглые люди с прямыми черными волосами и несколько монгольским типом лица. Они немного напоминают шерпов, но у них нет живости и веселой приветливости гималайских горцев. Да и говорить с ними трудно — английский язык им совсем незнаком, а испанским мы не владеем. Обещанной платой они довольны и предлагают за эти деньги отнести в горы не только груз, но и нас самих. Что ж, может, еще и придется воспользоваться этим любезным предложением — женщинам и сэру Осборну будет тяжело в горах!

29 ноября. Пишу на привале. Идти было пока нетрудно. Никто не устал. Впрочем, до настоящих гор мы еще не дошли. Воздух про. хладный, сухой, чистый, масса солнца. Мулы щиплют золотистую траву горных пастбищ, они разбрелись далеко по крутому склону. Собирают их очень просто: выводят мадрину (старую кобылу с колокольчиком на шее), и все мулы покорно идут на звук ее колокольчика.

Как будет дальше? Примерный маршрут мы выработали еще по дороге в Чили, потом уточняли в Вальпараисо и Сант-Яго. Наш проводник, молчаливый индеец с умным и мрачным лицом, местность знает, по-видимому, хорошо, ведет нас пока уверенно. Что будет дальше, посмотрим. Плохо то, что мы не можем даже приблизительно назвать или определить местность, куда хотим добраться. Мы показали Карлосу (так зовут проводника) точку на карте и спросили, найдет ли он это место. Карлос долго глядел на карту, потом пожал плечами и сказал “Quien sabe?” (это означает по-испански “Кто знает?”) присловье это, как я уже заметил, здесь любят повторять). Мендоса глядел на карту с каким-то странным выражением лица и, видимо, очень волновался, даже переводил рассеянно и сбивчиво. Мак-Кинли сделал ему замечание (он ведь знает испанский язык, а Карлос говорил по-испански). Почему Мендоса так волнуется?

Вообще же настроение у всех хорошее. Сейчас двинемся дальше.

2 декабря. Мы устроили привал на небольшой площадке среди скалистых выступов. Мулов уже отправили обратно, тропа кончилась.

Груз тащат носильщики пока очень бодро и без жалоб. Мендоса уверяет, что только в горах они и чувствуют себя людьми — тут они хоть едят вволю.

Мы теперь вступили в область *tierra fría* (холодная земля). И этот переход уже дает себя знать. Сегодня с утра было тихо и ясно, а к полудню поднялась настоящая буря — в лицо бил ледяной дождь, густой белый туман окутал все кругом, и в этом тумане яростно выл ветер. Мы цеплялись друг за друга дорога и без того была нелегкой, а тут ноги скользят, ничего не видно. Карлос сказал, что в это время года дождь в парамос бывает очень редко, значит, нам просто повезло. (Парамос — это горные луга, по которым мы шли днем.) Выше начинается пуна — высокогорная пустыня. Там уже не надо и специального везенья — климат и без того жуткий. Ее называют здесь *puna brava* — злая пуна. Уж там-то нам достанется как следует!



Когда туман рассеялся и ветер утих, мы, совершенно намучившись, остановились отдохнуть. У многих появились первые признаки горной болезни. Носильщики наломали смолистых веток адесмии — это основной вид топлива в здешних горах, — разожгли костры, и мы расположились отдыхать и просушиваться. Через некоторое время к нам приблизилось стадо овец. Два пастуха-индейца подсели к нашему костру. Постепенно завязалась беседа. Индейцы поинтересовались, куда и зачем мы идем. Мендоса вопросительно взглянул на нас; Соловьев посоветовал ему говорить правду. Пастухи выслушали его объяснения с важным видом, полузакрыв свои узкие, немного раскосые глаза. Потом старший из них неторопливо заговорил, чуть покачиваясь. Мендоса начал



переводить, очень волнуясь. Да и все мы начали волноваться, услышав, о чем идет речь. Пастух рассказывал, что сюда в горы давно-давно прилетали Дети Солнца. Они прилетели на осколке солнца, и от их сияния люди слепли, а жар, исходивший от солнечного осколка, плавил скалы. И был великий грохот, и горы колебались в своих устоях. И Дети Солнца сошли на Землю. И они были подобны священным птицам — кондорам, и могущество их было безгранично. Этот рассказ такая же истина, как то, что солнце ходит по небу.

Надо ли говорить, что рассказ нас глубоко заинтересовал. Это ведь похоже на гималайскую легенду, но есть тут и новая деталь — упоминание о крылатых людях. Мы, конечно, начали расспрашивать пастуха, но он почти ничего не добавил. Да и видно по самому тону повествования, что это легенда, уже отточенная многократной устной передачей, принявшая каноническую, застывшую форму. Пастух только повторил, что это произошло здесь, поблизости, и неопределенно махнул рукой примерно в том направлении, которое было намечено нами.

Встреча эта прямо-таки наэлектризовала Осборна, да и всех нас приободрила — все-таки какое-то подтверждение того, что мы идем по правильному пути. Один Мендоса явно не разделяет общего восторга. Мне кажется, что он скорее встревожен и растерян, чем обрадован. Он сейчас сидит неподалеку от меня и сосредоточенно смотрит перед собой. Губы его шевелятся, точно он решает какую-то трудную задачу. О чем это он думает?

3 декабря. Здравствуй, злая пуна! Теперь мы с тобой лично познакомились. Знакомство не из приятных. Ледяной ветер буквально сбивает с ног, лицо сечет мелкий колющий снег. И уже одолевает многих горная болезнь, *soroche*, как ее тут называют. Сэра Осборна носильщики под конец дня несли на руках, но ему и сейчас плохо. Он лежит в палатке, у него тошнота, звон в ушах, почти обморочная слабость. Его надо срочно спустить вниз, а он горячо протестует — до предполагаемого места высадки марсиан уже недалеко. Что же делать? Плохо себя чувствуют еще двое — геолог и радист, но они держатся на ногах и уверяют, что быстро акклиматизируются. У меня тоже болит голова и идти стало очень трудно, дыхание плохо налаживается, но это скоро пройдет. На такой высоте я уже бывал в Гималаях; видно, еще сказывается физическая слабость после всех потрясений.

4 декабря. Поднялись еще выше. Погода по-прежнему отвратительная, мы ужасно мерзнем и устаем. Осборн лежит в маленькой индейской деревушке и до крайности расстроен, что не может участвовать в поисках. Но ему совсем плохо.

В деревушке мы расспрашивали всех стариков, что они слыхали о Детях Солнца. Старики отвечали неохотно и очень сбивчиво. Да, такая легенда существует, но было ли это здесь или в другом месте, они не знают. Карлос недоволен и говорит, что не понимает, куда следует идти. Соловьев и Мак-Кинли долго ему что-то растолковывали; не знаю, помогло ли это. Завтра двинемся дальше.

Местность тут мрачная, пустынная и безжизненная. Впереди, совсем близко, сверкают снежные вершины, а вокруг нас — голые темно-красные скалы, и почти никакой растительности, кроме искривленных кустов адесмии — индейцы ее называют “козлиный рог” — да пучков чахлой травы. Животных и птиц тоже не видно. Пониже — там все-таки есть жизнь: пробегают гуанако и викунии, грациозные и легкие, мелькает между камнями пушистый светло-серый зверек шиншилла, красивый мех которого считается ценным... А здесь — солнце, ветер и камни. Этого сколько угодно, больше, чем угодно. Я все-таки не понимаю: какая кому охота лететь с Марса или откуда-нибудь еще, чтоб очутиться в этой мертвой каменной пустыне? На Марсе, что бы там ни говорили, наверное, найдутся места получше. А уж на нашей планете — наверняка. Если они из-за воздуха — так

все равно, он и здесь для марсиан слишком плотный. Надо будет на досуге, как спустимся пониже, расспросить Арсения Михайловича.

Медленно проплывает в ярко-синем небе, распластав великолепные крылья, кондор, священная птица перуанцев. Неужели небесные гости были похожи на птиц? Соловьев предполагает, что у них могли быть летательные аппараты. Тогда им, конечно, было легче. Арсений Михайлович держится бодро, но по-моему тревожится. Да и как не тревожиться? Что мы найдем в этих мертвых горах?"

Походный блокнот мой истрепан, подмочен, записи в нем делались часто карандашом, к тому же руки немели от усталости и холода, и почерк мой оставлял желать много лучшего. Чем выше в горы, тем короче становятся записи.

Я перелистываю эти страницы, исчерченные дикими каракулями, и вспоминаю, вспоминаю. Какие трудные, невозможно трудные и все-таки интересные, яркие, неповторимые дни! Надежда и тревога, восторг и разочарование — все переживалось так сильно, с таким накалом, который недоступен нам в повседневной жизни.

Вот короткая восторженная запись. Прыгающие от холода строчки, полустертые следы карандаша, неожиданные сокращения: "Ура! Мы нашли! Все-таки мы нашли! Не напрасны все мучения! Подробно потом. Похоже на местность около проклятого храма. Тоже плоскогорье, тоже воронка и вокруг нее странные камни, только другие, похожие на стекло. Набрали их много, идем вниз, к Осборну. Соловьев и Мак-Кинли о чем-то спорят. Мы очень устали, и уже темнеет, но главное, что все не напрасно. Завтра мы вернемся сюда".

Тут, конечно, нужны комментарии. Впрочем, лучше я попробую на некоторое время оставить дневник и рассказать связно и подробно о том, что произошло в этот день и в последующие дни.

Это случилось в середине декабря. Мы так долго и безрезультатно лазили по горам, что уже начали терять энергию и веру. К тому же Мак-Кинли — как, впрочем, и все мы — тревожился за здоровье Осборна. Горная болезнь у него уже, собственно, прошла, — деревня, где он лежал, находилась на высоте 3000 метров, и он акклиматизировался, но что-то у него было не в порядке с печенью, а питание у нас все же было не идеальное для тех, кто нуждается в диете (хоть заботливый Мак-Кинли и набрал всяких концентратов для Осборна). Плохо чувствовали себя и некоторые другие наши товарищи. Мы старались ходить высоко в горы возможно меньшей группой, устраивали лагеря на разных высотах и оставляли там более слабых товарищей. Девушек мы старались с собой не брать, но Маша и молодая англичанка Этель Престон, сменная радистка, упорно ходили в самые трудные места и держались не хуже мужчин. Маша хорошо натренировалась на Кавказе и Памире, а Этель в Швейцарии. С ними ходил и зоолог Веневцев. А врач Костя Лисовский спасовал и больше отсиживался в лагере. Выше 4000 метров он ходить не мог — одолевала горная болезнь. Она ведь не у всех на одинаковой высоте начинается, и это даже не всегда зависит от тренировки. Хотя, конечно, тренировка очень много дает. Мне становилось худо только после 5000 метров, ну, а на такие высоты мы редко забирались. Светящаяся точка находилась вдалеке от высоких пиков, и мы не раз благодарили небесных гостей за то, что они не вздумали приземляться на вершине Аконкагуа или, к примеру, Иллумани. Что бы мы стали делать тогда!

День за днем проходил среди мрачных темно-красных и кровавых нагих скал. Местность была удручающей. О погоде и говорить не приходится. То и дело налетали страшные ледяные бури, чаще без снега. Буря в пуне — это ужасная штука. По лицу бьют острые мелкие камни — только и прикрывайся рукой, — ветер валит с ног и пронизывает насквозь, дышать трудно, и вообще поначалу кажется, что тут тебе и конец. Когда буря стихала, мы падали совершенно без сил. Носильщики, более выносливые и привычные, разводили костры все из той же адессии — право, кажется, она так вот специально для путников тут и растет! Карлос с нами почти не разговаривал. Он, должно быть, считал, что мы сумасшедшие — ходим по следам пастушьей старой сказки, — а, может быть, и просто не понимал, что мы ищем в пустынных горах.

Мендоса в те дни вел себя очень странно. Тогда мы были слишком заняты и замучены, чтоб обращать на него внимание, а сейчас, когда я вспоминаю о нем (это всегда почти воспоминания, освещенные огнем костра), то вижу какой-то странный, словно растерянный его взгляд и нетерпеливые движения гибких смуглых пальцев. Он, как и все мы, похудел, осунулся, зарос бородой и выглядел истым потомком конкистадоров.

Но в долине и в парамос мы еще беседовали и о цели экспедиции, и об удивительном прошлом этих краев, а вблизи вечных снегов говорить было трудно, и мы обменивались только самыми необходимыми словами. Говорят, горная болезнь портит характер (впрочем, это говорят и о полярной зимовке, и о голоде, и обо всех вообще трудностях). Не знаю, может, характеры наши в то время и вправду были особенно далеки от идеала, но на ссоры, по-видимому, просто энергии не хватало, — мы искали, искали, с фанатическим упорством пробирались все в новые места, такие же безмолвные, грозные и холодные. По вечерам, грея заколеченные руки у костра, мы молча мечтали о теплой постели, о чистом белье, о ванне. Как все это выносили Маша и Этель, я просто не могу понять! Им ведь было еще труднее...

И вот в один из таких бесконечно долгих, мучительных дней, спотыкаясь от усталости, под ледяным беспощадным ветром, мы вышли на широкое, довольно ровное плоскогорье, все засыпанное осколками выветрившихся пород. Тут мы сразу обратили внимание на большое круглое углубление, вроде воронки, и бросились к нему. Мы стали на краю этой круглой впадины; Соловьев долго разглядывал ее, потом нагнулся и поднял какой-то камень... Мне вдруг живо вспомнился Милфорд в последние часы своей жизни — вот он стоит там, в Гималаях, и так же внимательно разглядывает камень, оплавленный небесным огнем...

Не знаю, как угадала Маша, что творится со мной — ведь у нее эта впадина не могла вызвать никаких воспоминаний. И все же она вдруг подошла ко мне и ласковым движением положила мне руку на плечо. Я обернулся и увидел ее глаза, очень светлые и большие на исхудалом лице, потемневшем от солнца и ветра.

— Шура, — шепнула она, — Шура, не надо.

И я, на секунду забыв обо всем, почувствовал себя счастливым, — мы помирились! Я тогда понял, до чего тяжел мне был этот молчаливый разлад, вежливое отчуждение... Мы не сказали больше ни слова, только улыбнулись друг другу и пожали руки. Я помню, что ощутил мгновенный острый стыд за то, что давно не брит, что лицо у меня сожжено солнцем и морозом... Потом мы услышали восклицание Соловьева и подбежали к нему.

— Мак-Кинли, ведь это тектит! А песка тут нет! Вы понимаете, что это может означать?

Мак-Кинли кивнул. Я тоже знал, что тектиты попадают около некоторых кратеров, когда там есть песок. Тут были голые камни.

Мы поглядели на карманные дозиметры: радиоактивность воздуха здесь не превышала обычного уровня. Мак-Кинли нагнулся и поднял еще один странный камень. “Смотрите, да их тут масса!” — сказал он. Мы начали шарить по котловине; тут и в самом деле оказалось много таких камней или, вернее, прозрачных осколков, похожих на бутылочное стекло. Они были большей частью мелкие, неправильной формы; края их казались оплавленными. Но Маша увидела в глубине котловины прозрачный белый осколок величиной с небольшую тарелку, слегка вогнутый в центре. Этот осколок особенно заинтересовал наших ученых, и они спорили, пока Карлос не сказал, что скоро стемнеет и надо спускаться вниз, под укрытие скал. Мы начали спускаться, и в более спокойных местах Соловьев и Мак-Кинли продолжали перебрасываться репликами.

Но настоящий спор разгорелся утром, когда мы вернулись в индейскую деревню, где оставили Осборна. Староста этой деревни с почтением прочитал пропуск, подписанный президентом (думаю, что он больше усвоил, о чем там идет речь, со слов Мендосы, ибо испанский язык знал плохо) и после этого всячески помогал нам — отвел лучшую хижину и приказал своим дочерям ухаживать за Осборном. Впрочем, Осборн и сам по себе внушал им крайнее почтение, больше, чем все мы: Мак-Кинли индейцы, кажется, попросту побаивались, а Мендосу слушались беспрекословно; к Осборну же отношение было особое, вроде как к святому.

Но а этот вечер, я думаю, представление о святости Осборна сильно поколебалось у индейцев; да и мы не ожидали, что он может так горячиться. Даже в голосе его, таком мелодичном и мягком, появились резкие нотки, лицо пылало, он вскакивал, жестикулировал, кричал. Причиной были все те же стеклянные обломки. Суть спора была такова: Осборн с азартом уверял, что это — обломки космического корабля, Мак-Кинли ему поддакивал, а Соловьев считал, что это — давно известное кремниевое стекло — силикагласс, встречающееся в равных местах земного шара около больших метеоритных кратеров.

— Но позвольте, где же вы видели такие большие куски силикагласса? И в местности, где нет песка? — горячо протестовал Осборн. — И никогда, никогда не может метеоритное стекло иметь такую правильную вогнутую форму! Вы же видите! Этого нельзя не видеть!

Да, осколок действительно походил на часть какой-то цилиндрической вогнутой поверхности. “А что, если все-таки Осборн прав, — думал я, — и перед нами осколок потерпевшего крушение космического корабля?” Но, слушая возражения Соловьева, я начинал в этом сомневаться.

— Дорогой Осборн, послушайте, — мягко говорил Соловьев, я ведь сам не меньше вашего хотел бы, чтоб вы оказались правы. Но не мог же космический корабль разлететься, как дым! Почему от него остались только эти, очень однородные по виду осколки? Ведь в таком корабле все или почти все должно отличаться высокой прочностью, жароустойчивостью, словом, сопротивляемостью всех видов! Должны же были остаться хоть какие-то части приборов, переборки, двигателя! И, кстати, о двигателе — здесь ведь (к нашему счастью, замечу!) нет ни следа того ядерного топлива, которое находилось в Гималаях.

Тут я должен заметить, что все мы, отправляясь на поиски, брали с собой дозиметры, помня об опасности, угрожающей нам. У котловины их красные огоньки, сигнализирующие тревогу, не загорались, как и всюду, где мы побывали за это время.

— Ядерное горючее! — закричал Осборн. — Да почему вы думаете, что это были те же самые существа и в то же самое время? Это могла быть ракета без ядерного топлива!

— Это могло быть что угодно, тут я с вами согласен, сказал Соловьев. — Но, во-первых, мы прибыли сюда по предполагаемым указаниям именно тех существ, которые побывали на Гималаях и пользовались ядерным горючим. А, во-вторых, любая ракета все равно не могла исчезнуть бесследно. Воздух здесь сухой, разрушение должно идти медленней; местность безлюдная.

Словом, спорили долго, но обе стороны остались при своем мнении...

Утром мы опять говорили с местными жителями, показывали им осколки, описывали местность, где они найдены. Старики по-прежнему утверждали, что ничего они не видели, яркой звезды и грома не помнят. Да, нечто подобное происходило, как они слышали; только они думают, что это было в давние времена и не в их местах. А так высоко, где мы были, они не ходят, — там мертвая пустыня, и люди никогда не жили. Таких прозрачных камней они нигде не видали.

И вот, когда мы говорили с ними, Мак-Кинли пристально поглядел на одного молодого индейца, потом шепнул что-то Мендосе. Тот тоже поглядел на индейца и подошел к нему.

— Откуда у тебя эта вещь? — спросил он.

Смуглую шею индейца обвивало яркое ожерелье из цветных стеклянных бус. А в центре ожерелья находилась вещь действительно необычайная, особенно для этих мест, — правильно выточенное зубчатое колесико, размером с медный пятак. Но еще больше удивил всех нас яркий цвет этого колесика — оранжево-красный, словно пылающий.

Индеец, когда мы обратились к нему, страшно смутился, даже испугался. Он попытался, стараясь скрыться за спинами односельчан, и забормотал что-то. Мендоса успокаивающим тоном ответил ему; индеец несколько ободрился и быстро заговорил, указывая на горы.

— Он думал, вы обвиняете его в краже, — пояснил нам Мендоса. — Он говорит, что эту вещь его дядя нашел в горах, только не здесь, а где-то далеко, должно быть, в Перу.

— А где же дядя? — нетерпеливо спросил Осборн.

— Дядя умер. Дети его еще раньше умерли, и все досталось племяннику.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

На этом дело и кончилось. Мы предложили индейцу за таинственное украшение хороший складной нож; он охотно согласился на обмен. По-видимому, он ничего не знал ни о каких небесных гостях, и колесико ценил (только как украшение. Мы внимательно рассмотрели его. Оно было сделано из такого твердого материала, что алмаз не оставлял на нем ни малейшего следа; в темноте оно слабо светилось. Сразу, не дожидаясь анализов, можно было понять, что перед нами опять какая-то необычная пластмасса.

Осборн был в восторге, да и все мы торжествовали. Но, в сущности, это была еще одна бесполезная находка. К воронке наверху и к стеклянным осколкам она, очевидно, не имела ни малейшего отношения. И по-прежнему нельзя было понять, как это от всей махины космического корабля могли остаться только стекловидный осколки. Мы снова поднялись в горы, снова обшарили всю котловину и местность вокруг нее; нам попадались только те же прозрачные бесцветные осколки, и все они были гораздо мельче того, что нашла Маша. Мы ходили в другие места, методически, по квадратам, оглядывая мало-мальски пригодные для посадки плоского-рья и ущелья в районе светящейся точки.

В конце концов и Осборн согласился, что здесь больше нечего сидеть и надо вернуться в Сант-Яго. Но он никак не хотел признать, что экспедиция опять потерпела неудачу и уверял, что все пойдет на лад.

Я помню наш последний вечер в низкой хижине, освещенной только огнем очага. Всем нам было тогда очень грустно, но Осборн не хотел поддаваться этому настроению и все время оживленно разговаривал. Мне оживление Осборна казалось искусственным, но слушать его было приятно и интересно.

— Южная Америка — материк тайн, — говорил он с мечтательной улыбкой, — это в своем роде удивительный край. С шестнадцатого века до наших дней люди непрерывно ищут здесь следы каких-то загадочных племен, какие-то сказочные сокровища. От легенды об Эльдорадо, сводившей с ума конкистадоров, до нашей экспедиции — люди исходят, в сущности, из одного: страна мало исследована, тут все может быть. И правда — ведь Южная Америка даже на карты в значительной своей части нанесена приблизительно. Многие горные местности, в том числе здешняя и гигантский бассейн Амазонки, исследованы очень мало. Вот в Перуанских Андах недавно открыли — именно открыли! во второй половине XX века! — неизвестное дотоле племя низкорослых индейцев, живущих на высоте 3500–4000 метров. Они там возделывают кукурузу, разводят скот, — словом, совершенно жизнеспособное племя, вроде шерпов, только никто о нем раньше не слышал.

Мендоса, напряженно слушавший, сказал:

— Я уверен, что в горах есть и другие неизвестные племена. Тут ходят только через перевалы, а есть такие местности, куда европейцы и не заглядывали. И никто не знает, что там творится...

— Конечно, это так! — радостно подхватил Осборн. — Тем более, что и в местах, где были европейцы, все исследовано очень поверхностно и недостоверно. Много загадочного — в погибших культурах ацтеков, майя, инков. Каким образом эти царства достигли такого высокого развития среди окружающей первобытной дикости, при отсутствии сообщения с другими культурными народами? О, я уверен, если тут покопаться как следует, можно найти ключ к тайне Атлантиды я, возможно, к нашим поискам... Да и не только об этих предшественниках нашей цивилизации идет речь. Ведь так мало известно нам о современной Латинской Америке! Она заселена очень неровно, пятнами — это ареалы вокруг больших городов, на побережьях, а между ними — громадные пустоты. Даже дороги между заселенными местностями толком не проложены, потому что они экономически невыгодны, их постройка не окупится... А в бассейнах Амазонки, Ла-Платы и во многих горных местностях это вообще нельзя сделать. Железная дорога, по которой мы ехали в Сант-Яго, дальше пересекает главный хребет Анд; но она очень нужна Чили, и хоть стоила безумно дорого, все же вполне окупается. А в других местах...

— О сеньор Осборн, — снова вмешался Мендоса, — конечно, кто же будет строить эти дороги? Ведь на Амазонке живут очень дикие индейцы; зачем им дороги, они по рекам плавают. Или, вы думаете, этой вот деревне нужна дорога? Нет, им дорога не нужна. Сейчас они живут хоть бедно, но свободно; а если будет дорога, они станут рабами. Конечно, они этого не понимают, но...

— А вы очень цените свободу? — вдруг спросил Мак-Кинли, в упор глядя на Мендосу. — Я думал, вы больше интересуетесь деньгами!

— Деньги дают свободу! — торжественно и грустно возразил Мендоса. — Вот поэтому я люблю деньги. Но у меня мало денег и мало свободы...

— А сюда вы зачем пришли — тоже за... свободой? — настойчиво опросил Мак-Кинли.

Голос его звучал еще более резко и недружелюбно. Мендоса почувствовал это и поежился. Выручил его Осборн. Он не понял смысла этой короткой перепалки, потому что думал о своем.

— О, каждый ищет здесь то, о чем мечтает, — мягко сказал он. — Франсиско де Орельяна, Диего Альмагро и Гонсало Писарро в XVI веке искали золотого человека, El Dorado, и Священное озеро, дно которого покрыто золотом и драгоценностями. А в XX веке полковник Фосетт говорил, что поход Гонсало Писарро от Кито до Амазонки следует повторить. Вы знаете, как он говорил: “Искать придется примерно то же, ибо все время не прекращаются слухи, что во внутренних районах Южной Америки живет какое-то необыкновенное племя”. Отправляясь в свое последнее путешествие в 1925 году, он был совершенно уверен, что сделает колоссальной важности открытие, которое потрясет весь мир. Но Фосетт думал, что там, в глубине материка, есть ключ к тайне исчезнувшей Атлантиды. А мы можем думать иначе — ведь у нас есть свои гипотезы и аргументы!

— А что произошло с Фосеттом? — спросил я. — Он, кажется, был убит?

— Этого никто не знает! В том-то и дело! Наоборот, есть предположение, что он живет среди того необыкновенного племени, которое искал...

— Почему? Бегство от цивилизации? — опросил я.

— О, зачем же ему было бежать от цивилизации? — возразил Осборн. — Он хотел обогатить нашу цивилизацию, а не бежать от нее. Нет, я не думаю, чтоб он остался там по доброй воле... Мало ли что могло случиться... Он ведь был там с сыном и с другом... может, им угрожала опасность... Но так или иначе, а тайна осталась тайной. И вот теперь мы тоже идем по следам Неведомого...

— Я хочу задать один очень важный вопрос вам, сеньор Осборн, и всем вообще, — вдруг сказал Мендоса. — Вот я знаю, что вы ищете следы Детей Солнца, которые прилетели к нам с неба. А зачем они вам, эти гости с Солнца? Зачем вам их искать?

— Ну, на это так сразу не ответишь, — медленно проговорил Осборн, с любопытством глядя на очень возбужденного Мендосу.

— Нет, нет, я понимаю. Вы ищете их сокровища, да?

— В известной мере это так... — начал было Осборн.

— А! — со вздохом облегчения перебил его Мендоса. — Я так и думал! А то мне было многое непонятно. Поэтому вы и говорили, что ваша экспедиция — все равно, что искатели Эльдорадо!

— О, я этого вовсе не говорил! — сказал удивленный Осборн. — Я хотел только сказать, что Южная Америка и сейчас почти так же мало исследована, как во времена конкистадоров... А цели у нас, конечно, совсем другие.

— Какие же могут быть другие цели? — упрямо возразил Мендоса. — Ну, может быть, вы ищете не золото и не драгоценные камни, а секрет могущества! Но это ведь все равно: власть, богатство, свобода! А иначе зачем вам так мучиться?

Лицо его разгорелось, губы подергивались. Мы переглянулись, Мак-Кинли свирепо нахмурился и что-то пробормотал.

— Вы не понимаете, сеньор Мендоса, — ответил Осборн. — Мы не ищем ни богатства, ни власти. Мы работаем для того, чтобы принести пользу науке... человечеству... Человечество не станет счастливее оттого, что получит еще кучу золота или драгоценностей.

— А отчего оно станет счастливее? Отчего? — с жаром спросил Мендоса. — О нет, не надо говорить мне неправду! Человек есть человек, и он ищет счастья. Вы тоже люди и вы тоже ищете счастья. Ну, так тогда и я... — и вдруг он снова осекся и замолчал.

— Послушайте, ведь если все будут искать счастья только для себя, то все будут всегда несчастливы, — сказал я. — В одиночку нельзя добиться счастья.

Мендоса непонимающе поглядел на меня.

— А кто же мне будет помогать? Человек сам отвечает за себя. Если он упадет, другие не будут его поднимать.

— Нет, вы ошибаетесь, — возразил я. — Настоящее счастье это счастье для всех, достойных его!

— Общего счастья не может быть! — решительно заявил Мендоса. — Люди ведь такие разные: как вы будете знать, кому что нужно? О, я слышал о вашей стране, — понимающе добавил он, — но в Чили это невозможно, да и вообще в Южной Америке так нельзя жить. Тут другое небо, другой воздух, другие люди, уверяю вас! Если человек упал на равнине, ему все-таки можно помочь. А если он в горах катится в пропасть — что тогда делать? Руби веревку или сам пропадешь!

— Значит, вы никогда не ходили с настоящими альпинистами, — заметил я. — Так товарищи не поступают.

— Товарищи? О, я знаю, это ваше любимое слово! Но я ходил в горы. И со мной были настоящие альпинисты. Немец и швейцарец, Они были товарищи. Но, когда швейцарец стал падать, немец перерубил веревку и отполз от пропасти.

— Негодай! — воскликнул я.

— О да, он был негодай! — согласился Мендоса. — И он умер, как негодай. Он хотел убить меня, потому что я... Впрочем, об этом не надо говорить. Но я не знаю людей, которые смогли бы...

— Не перерезать веревку? — спросил я. — Вы думаете, что мы тоже поступили бы так, как немец?

— Вы только люди, — печально ответил Мендоса. — А люди боятся смерти и любят жизнь.

Я так подробно изложил этот разговор потому, что за ним сразу последовали интереснейшие события. На следующий же день Мендоса воочию увидел человека, который “не рубит веревку”. И этим человеком оказалась Маша.

Мы спускались вниз по трудным, почти нехоженным тропам. Веревками мы не связывались, потому что здесь все-таки было какое-то подобие дороги. Существовали даже мостики через особенно глубокие и опасные ущелья. Мостики эти были ничуть не лучше гималайских; только тут — за недостатком дерева, что ли — их делали из кожи. Как по ним проходили носильщики с тяжелым грузом, я совершенно не понимаю. Но они шли, как гималайские горцы, и так же тащили груз, укрепив его на повязке, протянутой через лоб. И мы шли по шатким мостикам, то узким скалистым карнизам, по каменистым осыпям, опускаясь все ниже, в долины, к жизни.



Мендоса хорошо знал горы, хоть и не был настоящим тренированным альпинистом. И то, что с ним произошло, было случайностью, как он и сам впоследствии говорил. Мы обходили круто изогнутый выступ горы по узкому каменному карнизу. Шли мы, конечно, гуськом, но особых мер предосторожности не принимали: ведь даже носильщики с грузом умудрились здесь пройти, а нам, с легкими рюкзаками, и вовсе нетрудно было. Мы с Машей шли друг за другом и довольно оживленно, хоть и отрывочно, переговаривались. Впереди Маши шел Мендоса. Он прислушался к нашему разговору, слегка повернул к нам голову. И вдруг он пошатнулся, какое-то мгновение балансировал на краю пропасти, пытаясь удержаться, но не смог и, взмахнув руками, без крика, полетел вниз. Перед ним шел Лисовский, но он уже обогнул выступ и скрылся из виду. Шедший за мной Петя Вeneвцев вскрикнул от ужаса: он видел, что произошло. Мы замерли.

Вдруг я увидел, что Маша осторожно ложится на тропу, держа в руках виток тонкой капроновой веревки. Она заглянула вниз, в глубокое узкое ущелье, лежа вдоль тропы.

— Маша, что ты делаешь! — в ужасе прошептал я.

— Он там, Шура, — тихо и спокойно сказала она. — Он зацепился за выступ — и, кажется, жив. — Она начала обвязываться веревкой. — Опускайте меня, ты и Петя. А, вот и Мак-Кинли! Втроемто вы нас удержите? Вот не знаю, хватит ли веревки. Ну, держите!

— Маша, пусти, я полезу, — сказал я.

— Я легче вас всех, — решительно возразила Маша. — А сил у меня меньше, чтоб тянуть веревку. Давай, давай, никогда раздумывать!

Мы все трое легли на тропу и начали спускать Машу. Веревку мы надвезали, теперь ее должно было хватить. За поворотом показался Соловьев. Он быстро оценил ситуацию и тоже лег на тропу, схватив конец веревки у Пети Вeneвцева. Трудность состояла в том, что карниз был очень узок, у нас не было упора, чтоб тянуть, не было, за что зацепиться. К счастью, между мной и Петей по краю тропы тянулся выступ, вроде невысокого барьерчика. Я осторожно, стараясь не раскачивать веревку, отполз чуть-чуть назад и уперся в этот барьерчик. Все мы лежали боком к пропасти, тянуть было неудобно, я боялся, что под двойной тяжестью — Маши и чилийца — просто перекачусь в пропасть и потяну за собой остальных. Внизу, в темноте ущелья, я видел, как Маша, еле держась на выступе, обвязывает Мендосу веревкой, потом подносит к его губам походную фляжку, — значит, он жив. Потом я почувствовал легкое подергивание веревки — пора поднимать.

— Ну, давайте, товарищи, — сказал я и, откинувшись всем телом к стене, начал тянуть.

Ох, это были трудные минуты! Веревка до крови врезалась в руки, тело неудержимо скользило к краю пропасти, я снова отчаянными усилиями откидывался к каменной стене, упирался ногами в барьер и тянул, тянул, перехватывая веревку. Наконец, голова Маши показалась над краем тропы. Мы еще потянули, затем я обвязался веревкой и помог Маше выбраться на тропу. Потом Маша тоже легла на карниз, и мы все стали тащить Мендосу. Он был привязан к Маше короткой веревкой. Она нарочно так сделала, решив, что вместе им не выбраться на тропу, а поодиночке будет легче. Но зато Мендосе больше досталось, пока мы их поднимали: он порядком расшибся о скалы и был почти без сознания.

Мы лежали некоторое время, переводя дух. Потом Маша пощупала пульс Мендосы и снова поднесла к его губам флягу. Он глотнул немного коньяку и открыл глаза.

— Сеньорита, да вознаградит вас бог, — прошептал он. — У вас сердце орла, и вы спасли меня.

— Просто я оказалась ближе всех к вам, — серьезно ответила Маша и села, морщась от боли. — Каждый из нас сделал бы то же самое. Вот я не знаю, сможете ли вы идти по тропе?

— О, тут несколько шагов, я проползу, — более твердым голосом сказал Мендоса. — Дальше будет большая площадка.

Мы поднялись и пошли, только Мендосу и Машу продолжали страховать веревкой. Мендоса шел довольно бодро, хоть основательно прихрамывал. Но, дойдя до лагеря, разбитого не遠далеке, за поворотом, он сразу ослабел и еле дополз до палатки.

— Ну, что с ним? — спросили мы Костю Лисовского, когда тот вылез из палатки.

— Ничего страшного. Ребро, как будто, сломано. В ноге, возможно, есть трещина в кости — я положил ее в лубок на всякий случай. Пока что дал ему снотворное — пусть до утра спит. И тебе, Маша, не мешало бы поспать. Давай-ка, я тебя перевяжу. Ух, и молодцы вы! На такой тропе двоих вытянуть!

— Да, джентльмены, — сказал Мак-Кинли, который все это время усердно счищал пыль со своей одежды, — все-таки напрасно мы не перерубили веревку. Он бы даже не удивился и не обиделся, как я понимаю.

“Действительно — какое совпадение! Надо же, чтоб на следующий же день после того разговора Мендосе пришлось пережить такое!” — подумал я.

Но события на этом не кончились. Утром Мендоса проснулся и выполз из палатки. Костя Лисовский, увидев его, замахал руками, показывая, чтоб он отправлялся обратно; но Мендоса уселся на солнышке и покачал головой — мол, не собирается он ложиться, не до того ему.

Я подошел к нему и сказал, что в его состоянии надо лежать, тем более, что предстоит еще нелегкий обратный путь. Мендоса ответил слабым голосом, стискивая зубы от боли:

— Поверьте, сеньор Алехандро, лежать я не могу. Моя совесть нечиста перед вами, и я хочу покаяться. Пусть бог мне простит!

— Да вы ложитесь, сеньор Мендоса, а я посижу возле вас, сказал я, смеясь; меня насмешило торжественное выражение исцарапанного лица Мендосы.

— Вы согласитесь называть меня по имени? — вдруг очень робко спросил Мендоса, поднимая на меня глаза.

Я почувствовал, что ему это почему-то важно, и сказал:

— Пожалуйста, сеньор Луис!

— Нет, просто Луис!

— Ну ладно! Тогда и вы зовите меня просто по имени, — ответил я; мне, признаться, все эти сеньоры и сэры порядком надоели за дорогу.

Мендоса обрадовался.

— Спасибо, Алехандро! — сказал он, схватил мою руку. Но тут же лицо его омрачилось. — Я только боюсь, что, узнав все, вы лишите меня своего доверия... Но все равно, я уже решил. Алехандро, прошу вас, позовите сюда ваших руководителей — я должен сказать нечто важное.

Я удивленно посмотрел на него, но он только кивнул головой и, устало закрыв глаза, прислонился к обломку скалы.

— Может быть, потом... — начал я.

— Нет, нет, Алехандро, дело срочное, я и так слишком долго молчал!

В голосе его звучала такая убежденность, что я, немного подумав, решил идти. В эту минуту Мендоса открыл глаза.

— Алехандро... сеньорита Мария — ваша невеста? О да, я знал это. У вас все девушки такие смелые?

— Все! — решительно заявил я, не зная, что ответить. Разве я знал до вчерашнего дня, что Маша способна на это? Ведь в Москве я ее чуть ли не трусихой считал...

Я привел Осборна, Соловьева и Мак-Кинли, и мы уселись около Мендосы. Мендоса оглядел нас всех, глубоко вздохнул и вдруг протянул нам что-то на раскрытой ладони.

Мы все дружно ахнули. Это была новая пластинка!

Мендоса молчал, печально улыбаясь. Осборн дрожащими руками бережно взял пластинку, и мы начали рассматривать.

Она была такая же серебристо-серая, как талисман Анга и по размеру тоже соответствовала ему. Только на ней не было ни схемы солнечной системы, ни географической карты; с обеих сторон ее покрывали мельчайшие значки, идущие сплошными рядами, без интервалов, — странные значки, похожие на отпечатки птичьих лапок (только по сравнению с такими птицами и колибри должна была казаться гигантом). Осборн в молитвенном экстазе смотрел на пластинку, и губы его беззвучно шевелились. Первым заговорил Мак-Кинли, как всегда резко и насмешливо:

— Ну-с, — сказал он, опять садясь на камень, — мы слушаем вас, сеньор Мендоса. Итак, откуда же у вас появилась эта интересная вещица? Семейная драгоценность, не так ли? Материнское благословение?

Губы Мендосы дрогнули.

— Я знаю, — тихо сказал он, опустив глаза, — что вы вправе мне не доверять. Ведь я шел с вами и молчал! Но после того, как вы спасли мне жизнь...

— Да полно вам об этом! — грубовато, но уже добродушней перебил его шотландец. — Выкладывайте, как это к вам попало.

— Помните, я рассказывал о швейцарце и немце? Так вот, это они нашли. Я там с ними не был и ждал их внизу, но место знаю, могу найти. Они взяли оттуда еще много всяких удивительных вещей. Но все погибло...

Мендоса замолчал.

— Да рассказывайте же! — подбодрил его Мак-Кинли. — Как могло все погибнуть?

— Сначала швейцарец упал. Немец не стал его спасать. Он хотел один владеть тайной. Меня он сначала не боялся — я делал вид, что ничего не понимаю и ничем не интересуюсь. Даже когда он перерезал веревку, я ничего не сказал. Но он подсмотрел, что я прячу эту пластинку... я ее нашел в рюкзаке швейцарца. Немец все оттуда взял, а этой пластинки не заметил. И когда он это увидел, то понял, что я тоже владею частицей тайны и тоже хочу стать богатым и могущественным. И тогда он замыслил убить меня. Когда мы шли по такой же узкой тропе, как вчера, он хотел столкнуть меня в пропасть... Но я угадал его замысел и быстро упал на тропу, а он, размахнувшись, потерял равновесие и с криком полетел в пропасть. Быстрая река унесла его труп, и у меня не

осталось ничего, кроме этой пластинки. Я надеялся, что в горы пойдет еще какая-нибудь экспедиция; я даже сам хотел снарядить экспедицию, но мне не везло: я никак не мог заработать достаточно денег!

— А вы ее показывали кому-нибудь, эту пластинку? — спросил Соловьев.

— Показывал? — с удивлением переспросил Мендоса. — О нет, конечно! Ведь это была моя тайна, моя надежда, моя мечта о свободе!

— Свобода — ведь это, по-вашему, деньги? Вы что же, думали — там сокровища лежат?

Мак-Кинли спросил это таким саркастическим тоном, что Мендоса нервно поежился.

— Конечно, я так думал, — упавшим голосом сказал он. Из-за чего же еще могут люди убивать друг друга?

— О, они всегда находили для этого достаточно причин! — меланхолически возразил Мак-Кинли.

— Но я думал, что они нашли сокровища... сокровища инков! Хотя я не видел ни у немца, ни у швейцарца никаких сокровищ. Я думал, что они взяли с собой только указания, как найти тайник...

— А что же вы видели у них? Пластинки или еще что-нибудь? — перебивая друг друга, спрашивали мы. Мендоса закрыл глаза, вспоминая.

— Были пластинки... — сказал он. — Разные пластинки желтые, серые, синеватые. Были еще разные вещи, очень яркие и красивые. Было что-то вроде рамки для портрета...

Соловьев вынул из бумажника цветные фотографии.

— Вот такая? — спросил он, протягивая Мендосе снимок голубой рамки из гималайского храма.

Мендоса всмотрелся с изумлением.

— Да, похоже, очень похоже! Только у немца она была зеленая.

— Так вот что, сеньор Мендоса, — сказал Мак-Кинли. — Вы, насколько я понимаю, хотите нас проводить в это место. А далеко оно? Покажите на карте, хоть примерно.

Мендоса долго изучал карту, потом уверенно ткнул пальцем в место к северу от Аконкагуа. Мы задумались. Идти далеко и трудно, Мендоса болен.

— Ну, что же, как это ни неприятно, джентльмены, но придется нам шока вернуться в Сант-Яго, — резюмировал Мак-Кинли.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Я уверен, что случай на тропе только ускорил признание. Мендоса и без того рано или поздно рассказал бы нам все. Недаром он так волновался все время, раздумывал — это ведь было заметно. Ему только трудно было поверить, что там, куда мы идем, нет золота, что наша тайна совсем другого рода. А, уверившись в этом, он заговорил бы. Теперь же получилось даже эффектней — а Мендоса, как истый южанин, любил эффекты.

Вообще он мне чем-то нравился, и я с ним очень много разговаривал на обратном пути в Сант-Яго. Маша подсмеивалась, будто я, мол, стараюсь перевоспитать Мендосу. Но уж если кто и мог бы перевоспитать этого упрямого парня, то, конечно, она сама. Мендоса и раньше на нее частенько поглядывал, а уж после того, как Маша его вытащила из пропасти, прямо-таки млел от счастья, увидев ее. Даже мечтательный Осборн заметил это.

— Видимо, нашему спутнику нравятся смелые женщины, — сказал он.

— Да, у него сердце болтается на конце веревки, — съязвил Мак-Кинли.

Но Мендоса ко всем нам относился теперь очень нежно, а ко мне особенно — из-за того, что я друг Маши, что ли... И мы подолгу беседовали.

Я объяснял ему, что тайна небесных гостей богатства не принесет, что сокровища инков тут не при чем; говорил о задачах нашей экспедиции. Мендоса вначале слушал хоть и с интересом, но недоверчиво. Тогда я рассказал ему, что произошло в Гималаях. Это его сразило. Он чуть не плакал, слушая мой рассказ, нетерпеливо переспрашивал, ахал от ужаса и сочувствия. После этого он долго думал и на следующем привале спросил:

— А почему же немец и швейцарец не заболели Черной Смертью?

— Не знаю; наверное, там не было ядерного горячего.

— А если все же оно там окажется? — с тревогой спросил Мендоса. — Матерь божья, а ведь я хотел идти туда без всякой защиты!

Я ему начал рассказывать о “Железной маске”. Он недоверчиво и сердито смотрел на меня, потом решительно сказал, что такого быть не может и что с моей стороны нехорошо шутить.

— Да это чистая правда! — смеясь, уверял я. — Вот, посмотрите фото!

Мендоса долго смотрел на фотографию и слушал мои объяснения. Все же он, видимо, поверил не до конца: потихоньку от меня спрашивал Соловьева, Машу и даже Мак-Кинли. Убедившись окончательно, он был потрясен. На следующем привале он спросил меня:

— Если у вас есть такие вещи, значит, вы богаты? Значит, вы идете не ради богатства? А ради чего же?

Я оказал, что ради науки. Мендоса нетерпеливо возразил:

— О да, наука, я понимаю! Не думайте, Алехандро, что я такой невежественный и ничем не интересуюсь, кроме денег! — Тут он помолчал и почти шепотом добавил: — Я ведь не всегда хотел денег! Но я хотел учиться, а мне не дали учиться. Я хотел стать адвокатом. Но не было денег, и я только два месяца ходил в уни-

верситет Сант-Яго... да, я там учился! А потом я встретил одну девушку... но это долго рассказывать... и опять все дело было в деньгах! И тогда я сказал себе: “Луис, только деньги дадут тебе свободу! Без денет ты — жалкий раб!” И я стал добиваться денег... нет, не для девушки, она уже вышла замуж, и я один на свете... Но я не об этом хотел... Так вот, Алехандро, о науке. Наука должна помогать людям, ведь так? Если б я был адвокатом, я мог бы защищать людей от несправедливых обвинений. Врач — лечит болезни. Инженер — строит дороги, мосты или управляет машинами. Они приносят пользу людям. А какая польза людям от того, что вы найдете следы этих небесных гостей? Они были и ушли, сейчас их нет. И зачем они нам? Люди между собой и так часто воюют; зачем же им еще пришельцы с неба?

— Луис, если люди узнают, что в пространстве, кроме них, обитают другие разумные существа, может быть, это и объединит их! — воскликнул я, повторяя слова Осборна.

Мендоса задумался.

— Может быть, так, — сказал он, покачивая головой, — а, может быть, и совсем не так. У людей многое рождает вражду. Вы ведь знаете, что было, когда европейцы открыли Америку и кинулись на нашу несчастную землю! Индейцы для них и они для индейцев были все равно, что люди с разных звезд. Разве от этого люди начали меньше враждовать между собой? О нет! Америка была залита кровью, а пришельцы спорили и дрались, и все делили и делили между собой землю, которую даже узнать не успели! Что им были индейцы, что им за дело было до наших сокровищ, до наших храмов и дворцов. Они все разрушили и разграбили!

— Луис, вы кем себя считаете — испанцем или индейцем? Ведь, судя по фамилии, вы — потомок завоевателей? — спросил я, пораженный горечью, которая звучала в его голосе.

— Я — чилиец, — ответил он. — У нас почти все метисы. И я ведь вовсе не осуждаю конквистадоров — о нет! Люди есть люди. И власть инков тоже была тяжелым ярмом. Мои предки с материнской стороны — арауканы — были свободолюбивы. Они были простые люди, охотники и рыболовы, они не хотели строить дворцов и храмов, не ценили золота. И они не пустили к себе ни инков, ни испанцев. Они долго боролись за то, чтоб жить так, как они хотят. Но и эта борьба кончилась так, как должна была кончиться: победил сильнейший!

— А сейчас арауканы существуют? — спросил я.

— Они живут в лесах за рекой Био-Био, — угрюмо ответил Мендоса. — Стоило ли столько сражаться, чтобы человечество в конце концов даже не знало, существует ли такой народ! Педро де Вальдивия пришел к ним с огнем и мечом. Они победили дикари победили опытного воина! — а слава досталась ему, побежденному захватчику!. Его именем назвали город на побережье, его статуя стоит в Сант-Яго... А наши арауканы, кто о них знает? Нет, нет, Алехандро, открытие новых миров тоже не принесет счастья людям!

— Не везде же обстоят дела так, как в Чили... — начал я.

— О, я был, не только в Чили! — перебил меня Мендоса. — Я знаю мир, я старше вас, Алехандро. Я понимаю — вы опять говорите о своей стране... Но в мире столько людей — и не все они согласятся жить в стране, устроенной так, как ваша...

Мендоса спорил, что и говорить, здорово! Но я, хоть и начал спор с такого шаткого аргумента (особенно неубедительного для Мендосы с его взглядами на жизнь), все же не хотел признать себя побежденным и долго пытался втолковать ему, как устроен мир и каковы его перспективы. Мендоса только скептически качал головой и заверял, что всякий человек хочет жить по-своему, что одного счастья для всех не придумаешь.

В доказательство того, что люди по-разному понимают счастье, он тут же привел пример.

— Вот в Сант-Яго один человек захотел изобразить на своем теле историю приключений Робинзона Крузо — это есть такой роман, вы, наверно, читали. Он сделал на теле 700 картин и для этого вытерпел 22 миллиона булавочных уколов! 22 миллиона, Алехандро, вы только подумайте!

Пример мне показался совершенно несуразным, и я спросил:

— Что же, это, по-вашему, и есть счастье?

— По-моему, нет, — резонно возразил Мендоса, — а вот он счастлив! Я с ним говорил: он так гордится тем, что сделал!

Затем Мендоса сказал, что он не хотел бы жить в такой стране, которую я описываю (“Хоть там, вероятно, и очень хорошо!” — вежливо прибавил он), ибо для него свобода — выше всего.

— А здесь вы свободны? — уже со злостью спросил я.

Мендоса неожиданно заявил:

— Здесь я могу добиваться свободы и счастья, потому что здесь много несчастных, а если в вашей стране все счастливы, то мне было бы стыдно чего-то добиваться. А это же еще хуже!

Мак-Кинли, в эту минуту подошедший к нам, захохотал. Я в первый раз слышал, чтоб он громко смеялся.

— Вы его не убедите! — сказал он. Когда он отошел от нас, Мендоса быстро спросил:

— Алехандро, как вы думаете, — это хороший человек?

— Он ведь тоже вместе со всеми вытаскивал вас из пропасти, — оказал я, чтоб уклониться от ответа.

— О, это не то! Вместе со всеми — да; ведь иначе ему было бы стыдно. Один — не думаю. Нет, нет, он не спустился бы в пропасть, как сеньорита Мария!

Мне совсем не хотелось обсуждать достоинства Мак-Кинли, и я сказал:

— Ну, я слишком мало знаю, Мак-Кинли, чтобы спорить с вами... А вы, Луис, хороший человек? — шутливо спросил я.

Мендоса произнес свое: “Quien sabe?” и серьезно задумался.

— Я не очень плохой человек, — словно оправдываясь, сказал он после паузы. — Это жизнь меня делает плохим.

Я хотел сказать, что это очень удобная теория, но промолчал.

Мы спускались все ниже, и местность становилась приветливой и красивой. Это была уже *tierra templada* — полоса умеренного климата. Тут бродили стада быков и овец, росли деревья, трава, цветы... И хоть с гор тянуло холодком, но яркое солнце и чистый воздух прибавляли нам сил. Мендоса тоже выздоравливал, но нога у него еще болела, и его тащили индейцы оригинальнейшим способом — на стуле, привязанном веревкой, протянутой через лоб носильщика (так путешествовали здесь миссионеры). У Мендосы вид был при этом довольно нелепый (тем более, что ногу его пришлось укрепить на специальной планочке, прибитой к стулу), и Маша, посмотрев на него, решительно отказалась путешествовать таким образом, хоть первый день ей было очень трудно идти.

Трава на холмах вокруг совершенно пожелтела — щедрое чилийское солнце успело ее выжечь, хотя здешнее лето лишь начиналось. Растительность и здесь оставалась довольно скудной, но все же это было не то, что вверху, где только и видишь колючие кактусы да скорченные, точно в судорогах, ветки адесмии. На той высоте, где мы видели котловину, исчезла даже тола — самый жизнестойкий кустарник Кордильер, рискующий подниматься в горы выше всех. Маша собирала там лишь редкие чахлые травинки, пучками торчащие кое-где среди камней, да еще — мхи и лишайники. Тут дело другое, тут жизнь! Маша, забыв о своих ушибах, так и сновала по лужайкам, собирая травы, цветы, листья. Она радовалась — такой коллекции все ботаники в Москве будут завидовать.

Леса тут не было, деревья росли группами или поодиночке, открывая широкие травянистые пространства. Мы видели чилийские пальмы с толстыми стволами (попадались экземпляры до двух метров в диаметре!), коричневое дерево с большими круглыми листьями, словно пожелтевшими от солнца, красивые араукарии с длинным прямым стволом и плоской широкой кроной. Кивнув на араукарии, Мендоса опять заговорил о том, что люди живут по-разному. Вот, например, в Южной Америке араукария, можно сказать, кормит бедняков: и ствол ее, и съедобные маслянистые шишки — все идет в ход. “А в вашей стране араукария не растет”, — сказал он.

— Зато у нас есть сибирский кедр, он не хуже, — ответил я. — Но знаете ли вы, Луис, что наш народ прямо-таки жить не может без картофеля? А ведь родина картофеля — как раз Южная Америка.

— Вот как! — пробормотал смущенный Мендоса.

Он так настойчиво возвращался к этой теме и говорил с такой горечью, что ясно было — это для него наболевший вопрос. Я время от времени подливал масла в огонь. После очередного выпада Мендосы насчет несходства вкусов у людей я показал ему на крытую соломой глинобитную хижину арендатора — инкилино, как их здесь называют. В этих жалких жилищах с земляным полом, похожих больше на сараи, люди живут тесно, невероятно грязно и впроголодь. А рядом — громадные поместья асьенды, прекрасно благоустроенные, с разветвленной оросительной системой; амбары для зерна, винные погреба, конюшни и коррали, окотные дворы и мастерские, навесы для сельскохозяйственных машин и силосные башни; виноградники и пастбища; и все это — на площади, которой мог бы позавидовать любой из наших колхозов. Одна такая асьенда — Рио-Колорадо близ Сант-Яго, занимает 160 тысяч гектаров; 375 поместий имеют площадь более 5000 гектаров. Мелких поместий тут мало; в чилийской долине 98 процентов площади принадлежит крупным помещикам, составляющим всего 3 процента населения. Я об этом читал еще на корабле, а теперь увидел воочию эти красивые усадьбы, обсаженные эвкалиптами и ломбардскими тополями, обставленные с большим комфортом и даже роскошью (мы побывали в одной из них), — и тут же, на этой земле, ряды хижин, мало похожих на человеческое жилье, в которых, тем не менее, живут люди поколения за поколениями.

Вот на эти социальные контрасты, не менее резкие, пожалуй, чем в Вальпараисо, я и указал Мендосе.

— Как вы думаете, Луис, эти несчастные инкилино живут вот так потому, что эта жизнь воплощает их представления о счастье? Вы не думаете, что им больше понравилось бы жить в усадьбе и что а этом их вкусы могли бы вполне совпасть?

Мендоса невесело усмехнулся.

— Не надо шутить, Алехандро! Инкилино живут очень плохо, очень!

— У нас в России тоже были крепостные, а теперь их нет, сказал я.

— Но инкилино — вовсе не рабы! — живо отозвался Мендоса. — В Чили нет рабства!

— А почему же они не уходят от хозяина, почему всю жизнь надрываются и голодают на том же месте? Почему они не ищут счастья — ведь они же люди?

— Им некуда идти, — сказал Мендоса, не реагируя на мою иронию. — В другой асьенде их не примут на работу, раз они ушли из одной: у хозяев круговая порука, да и своих рабочих хватает. Свободной земли в Чили нет. Идти в город? Некоторые так и делают, но ведь там тоже трудно найти работу. Инкилино все это знают, и редко кто пробует уходить. Да и привыкли они...

Он сидел, сгорбившись; скорбные складки легли вокруг его подвижного яркого рта. Мне стало жаль его.

— Луис, да что с вами? — спросил я, кладя ему руку на плечо. — Такой вы мрачный, что я думаю: не случилось ли какой беды?

Мендоса поднял голову и посмотрел мне в глаза.

— Да, Алехандро, беда со мной случилась! И я давно хотел поговорить с вами откровенно.

Я сел рядом с ним на плоский камень, под тень тополя. Перед нами тихо струилась вода канала. Неподалеку, на каменистых лугах, засеянных альфальфой (люцерной) бродило стадо коров.

Мендоса говорил путано, и я долго не мог сообразить, в чем дело. Потом понял. Эта пластинка с загадочными письменами долго казалась ему ключом от затерянной сокровищницы. Кому принадлежали сокровища — инкам или небесным гостям, не все ли равно? Инкских государей к тому же называли Детьми Солнца; поэтому, когда Мендоса слушал разговоры немца и швейцарца (да и наши вначале), он был убежден, что речь идет именно об инках, о тех загадочных сокровищах, которые так долго искали испанцы после завоевания Перу.

— Ведь они так и не нашли ничего — только то, что было в сокровищнице дворца и в храме! Они все время доискивались откуда же взялись эти груды золота, когда кругом ничего нет? Но так и не узнали! А ведь где-то они есть, эти сокровища инков? Кацик дал испанцам зато, чтоб они сохранили ему жизнь, золота, сколько они потребовали, — до черты, проведенной на стене. Но ведь не отдал же он последнее золото, не оставил же свое государство совершенно нищим, правда, Алехандро?

— Ну, допустим, — сказал я, хотя меня еще один вариант легенды об Эльдорадо мало интересовал. — Что ж из этого?

— То, что я хотел найти эти сокровища. И думал, что судьба дала мне в руки ключ от них! Я верил в золотой клад, как в счастье всей своей жизни! А теперь... а теперь вы говорите, что там нет золота, а есть Черная Смерть и... и все для науки! Но меня такая наука не интересует, я уже говорил! — и он в отчаянии закрыл лицо руками.

Признаться, в эту минуту я жалел не столько Мендосу, сколько себя и своих товарищей. Мне показалось, что вся эта сцена служит прелюдией к тому, что Мендоса откажется провожать нас в горы. Но оказалось, что я неверно понял его. Мендоса сейчас же добавил, что сам пойдет с нами и даже очень охотно: он рад помочь благодарным людям, спасшим его от смерти; и к тому же эта работа не хуже других — трудная, но зато хорошо оплачивается... Но все его мечты о счастье рухнули, и он думает, что ему на роду написано остаться бездомным бедняком.

— Да разве вы бедняк, Луис? — удивился я.

— А разве нет? — горячо воскликнул Мендоса. — О, конечно, я одет лучше, чем инкилино, я не пью грязную воду и не ем их ужасную похлебку — нашу знаменитую чилийскую касуэлу! Но у меня нет дома и нет никакой опоры. У меня в банке лежат гроши на случай болезни. И то, если я долго проболею, то денег этих не хватит. Вот как живет Луис Мендоса! И все потому, что не везет! — Он с азартом стукнул кулаком по колену. — Не везет, Алехандро!

— Но, по-моему, с экспедицией вам все же повезло, — сказал я. — Ведь если мы добьемся успеха, то о вас будет говорить вся страна — да что вся страна, весь мир узнает ваше имя!

— Почему? — недоверчиво спросил Мендоса.

— Да ведь это величайшее научное открытие, а вы помогли в таком деле!

Я, правду сказать, не был вполне уверен, что Мендоса заслуживает в этом деле мировой славы, но хотел приободрить его. Я рассказал ему для примера о судьбе Норки Тенсинга, скромного непальского горца, а теперь национального героя Индии. Этот рассказ поразил Мендосу.

— К вам будут ездить корреспонденты! Вы будете рассказывать им всю эту историю. Вы будете водить их в то место, где нашли пластинки!

— Туда они не пойдут, — задумчиво пробормотал Мендоса. Туда тяжело идти.

Но глаза его уже загорелись, он выпрямился и принял молодецкватый вид.

— А ведь это, наверное, правда! — сказал он. — Слава... что ж, это тоже может дать свободу!

После этого разговора Мендоса повеселел, на лице его часто появлялась мечтательная и счастливая улыбка. Когда мы добрались до Сант-Яго, он заявил, что совершенно здоров (и правда, ребро уже срослось, в ноге трещины не оказалось), и целыми днями водил нас с Машей по городу.

В Сант-Яго было уже лето. Мы обедались клубникой, фидами и вишнями, бродили по прекрасным тенистым улицам этого древнего города, заходили в его великолепные мрачные соборы и в старинные дома, построенные на староиспанский лад с мавританским оттенком: с внутренними двориками-патио, с фонтанчиками и зеленью. Поднимались мы и на знаменитый холм Санта-Лючия, где в XVI веке разбил свой военный лагерь Педро де Вальдивия, основатель Сант-Яго; теперь здесь поставлен ему памятник. Богатый чилиец Мартинес превратил этот холм в чудеснейший сад. Там густо разрослись деревья, благоухают цветы; на холм ведет удобная дорога. Мы сидели в ресторане на холме и восторгались, глядя сквозь густую зелень на алые в закатном свете снежные вершины, висающие словно совсем рядом в хрустальном воздухе.

— Сеньор Мартинес был, наверное, необыкновенный человек! — сказал Мендоса. — Он потратил такую массу денег и труда, чтоб сделать подарок городу и стране...

— Он был, наверное, счастлив, когда увидел, как хорошо получилось, — поддразнил я Мендосу. — А? Наверное, не менее счастлив, чем тот, кто изобразил на своем теле историю Робинзона Крузо?

— Конечно, я думаю, что он был счастлив, — сказал Мендоса. — А почему вы об этом говорите, Алехандро?

— Потому, что счастье люди и в самом деле понимают по-разному. Но тот, татуированный, хотел быть счастливым для себя. Ведь не станет же он ходить голым по улице и показывать свои семьсот картинок, да и кому от них польза вообще? А Мартинес сделал доброе дело и для жителей Сант-Яго, и для нас с вами. Вот мы

сидим тут и радуемся, видя эту красоту, и хоть сам он давно умер, а его вспоминают с благодарностью. Помоему, вот так надо понимать счастье.

— Как именно? — настороженно спросил Мендоса.

— А вот так, чтоб твое счастье было счастьем для людей. Иначе это будет свинство, а не счастье, — довольно резко пояснял я.

Мендоса долго думал, потягивая чилийское вино, кисловатое и душистое.

— Нет! — сказал он наконец. — Нет, Алехандро, я с вами не согласен. Это — счастье для великих людей. А что же делать простым людям? Они не могут осчастливить других. Разве из-за этого нужно отказываться от своего маленького счастья? Оно ведь так редко встречается в жизни! — И опять в его голосе прозвучала тоска и горечь.

— А если б вы были богаты, Луис, сделали бы вы что-нибудь такое, как Мартинес? — спросил я. — Что-нибудь большое?

— Если б я был богатым! Но я никогда еще не был богатым и не знаю, как чувствует себя человек, если у него много денег, — Мендоса мечтательно прищурился. — Но на большие дела нужен ум, фантазия, размах... А я — человек простой. Может быть, я просто жил бы в свое удовольствие, хорошо одевался бы, ел изысканные блюда, пил дорогие вина...

— А что же вы не упоминаете о женщинах, Луис? — несколько ехидно спросил я. Меня, признаться, злили взгляды, которые Мендоса бросал на Машу. В этот день мы гуляли вдвоем по городу, и Мендоса так много говорил о красоте “смелой русской сеньориты”, что Маша совсем растерялась. Она сказала, что ее ждет Этель, и ушла. Я потом заметил Мендосе, что у нас не принято так вести себя с женщиной, а тем более — в присутствии ее жениха.

— Разве у вас ревнуют? — натянуто усмехнулся Мендоса. — А мне казалось, что в вашей стране живут ангелы... Но, простите, Алехандро, я не хочу шутить. Конечно, я слишком открыто выражал свой восторг. Но ведь женщинам это приятно! А добиваться любви сеньориты Марии... вы же сами понимаете, я не смею! И поэтому я думал, что вы не обидитесь.

Он сказал это так, словно был уверен: если б не я, он бы добился ее любви! Меня эта самоуверенность, конечно, разозлила. Поэтому я и спросил его о женщинах.

Мендоса заговорщически подмигнул мне в ответ и рассмеялся.

— О, деньги дают все! — с простодушным восторгом сказал он. — И женщин, и друзей... все!

— Женщин — да. Любовь — нет. Дружбу — тоже нет, — сказал я.

— О, вы еще мальчик! — возразил Мендоса. — А, по-вашему, любовь и дружба возможны в грязной хижине инкилино или каменных норах бедняков Вальпараисо? Нет, нет, Алехандро, любовь — дорогая вещь.

— Согласен, только цена ей не в деньгах, — ответил я, и Мендоса покачал головой.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

В Сант-Яго нас ждали интересные новости. Нам сообщали из Москвы, что с пластинками дело обстоит сложнее, чем показалось сначала. На той же самой пластинке, где проступила карта с изображением Кордильер, возникло другое изображение. И опять не удалось до конца выяснить, при каких условиях это получается: пластинку, ввиду ее уникальности, испытывали очень осторожно, боясь причинить ей непоправимый вред — ведь материал-то, из которого она сделана, и его свойства нашим специалистам неизвестны!

Но так или иначе, а в каких-то особых условиях, эта пластинка, находясь в электромагнитном поле, раскрыла еще одну свою тайну: не удалось полностью выяснить, как это получалось, но на ней стали исчезать светящиеся контуры Кордильер и океанского побережья, а на их месте проступили контуры другой горной страны, уже не прилегающей к морю. Новая карта держалась недолго, но ее успели сфотографировать; географы установили, что это — непальские Гималаи. Светящаяся точка находится в Соло-Кхумбу, недалеко от ледопада Кхумбу.

Сначала меня (да и всех, кажется) это известие ошеломило. Неужели там было еще одно место высадки, а мы об этом не знали?

Но Соловьев, внимательно изучавший карту, сказал:

— Да ведь это и есть тот самый исчезнувший храм! Недалеко от ледопада! Это, кстати, показывает, до чего приблизительны карты наших гостей. Хотел бы я знать, для чего им понадобились эти карты с такими неточными сведениями? Мы на своей планете никак не можем разыскать по их картам, где они высадились. А они что же, рассчитывали найти друг друга? Впрочем, может быть, это примерное указание, куда они будут направлять свой путь? Если так, то плохи наши дела! Эти расчеты поневоле должны быть очень несовершенными.

— Почему? — заспорил Осборн; он обижался за небесных гостей так живо, будто они приходились ему ближайшими родственниками. — А, может быть, у них были возможности управлять космическим кораблем с абсолютной точностью?

— Тогда почему же они не указали на картах более точно места предполагаемой высадки? — спросил Соловьев. — Но не будем спорить — это бесполезно: мы слишком мало знаем, чтоб утверждать что-нибудь с

уверенностью. Давайте установим твердо только один факт, теперь уже несомненный, — светящиеся точки действительно означают места высадки, как мы и предполагали.

— Да, да, конечно, это же очень важно! — обрадовался Осборн. — Но как быть теперь с планом Мендосы? Ведь его тайник не обозначен на пластинке? Может быть, нам надо ждать в Сант-Яго, пока не расшифруют пластинку до конца? Ведь космических кораблей могло быть много! Может быть, засветится еще какая-нибудь точка?

— Да, и не исключена возможность, что эта точка засветится как раз в том месте, на которое указывал Мендоса! — возразил Соловьев. — А кто знает, когда удастся добиться нового успеха с пластинкой? С того вечера, когда проступило первое изображение, прошло больше трех месяцев. Мы не можем так долго бездействовать. Я предлагаю идти в горы по маршруту Мендосы.

На этот раз Мак-Кинли был согласен с Соловьевым. Я тоже ратовал за немедленное выступление. Я был уверен, что Мендоса не ошибается — ведь все данные говорили за это! Теперь возвращаюсь к дневнику:

“1 января. Вчера мы выпили коньяку: встречали Новый год высоко среди красных скал и каменных россыпей в горах. Мендоса ведет нас уверенно, но волнуется так, что жалко смотреть. Он исхудал, осунулся, запавшие глаза лихорадочно блестят.

— Луис, будьте поспокойнее! — уговариваю я его. — Вы же сами говорите, что дорога предстоит трудная... а в таком состоянии идти нельзя.

— Ничего, я выдержу! — сквозь зубы отвечает Мендоса. Впереди — счастье, Алехандро, счастье, впереди — все мои мечты и надежды!

Меня это лихорадочное возбуждение пугает. Ну а что, если мы там все-таки ничего не найдем? Для всех нас это будет еще одним ударом, но у нас останутся надежды, а Мендоса, как я понимаю, будет совершенно убит. Я всерьез опасаясь каких-нибудь отчаянных поступков с его стороны. На него вдобавок очень действуют воспоминания. Он показал мне место на узком каменном карнизе над рекой, где немец хотел его убить и сам свалился в пропасть. А на следующий день сказал:

“Вот тут упал швейцарец. Немец лежал на этом выступе и резал веревку. Какое у него было лицо, Алехандро! Холодное, как у дьявола, и губы мертвые, синие”.

Картина впечатляющая. Но губы у немца могли посинеть и от холода: тут все время дует пронизывающий ветер и вообще адски холодно, только что снега нет. Впрочем, снега вершин слепят глаза, точно они в двух шагах от нас, и мы носим темные очки. А как раз сейчас начал хлестать дождь с ледяной крупой. Надо прятать дневник. Проклятая пуна!

3 декабря. Осборну совсем плохо, его мучают головные боли и тяжелая одышка. Это опять горная болезнь. Все мы на ночь принимаем снотворное — иначе не заснешь от сердцебиения и удушья.

Осборн решительно отказывается спуститься вниз. Но и дальше двигаться он не может — даже если его будут тащить носильщики. Поэтому мы разбили лагерь на небольшой площадке, защищенной от ветра. С ним останутся почти все. Дальше пойдем вчетвером — Соловьев, Мак-Кинли, Мендоса и я. С нами четверо носильщиков и Карлос. Мендоса говорит, что осталось километра два, не больше. Но на такой высоте каждый шаг дается дорого. А нам придется подниматься еще выше, к вечным снегам.

4 декабря. Бредем цепочкой по снежной пустыне; кругом грозно торчат кровавые скалы. Уже очень высоко — 5800 метров. Каждый шаг делаешь с таким усилием, словно вытягиваешь ноги из глубокого сыпучего снега. Перед глазами плывут красные круги, сердце бьется где-то в глотке, и голова разламывается от боли.

В тот же день, вечером. Сегодня шли по красному снегу. Он был розовый, а следы от шагов наливались, будто кровью. Смотреть на это было неприятно. Но мы-то знаем, что это просто колонии микроорганизмов, а на индейцев кровавый снег произвел жуткое впечатление, и они решительно отказались идти дальше. Даже Карлос заколебался. Но он все-таки идет с нами. Неподалеку от границы красного снега мы оставили палатку, запас продуктов и снаряжения. Здесь останутся носильщики. Кто знает, в каком состоянии вернемся мы оттуда? Но сейчас мне все равно, я слишком устал.

Мендоса говорит, что дальше он сам не ходил, но дорогу знает точно. Завтра на рассвете двинемся к тайнику. Теперь уже совсем недалеко.

5 декабря. Мы снова у границы красного снега. Мендосе дали двойную порцию снотворного — он совсем плох. Нам немногим лучше.

Как все это ужасно! Не могу сейчас больше писать; нет сил”.

Дальше в дневнике есть более подробный рассказ о том, что случилось, но записи эти, тоже сделанные в горах, весьма отрывочны и невняты. Поэтому лучше я расскажу об этом не по дневнику.

Итак, мы впятером пошли дальше, постепенно поднимаясь все выше. Впрочем, подъем был не очень значительным. Да и путь относительно легкий. Только раз пришлось спуститься в довольно глубокую и широкую расщелину, а потом выбираться из нее по крутому обрыву. На небольшой высоте это было бы вовсе нетрудно для физически здорового и крепкого человека, а тут мы, выбравшись из расщелины, долго лежали без сил. Карлос налил нам из термоса по кружке горячего чая. Стало немного легче. Мендоса сел и начал оглядываться кругом.

— Теперь мы пойдем вон туда, за этот гребень, — сказал он.

Впереди торчал острый зазубренный гребень, нужно было перебраться через него. Сделав это, мы очутились в странном месте — словно сотни молящихся в белых плащах с остrokонечными капюшонами стояли на коленях, слегка склонив головы. Подойдя ближе, мы увидели, что это фигуры из снега, созданные причудливой

работой горного солнца и ветра. Верхние слои снега подтаивали языками, устремленные вниз, и вот получились такие странные фигуры. Местные жители называют их очень метко “снега кающихся” — действительно кажется, что снежные фигуры охвачены глубокой скорбью.



— Вот здесь, на северном склоне, должна быть пещера, задыхаясь от усталости и волнения, прошептал Мендоса, — там будет вырублен крест.

Мы начали подниматься по северному склону и вскоре увидели небольшое темное отверстие в скале. Над ним был вырублен косой крест.

Признаюсь, что на минуту нам стало страшно, несмотря на равнодушие и смертельную усталость, рожденные горной болезнью. “Железной маски” с нами, конечно не было, а кто его знает, что там, в пещере? Но, в конце концов, делать было нечего. Да и дозиметры предупредят об опасности, если только не будет слишком поздно.

Соловьев хотел идти первым, но мы все его удержали. Я стоял ближе всех к пещере и, не дожидаясь окончания спора о том, кому идти впереди, полез в темное отверстие. Там пришлось ползти на четвереньках. “Неужели небесные гости выбрали такое неудобное место для склада?” — думал я, когда белый луч фонарика выхватывал из тьмы низко нависающие над головой неровные своды.

Время от времени я направлял луч фонарика на дозиметр он бездействовал...

Я прополз метров пять-шесть и уткнулся в глухую каменную стену. Дальше пути не было. Сколько я ни светил фонариком, не увидел ни щели, ни какого-либо признака искусственной кладки. Я сел, согнувшись, и услышал прерывистое дыхание это подползал Соловьев.

— Поворачивайте назад, Арсений Михайлович! — крикнул я. В этой норе ничего нет.

Мой голос, усиленный каменной трубой, как резонатором, донесся до слуха Мендосы, стоявшего у входа.

— Как ничего нет! — отчаянно вскрикнул он. — Это та самая пещера! — Он тоже влез в нору. — Ищите лучше, этого не может быть! Они куда-то все запрятали!

— А может быть, они все унесли с собой? — спросил Соловьев.

— Нет, нет, я уверен, что нет! Они должны были вернуться сюда, потому и крест вырубили! — кричал Мендоса в возбуждении. — Ищите, бога ради, ищите!

Мы с Соловьевым, следуя друг за другом, обшарили каждую неровность стены и пола, проверили все углубления. Ничего не было! Мы молча вылезли из пещеры и сели в изнеможении. Мендоса дико поглядел на нас и, не сказав ни слова, уполз внутрь. Через некоторое время оттуда донесся не то протяжный стон, не то вой. Я полез туда. Мендоса в исступлении бился головой о каменные стены, кусал пальцы и выл. Я еле вытащил его из пещеры, усадил на выступ, заставил выпить коньяку. Он немного утих, но лицо его было искажено страданием, из прокушенной губы сочилась струйка крови. Мак-Кинли смотрел на него не то с презрением, не то с жалостью.

— Успокойтесь, Луис, — сказал я. — Мы найдем. Рано или поздно мы найдем.

Потом мы все легли у пещеры и не шевелились, пока холод не пробрал нас до костей. Мы нехотя встали; Карлос опять дал нам чаю: на больших высотах организм теряет много воды, и пить просто необходимо.

— Что ж, надо спускаться пониже, — сказал Соловьев. Здесь нам ночевать нельзя.

Мендоса вдруг вскочил, задыхаясь, и сейчас же опять упал лицом в снег. Я подошел и поднял его.

— Последняя надежда... — хрипло бормотал он. — Все исчезло, пресвятая дева, все погибло!

— Да ничего не погибло! — с досадой сказал я (это надо уметь — на такой высоте закатывать истерики!) — Наберитесь мужества, Луис, ведь вы же мужчина! Встаньте!

— Я не мужчина, я жалкий обломок, — горестно прошептал Мендоса. — Я останусь здесь... Последняя надежда... о боже мой! Клянусь, это та самая пещера...

Тут вмешался Мак-Кинли. Его эта сцена вывела из равновесия.

— Только попробуйте тут остаться! — грозно заявил он. — Я из вас лепешку сделаю! Немедленно вставайте и прекратите хныкать. Слушать тошно!

Мендосе, наверное, нужен был именно такой резкий толчок, а не ласковые уговоры. Он посмотрел на Мак-Кинли мутными глазами и, шатаясь, поднялся. Мы двинулись вниз.

Не пройдя и десятка шагов, Мендоса отчаянно вскрикнул.

— Черт его подери! — проворчал Мак-Кинли. — Опять начинается мелодрама!

Но Мендоса кричал от радости. Он шел за Соловьевым и вдруг заметил на рукаве его шерстяного свитера какую-то яркую точку. Он подбежал к Соловьеву и, схватив его за рукав, извлек из вязаных петель запутавшуюся в них странную вещь.

Очень легкая, почти невесомая, красивого розовато-сиреневого цвета, она походила на крошечную витую раковину. Из ее отверстия чуть заметно высывались два тончайших усика, похожих на паутину, но твердых и очень гибких. Сама вещь была исключительно упруга — она сминалась под легким нажимом и немедленно выпрямлялась, принимая прежнюю форму.

У Мендосы на глазах выступили слезы — не то от радости, не то от холодного ветра.

— Видите, — прохрипел он, — здесь все-таки были небесные гости! Это их следы! Это та самая пещера!

Должно быть, Мендосу, кроме крушения надежд, терзал еще и страх, что мы ему не поверим. Ему стало легче, когда он нашел эту загадочную раковинку.

Стоять долго на крутом склоне, под холодным ветром, было невозможно. Мы двинулись дальше. Да и так главное было уже ясно. Вещица эта, видимо, зацепилась своими усиками за свитер, когда Соловьев ползал в тесной норе. Конечно, она имеет прямое отношение к небесным гостям: это ясно и по ее виду, и по месту, где ее нашли, — кто еще мог оставить здесь, в этой ужасной поднебесной пустыне, такой необыкновенный прибор? Куда девалось остальное имущество небесных гостей из пещеры, мы, понятно, додуматься не могли. Каково назначение этого прибора, тоже выяснить пока было невозможно. Значит, оставалось идти, идти, задыхаясь, еле волоча ноги, назад, к людям, к жизни, к прекрасному, драгоценному земному воздуху, которого так не хватает здесь! И мы шли, молча, низко опустив головы, не зная, дойдем ли.

Только пройдя опять по окровавленному снегу, увидев вдалеке палатку и дымок костра, мы поняли, что остались на этот раз живы. Напившись горячего чая, мы поставили еще одну палатку, втиснулись в спальные мешки и уснули мертвым сном, даже горная болезнь не помешала.

Горькие раздумья начались утром. Итак, ради одной этой штучки неизвестного назначения мы мучились, рисковали жизнью? А тайна все равно не раскрыта. И вообще — откуда взялся тайник в пещере? Ведь поблизости не было видно ни одной площадки, достаточной для того, чтобы на нее опустился космический корабль — кругом только провалы, узкие острые гребни, крутые склоны, торчащие выступы... Кто же и с какой целью устроил этот тайник? Каким образом здесь оказались марсианские вещи? Кто и куда теперь их унес? И еще — как до них добрались немец и швейцарец? Откуда они узнали?

Вообще получалось как-то нелепо. Доказательств того, что в этих краях побывали марсиане, накопилось уже немало (даже если не считать сомнительных тектитов): зубчатое колесико индейца, пластинка Мендосы и, наконец, эта розовая раковинка. Но все они ничуть не приближали нас к раскрытию тайны. Если та котловина с тектитами в самом деле образовалась от приземления космического корабля, то почему около нее ничего нет, а все эти вещи разбросаны в разных местах? Неужели нам так и придется возвратиться домой с этими довольно сомнительными трофеями, о которых наши противники безусловно заявят, что они ничего не доказывают?

Мендоса так ослабел, что, пройдя утром шагов двести, упал без чувств. Мы с грехом пополам соорудили носилки, и индейцы потащили его. Он почти не приходил в себя. Наверное, как это бывает при очень сильных физических или душевных потрясениях, организм пытался уклониться от действия удара, выключая или ослабляя все функции.

В базовом лагере ахнули, увидев нас: мы были похожи на выходцев с того света — измученные, с обожженными лицами, с черными распухшими губами и ввалившимися глазами. Даже железный Мак-Кинли выглядел не лучше других.

Мы опять долго отсыпались. Костя Лисовский упорно возился с Мендосой и привел его в сознание, но Мендоса продолжал молча лежать в спальном мешке и только слабым движением век и губ показывал, что слышит, когда к нему обращаются.

У всей нашей четверки настроение было немногим лучше. Мы смертельно устали, обморозились; Соловьева бил кашель признак легочного заболевания, крайне опасного на таких высотах; Мак-Кинли в пути упал и расшиб руку, локоть у него сильно опух. Я отделался, пожалуй, легче других, хоть у меня тоже были ссадины и ушибы, и ноги я обморозил. Один Карлос наутро, отдохнув после тяжелого похода, вылез из спального мешка бодрый, как всегда; только лицо у него обожгло солнцем и ветром, и он усердно смазывал его жиром, перетопленным с какими-то горными травами.

Хотя бы из-за Соловьева и Осборна приходилось немедленно спускаться вниз. Да и что нам было здесь еще делать? Путь, указанный Мендосой, пройден до конца — и почти напрасно. Светящаяся точка на пластинке нас тоже обманула... Дело ясное — надо возвращаться пока в Сант-Яго, возвращаться, сознавая, что мы ничего не добились, потратив столько времени и сил!

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Не буду рассказывать, как мы добрались до Сант-Яго.

Там лето было в разгаре, все цвело и зеленело. А нам эта красота казалась чужой, неприятной, насмешливой. Теперь, собственно, оставалось только отдохнуть и убраться восвояси. Осборну и Соловьеву стало лучше, как только мы спустились с холодных высот, рука у Мак-Кинли тоже понемногу заживала. Вообще асе приходило в норму. Чего же медлить? Я записывал в дневник двенадцатого января:

“Мы официально признали свое поражение. Вчера по телеграфу запрашивали СССР и Англию, как поступать дальше. Утром пришел ответ из Англии. Смысл его таков, что Осборну и Мак-Кинли на месте виднее, как действовать, что если нет никаких надежд, то лучше, конечно, вернуться. Впрочем, добавляют, что если есть какие-то реальные планы, то можно дополнительно финансировать экспедицию. Думаю, что наше правительство ответит примерно в том же духе. Но какие же у нас теперь могут быть реальные планы? Обшарить все Анды? На это не хватит ни денег, ни сил; да что там, всей жизни нашей на это не хватит. Что же делать, как

быть? Даже Мак-Кинли приуныл и утратил свой надменный и насмешливый вид. Мне он таким больше нравится.

Мендоса начал подниматься с постели. Но он очень бледен и слаб, щеки ввалились, глава погасла; он выглядит, как тяжело больной.

Я знаю, что это прежде всего от горя, и стараюсь чаще разговаривать с ним, утешать его всячески. Но мне это плохо удается.

— Луис, вы же еще совсем молоды! — говорю я. — Вам еще повезет, вы будете счастливы!

Он вяло пожимает плечами и молчит.

— Вы бы оделись, пошли на воздух. Хотите, я достану машину? Покатаю вас? Тут есть друг Мак-Кинли, у него красивый “Мерседес”. Он предлагал нам... Луис, поедemте!..

Он беззвучно отвечает: “Спасибо, Алехандро, я не могу” и опять ложится. Он себя убивает этим молчаливым глубоким горем...”

Да, тяжело мне приходилось в те дни с Мендосой. Иногда я думал, что он душевно болен — уж очень странным и неестественным казалось мне это полнейшее равнодушие ко всему на свете у такого темпераментного и подвижного прежде человека. Только один раз в то время мелькнуло у него какое-то живое чувство:

— Алехандро, вы презираете меня? — спросил он неожиданно. — Вы думаете: я напрасно так страдаю из-за денег... или из-за славы, которая могла бы принести деньги? Это недостойно, думаете вы?

Я обрадовался этой внезапной вспышке живого чувства и горячо начал ему растолковывать: я его вовсе не презираю, а только очень жалею, и хотя сам, действительно, не мог бы убиваться по такой причине, но его понимаю и никак не осуждаю — он воспитан в других условиях. Все это Мендоса слушал довольно внимательно, хоть глав не открывал. Но когда я начал убеждать его не горевать так, — мол, есть в жизни более интересные и достойные занятия, чем личное обогащение, — он только слабо усмехнулся.

— Я так и знал, что вы это скажете, — прошептал он и снова надолго замолчал.

Я не знал, как с ним быть. Я к нему даже Машу привел, думал, может быть, она его выведет из этой нравственной летаргии. Узнав, что придет “сеньорита Мария”, Мендоса приоделся, причесался, сел в кресло, но радости никакой не выразил. Маша пришла, но разговор не клеился, Мендоса был вежлив, но вял, отвечал односложно и невпопад и упорно глядел в пол. Маша вскоре ушла и а передней шепнула мне: “Он, по-моему, немножко не в себе (она покрутила пальцем у лба), ты его психиатрам не показывал?” А когда я вернулся в комнату к Мендосе, он все так же тихо, но настойчиво попросил, чтоб я не приводил больше сеньориту Марию и никого вообще, даже врача не нужно.

— Врач не вылечит от той болезни, которой я болен, справедливо заметил он.

Все же он постепенно оживал. И первым признаком его выздоровления было то, что он начал читать, — постепенно все больше, почти запоем. Читал он все подряд — прозу, стихи, пьесы, отечественных авторов и зарубежных... Я как-то увидел у него на столике перед кроватью английский детектив и “Тихий Дон” Шолохова в переводе на испанский язык, — потом чилийский роман под названием “Женщине нужен мужчина” в пестрой обложке — рядом с пьесами Шекспира. Мендоса по-прежнему молчал и как будто не интересовался окружающим, но глаза у него стали живее.

Но с этим рассказом я забежал немного вперед. Вернусь к записям моего дневника:

“14 января. Из Москвы пришла загадочная телеграмма: “Ждите Сант-Яго пакета фотографий”. Это — от Бершадского. Вчера была длинная, очень заботливая правительственная телеграмма. Нам тоже предлагали продлить поиски, желали успехов, а впрочем советовали Соловьеву решить вопрос самостоятельно с учетом конкретных обстоятельств. Под конец было написано: “Не отчаивайтесь, в вас верят”. Соловьев, несмотря на свою выдержку, был так взволнован этой телеграммой, что даже заговорить сразу не смог. А потом сказал:

“Все-таки до чего обидно, что так у нас получается!” — и ушел.

И вот теперь — эта загадочная телеграмма. Соловьев телеграфировал Бершадскому и в Академию Наук: просил объяснить, что случилось, и о какой фотографии идет речь.

Впоследствии мы узнали, что Бершадский, получив радостное известие, был совершенно потрясен, кинулся на почту и сразу же дал телеграмму, не подумав, какое она впечатление произведет в таком виде и что из нее вообще можно понять.

Ответ пришел очень скоро. И наши сборы в обратный путь сразу же прекратились.

Судьба все-таки не до конца была к нам суровой!

В обеих ответных телеграммах сообщалось, что в лаборатории удалось вызвать на желтой пластинке и заснять еще одно изображение. Это — опять карта, опять Анды и опять со светящейся точкой. Но на этот раз карта более подробна, взят сравнительно небольшой участок горной страны, и место, на которое указывает точка, легче найти.

— Я же знал! — воскликнул Соловьев, прочтя это. — Я знал, что у них обязательно есть более подробная карта и более точные сведения о местах посадки!

На радостях мы отправились всей компанией на Санта-Лючию, весь вечер гуляли по ее чудесным аллеям, пили вино в ресторане, танцевали — словом, дали выход радости. Радость эта была тем более сильной, что никто уже не ожидал хороших известий, все сложили оружие, даже фанатик Осборн.

Мендоса с нами не отошел, но видно было, что новость его заинтересовала. Он спросил:

— И теперь вы снова пойдете в горы?

— Конечно, а как же иначе! — воскликнул я.

Мендоса хотел что-то сказать, но промолчал. Заговорил он позднее, когда экспедиция начала снаряжаться в путь.

Прибыла фотография. Светящаяся точка оказалась не так уж далеко от того места, где мы ее рассчитывали найти в первый раз. Таким образом, нам предстояло идти, по крайней мере вначале, по уже разведанному маршруту — это ускоряло и облегчало дело. Мы начали поспешно, с азартом собираться в путь. Когда приготовления были в самом разгаре, Мендоса сказал, что хочет задать мне один важный вопрос. Я порадовался тому, что у него снова появились важные вопросы, я заявил, что я — весь внимание.

Тогда Мендоса, не поднимая глаз, с большим усилием спросил, ищут ли наши руководители переводчика.

— А вы не хотите продолжать с нами путь? — спросил я в свою очередь, хотя понимал, почему Мендоса спрашивает об этом.

Переводчика мы действительно искали, считая, что Мендоса болен и пойти в горы не сможет. Но если он сам хочет... что ж, другого такого, как Мендоса, найти трудно. Да и вообще он уже считается своим человеком в экспедиции. Я всего этого Мендосе высказывать не стал, а подождал, что он ответит на мой вопрос. Мендоса начал говорить хоть и без прежнего жара, но с несомненным чувством. Он сказал, что не может простить себе того неудачного похода... хоть он как будто и не виноват, но все же заставил нас так мучиться попусту. Хорошо, что хоть эта раковина нашлась! А сеньор Мак-Кинли счел бы его мошенником.

— Нет, нет, Алехандро, я знаю. Вы — нет, а он считает, что Мендоса — плут. Но он жесток, он не любит людей.

— Да с чего вы взяли? — запротестовал я.

Действительно, Мак-Кинли обращался с ним зачастую очень резко и сурово, и пылкий Мендоса, конечно, не мог не страдать от этого. Я все же сказал ему, что Мак-Кинли со всеми суров и резок — такой уж у него характер. Мендоса ничего не ответил на это, а стал говорить, что он все же может быть полезен экспедиции, что ему горько расставаться с друзьями ведь я ему друг? — и тому подобное.

— Да ведь вас не трогали только потому, что вы больны! сказал я. — Все мы будем рады, если вы пойдете с нами. И Мак-Кинли тоже будет рад, хоть вы и думаете, что он вас не любит.

Мендоса заявил, что он сейчас чувствует себя здоровым, и очень хочет участвовать в экспедиции. Я ответил, что сообщу об этом руководителям, и ждал, что он еще скажет. Я понимал, что разговор еще не закончился. И действительно, Мендоса спросил:

— Теперь вы, конечно, найдете то, что ищете?

— Думаю, что да. Ведь теперь у нас есть точные указания.

— О, дева Мария, у меня тоже были точные указания! — пробормотал Мендоса, страдальчески скривив рот.

Вслед за этим он заговорил сбивчиво, невнятно, все время смущался а мямлил. Однако смысл разговора был таков: он, Мендоса, хорошо понимает, что теперь его доли в успехе не будет. Но все же — может быть, мы согласимся уделить ему хоть частицу своей славы? Может быть, в разговоре с репортерами добрый сеньор Осборн или русский начальник скажут хорошее слово о нем, Мендосе? Может быть, это принесет ему известность и богатство, кто знает?

Окончив эту речь, Мендоса с мольбой посмотрел на меня.

— Я знаю, что поступаю нехорошо, когда прошу долю в чужой славе. Но если мне так не везет, так не везет! Не рубите веревку, Алехандро!

Я заверил его, что о нем непременно будет упомянуто и в самых теплых выражениях. Ведь он же делил с нами все трудности и опасности и вот опять, несмотря на болезнь, хочет с нами идти. И потом — ведь это благодаря ему мы получили пластинку с загадочными знаками и розовую раковинку. Значит, доля славы вполне законно принадлежит ему.

Мендоса очень обрадовался моим словам.

— Благодарю вас, Алехандро, вы истинный друг и благородный человек! — с чувством сказал он. И тут же добавил, очень печально: — Все же я думаю, что я не имею права... ведь я так долго не отдавал вам пластинку. Кто знает? Если б мы сразу пошли туда, может, тайник был бы еще цел. Нет, Алехандро, того, что я сделал, будет мало для этих собак-репортеров!

— Я сам — “собака-репортер”! — сказал я смеясь. — И уж с меня-то этого достаточно. Я буду обязательно писать о вас, Луис, и других уговорю!

— О, мать божья! — закричал пораженный Мендоса. — Вы шутите, Алехандро! Не можете вы быть репортером, вы, такой благородный человек! Я думал, что вы изучаете звезды, вы так хорошо о них говорили!

Я его долго уверял, что не все репортеры похожи друг на друга, что в Советском Союзе журналистика — очень почетная профессия. Мендоса только качал головой, сбитый с толку.

— Простите, Алехандро, что я вас невольно обидел, — смиренно сказал он наконец. — Если уж вы действительно репортер, напишите, пожалуйста, обо мне хорошую статью. И, если можно, пусть мой портрет поместят в газете, хорошо, Алехандро?

Но потом он все же не утерпел и спросил: почему я стал репортером? Потому, что не было денег и нельзя было учиться? Я ему объяснил, что у нас в стране журналисты учатся своей специальности пять лет, как, например, инженеры.

— Ну, уж, этому-то учиться пять лет! — скептически сказал Мендоса. — Врать и ругаться умеет каждый мальчишка!

— Ну, Луис, — сказал я, смеясь, — хотите, я не буду ни врать, ни ругаться, а напишу о вас чистую правду?

— Ах, что такое правда, Алехандро! — возразил Мендоса. Никто не хочет знать правды. Правда — бедная нищенка, ее отовсюду гонят. А ложь ходит в раззолоченной одежде.

Но я еще раз пообещал ему написать только правду — и вот выполняю свое обещание.

Мечты Мендосы о славе начали сбываться раньше, чем он ожидал. Через день после этого разговора наши руководители согласились устроить нечто вроде пресс-конференции для журналистов Сант-Яго (те давно штурмовали отель Грильон, где жили руководители экспедиции) и, по моей просьбе, особенно подчеркнули заслуги Мендосы. После этого журналисты кинулись к Мендосе (который мне заранее обещал быть сдержанным и не говорить лишнего) — и вот портрет его украсил собой вечернюю газету; тут же было помещено интервью “с нашим замечательным соотечественником”. Мендоса радовался по-детски, открыто, безудержно: он в этот день скупил такую кипу газет, что ими можно было бы протопить небольшую печь, и то и дело перечитывал строки интервью. Куда девалась его неприязнь к журналистам — он был в восторге от их любезности.

Но на мой взгляд, эта слава помогла ему пока что лишь в той области, где ему и так везло: на него (если изъясняться изысканным слогом) обратило благосклонное внимание множество дам, и до самого отъезда я уже почти не видел Луиса, хоть и жил с ним в одном номере.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Долгожданная фотография наконец-то пришла в Сант-Яго.

Мы сидели вокруг стола и с волнением разглядывали ее вот он, ключ к воротам тайны! На увеличенном фотоснимке благодаря знакомой уже нам подсветке очень отчетливо проступали все детали рельефа этой части великой горной страны. Светящаяся точка находилась между двумя высокими вершинами, вероятно, в высокогорной долине. По ущелью текла река — на карте она обозначалась светящейся волнистой линией, которая действительно казалась движущейся и живой.

Карта была очень детальной, и мы получили ценнейшие указания. Но географы сообщили, что за точность карты они не ручаются, так как местность эта плохо исследована и, насколько известно, совершенно необитаема (проводник Карлос как будто держался того же мнения, но высказывался не категорически — больше повторял “Quien sabe?”). Географы предупреждали нас также, что местность эта подвержена частым землетрясениям вследствие активной деятельности целой цепи вулканов. Впрочем, это предостережение можно было бы в равной мере отнести и к тем участкам Андийской цепи, где мы уже побывали. Пока что нам тут не приходилось страдать от землетрясений; оставалось надеяться, что и в дальнейшем все обойдется благополучно.

— Да, — сказал Соловьев, перечитывая письмо географов, видно, гости из космоса лучше нас освоили этот трудный участок. Карта просто великолепна; впрочем, ее точность мы вскоре проверим на деле.

Я заметил, что при этих словах Осборн поежился, словно от холода. Меня это немного удивило, хотя все уже привыкли к тому, что Осборн очень болезненно воспринимает всякие сомнения не только в существовании марсиан, но и в том, что у них исключительно высокий уровень развития. Он решительно был уверен, что на землю прилетали именно марсиане, и если Соловьев высказывал предположение, что это были гости с другой какой-нибудь планеты, Осборн смотрел на него с таким удивленным видом, будто ему пытались доказать, что дважды два это три с половиной.

Но ведь на этот раз Соловьев не сказал ничего особенного, да и вообще, по-моему, пора было бы Осборну привыкнуть. Однако я видел, что Осборн сразу начал нервничать, кусать губы, тонкое лицо его потемнело от еле сдерживаемого раздражения. Соловьев, к сожалению, смотрел на карту и не видел, что творится с англичанином, а я не мог его предостеречь. И разговор продолжался.

— Да, уж надо бы нам на этот раз найти какие-нибудь доказательства, — пробормотал Соловьев, обращаясь не то к нам, не то к себе самому.

— Разве у нас их нет? — напряженно выговорил Осборн.

— Ну, скептиков этим не убедишь, — ответил Соловьев.

— О, к черту скептиков! — вдруг взорвался Осборн. — Я ненавижу эту породу! Эта вечная ехидная усмешка, эти холодные глаза, которые ничему не верят... Я не могу выносить этого!

Осборн даже стукнул кулаком по столу. Соловьев откинулся в кресле и с интересом посмотрел на него.

— Ну, зачем так горячиться, дорогой сэр Осборн, — мягко сказал он. — Ведь здесь-то этой породы нет... Я сам позаботился об этом.

Тут я должен сказать, что Соловьев решительно отказался включить в состав южноамериканской экспедиции кого-либо из “неверующих”. Он отвел на этом основании и Шахова, который был с ним в Непале. Мотивировал он свой отказ тем, что экспедиция будет работать в очень трудных и даже опасных условиях, а поэтому принести пользу делу смогут только подлинно энтузиасты, готовые всем жертвовать для его успеха.

Надо заметить, что самому Соловьеву скептики не очень помешали бы, он к ним привык. Но из-за Осборна он постарался круто разделиться со своими оппонентами. Это было не так уж легко. В Академии наук с

его доводами согласились, но сколько Соловьев выслушал ехиднейших замечаний от астрономов: он-де критики боится потому, что сам понимает шаткость своих позиций, его поступки смахивают на самодурство, это, мол, арачьевский режим в науке... Но Соловьев только посмеивался.

— Вы ведь в это не верите, что же вам так не терпится? — отвечал он противникам. — Вот привезу в Москву “вещественные доказательства”, выложу их перед вами на стол — тогда и смотрите на здоровье. А если человек взбирается на крутую вершину, то ему совсем не нужен “критик”, который будет хватать его за ноги и кричать: “Не лезь туда!”

Поэтому в состав экспедиции был включен астроном Ситковский, который разделял взгляды Соловьева. Но он перед самым отъездом тяжело заболел, и экспедиция отправилась в путь, имея в составе только одного советского астронома. Что касается Мак-Кинли, то его вряд ли можно считать серьезной научной величиной, хотя Соловьев говорит, что он обладает довольно солидными познаниями в области астрономии, да и вообще человек эрудированный. Я не знаю, чем он занимается в Англии, но в экспедиции он прежде всего “тень” Осборна и его заботливая нянька, а не самостоятельно мыслящий ученый. Кроме того, как я уже говорил, он перwokлассный организатор, исключительно энергичный и выносливый работник и — если привыкнуть к его манерам — в сущности, хороший товарищ.

Но вернемся к разговору. Осборн был так раздражен, что слова Соловьева его не успокоили. Он вскочил с кресла и начал ходить по комнате, видимо, пытаясь сдержаться. Я видел, что на суровом лице Мак-Кинли отравилось беспокойство, но шотландец молчал и следил за Осборном из-под нависших темных бровей.

Осборн резко остановился перед Соловьевым. Лицо его подергивалось, он нервно теребил отворот пиджака.

— Вот в этом-то и беда, — сказал он сдавленным голосом, что вы тоже скептик! Вы ни во что не верите. И я больше не могу так, поймите!

Сказав это, он бросился в кресло и закрыл лицо руками. Осборн в науке, по крайней мере, по отношению к марсианам фанатик. И научная теория для него — религия, которой он служит страстно и самозабвенно. Скептики ему кажутся святотатцами. Это мы все уже знали.

Но с Соловьевым обстояло иначе: Соловьев был на его стороне, а вместе с тем разрешал себе сомневаться и бесконечно проверять доказательства. Соловьев не раз уже потихоньку говорил мне: “Опять я Осборна рассердил! И жаль его — уж очень он волнуется, когда с ним споришь! — и молчать нельзя!” Сейчас это долго скрываемое раздражение вылилось в открытую вспышку.

Соловьев вынул папиросу и начал закуривать. Он, видимо, подыскивал слова для ответа. Мы все искренне любили Осборна и обижать его никому не хотелось. К тому же жена что бы это было похоже, если б накануне победы перессорились руководители экспедиции!

— Дорогой сэр Осборн, — сказал наконец Соловьев. — Этот наш разговор нельзя считать неожиданным. Но что же делать? Ведь с самого начала было ясно, что наш с вами подход к вопросу несколько разнится. Правда, я считал и считаю сейчас, что разница эта касается не существа вопроса, а, так сказать, методики его разрешения. Вы, на мой взгляд, слишком легко принимаете на веру факты, подлежащие предварительному исследованию. Ну, что ж! Это ваше дело; но позвольте я мне относиться к фактам так, как я считаю это нужным. Молчать и не спорить, когда мы с вами делаем общее дело и всеми силами добиваемся успеха, просто невозможно. Ведь истина рождается в спорах, не так ли? Возможно, я был нетактичен, и это вызвало ваше сегодняшнее заявление. Но если это так, от всей души прошу прощения: я глубоко уважаю вас и проявить неучтивость по отношению к вам мог только по крайней рассеянности.

— Я не это имел в виду! — поспешно ответил Осборн, явно страдая. — Вы настоящий джентльмен и никакой невежливости в личных отношениях никогда не допустите!

— Ах, значит, речь идет только о научных спорах! — с облегчением сказал Соловьев. — Но, дорогой коллега, ведь тут мы с вами единомышленники по существу! Вы называете меня скептиком, а вот наш молодой друг (он указал на меня) может подтвердить, что многие наши астрономы — да и не только наши! — называют меня безудержным фантазером, прожектером, романтиком — словом, всеми бранными словами, которые может себе позволить ученый в дискуссии. О, в эту минуту я готов пожалеть, что не взял с собой ни одного из этих скептиков! Но я тогда думал, что экспедиция наша и без того трудна и сложна, и незачем увеличивать эти трудности бесполезными спорами с человеком, который дальше своего носа решительно отказывается смотреть.

Осборн при этих словах поспешно и одобрительно закивал головой.

— Вы видите, — продолжал Соловьев, — что я тоже умею злиться на “неверующих”. Но ведь речь шла о людях, которые держатся определенного предвзятого мнения и не хотят даже дать себе труда подумать — а верно ли это мнение? Эти люди заранее отвергают всякие аргументы и, не дослушав до конца, в качестве *ultima ratio* заявляют: “Вы сами знаете, что все это чепуха”. Или говорят еще: “Вот, я помню, вы шесть лет тому назад неверно оценили такое-то наблюдение. И я совершенно уверен, что вы и сейчас ошибаетесь!” Но ведь я — то не таков, дорогой коллега! Я не отвергаю никаких фактов, а только проверяю их. Ведь это — обязанность ученого... Неужели на это можно сердиться?

— Но вы меня, право же, не так поняли! — Осборн явно сдавал позиции. — Я несколько нервно настроен и, может быть, излишне категорично выразился. И потом — если б вы в самом деле были скептиком, дорогой коллега, я бы не стал вас переубеждать. Но ваш скептицизм, по-моему, носит характер, я бы сказал, принудительный... вы меня простите... официальный... Вы на самом деле не такой, каким хотите казаться!

Я не выдержал и улыбнулся. Я видел, что Соловьев сам еле сдерживает улыбку. Но у него-то выдержки хватало.

— Что вы хотите этим сказать? — спросил он. — Что коммунисты не умеют мечтать?

— Ну, не совсем так! — с беспокойством ответил Осборн. Но все же рационализм и практицизм, присущий современным русским...

— В самом деле? — Соловьев уже открыто улыбнулся. — Подумать только, что в первые годы существования советской власти ваш соотечественник считал руководителя нашего государства беспочвенным мечтателем! Как изменились времена!

— Но я ведь не говорю о такого рода мечтаниях, как электрификация страны! Ведь электричество изобрел не Ленин!

— Верно: однако и марсиан не мы с вами изобрели! — отпаривал Соловьев. — И позвольте вам заметить, что для тогдашней России в целом электричество, радио и прочие блага культуры, которые уже существовали на Земле, по сути дела были не менее смелой фантастикой, чем наши с вами поиски марсианского корабля!

— Да-да, разумеется, — слабо пробормотал Осборн; он, очевидно уже жалел, что начал этот разговор. — Я не подумал...

— И потом, чтоб договорить уж до конца и больше к этому не возвращаться: по отношению к нашей-то экспедиции уж никак нельзя обвинять СССР в “официальном скепсисе”, как вы считаете! Несмотря на то, что мнения советских астрономов по этому вопросу сильно расходятся, и количественный перевес остается на стороне ненавистных вам скептиков, наше правительство все же очень активно пошло нам навстречу и ассигновало на подготовку экспедиции уж во всяком случае не меньшие средства, чем ваша родина, которую вы, как видно, считаете более романтической и мечтательной.

Советский Союз дал больше денег, больше людей, да и вся сложная и спешная подготовка к поездке шла у нас. Осборн это прекрасно знал, и ему стало неловко. Он даже покраснел.

— О, я так жалею, что начал этот спор! — совершенно искренне сказал он.

— Нет, это хорошо, что мы объяснились, — сказал Соловьев. — Я надеюсь, что больше у нас не будет никаких недоразумений.

Осборн горячо (и, по-моему, вполне искренне) заявил, что он совершенно в этом уверен. Мак-Кинли, все время хранивший молчание, кивнул головой, как бы подтверждая его слова. Мне кажется, что суровому и язвительному шотландцу в сущности больше импонировала трезвая логика Соловьева, чем фанатическая и слепая вера Осборна; но он любил Осборна и не стал бы его раздражать возражениями. Мак-Кинли потом сказал Соловьеву, что ему тяжело было слушать этот разговор, так как он знал, что Лесли Осборн — человек болезненно возбудимый и что спор может кончиться одним из тех нервных припадков, которые бывают иногда у Осборна и надолго выводят его из строя.

— Однако, попробуй я вмешаться, было бы еще хуже: сэр Лесли не любит, когда ему напоминают о его неуравновешенности. И я вам очень благодарен, что вы, не зная об этом, говорили спокойно и тактично. Теперь, я думаю, все будет в порядке!

Мак-Кинли сказал все с необычайной для него взволнованностью, и мы были тронуты его любовью к Осборну. Вот уж, действительно, — противоположности сходятся! А сказал он все это, по-моему, не без задней мысли: вдруг все же опять начнется спор, и тогда Соловьев уступит, зная о болезни Осборна. Конечно, Соловьев и без этого все сделал бы, чтоб избежать новых столкновений. Так или иначе, но, по крайней мере, пока я был там, никаких споров больше не возникало.

Да и поводов особенных не было, как вы увидите. Мы еще в этот день очень мирно побеседовали о находках, сделанных здесь, в Андах. Пластинка, колесико и прибор, похожий на раковинку, были уже отосланы на исследование в Москву; но увеличенные фотоснимки пластинки и прибора мы подолгу рассматривали, стараясь разгадать их секрет.

Насчет раковинки наиболее удачное предположение высказал Мак-Кинли. Он сказал, что это напоминает те миниатюрные радиопередатчики, которые применялись еще до второй мировой войны (вследствие своей дороговизны — преимущественно в работе разведки), а за последние годы начинают применяться в более широких масштабах.

Я об этом и раньше слышал, но, что называется, краем уха. Речь шла о чудодейственном по быстроте и легкости способе усвоения различных знаний. Человек спит, а крохотный радиопередатчик, помещенный у него в ухе, шепчет так тихо, что сознание этого не улавливает и человек не просыпается — этот шепот остается на пороге сознания. Но сведения, полученные таким образом, усваиваются прочно и быстро. Во время войны таким быстрым и верным способом обучали шпионов языку той страны, где им предстояло работать. Но таким же путем можно усваивать бездну сведений в любой области знания, бегом пробегая через многие ступени длинной лестницы обучения.

Осборн и Соловьев согласились, что это очень похоже на истину. Возможно, у марсиан этот аппарат был широко распространен и имел какие-нибудь особенности.

К сожалению, я пока не знаю, подтвердилась ли эта гипотеза Мак-Кинли. Но, наверное, об этом скоро все узнают.

Что касается знаков на пластинке, то большинство склонялось в пользу того, что это не слова, а формулы. Предположение это основывалось, впрочем, больше на логических суждениях, чем на конкретном анализе

текста. Для такого анализа, как вы понимаете, нужна кропотливая и длительная работа специалистов (и они, сколько мне известно, ни в одной стране пока не добились успеха). А мы просто думали, что вряд ли был смысл марсианам брать с собой пластинки с каким-то словесным текстом.

— Но, может быть, это стихи или молитвы? — предположил Осборн.

— Что ж, может быть, и молитвы, — усмехнувшись, сказал Соловьев. — Но отправляться в космический рейс с молитвами, я бы сказал, как-то странно. Не предполагали же они, что бог обрадуется вторжению созданных им существ в его единоличные владения? Я бы взял лучше формулы!

Осборн одобрительно улыбнулся: в вопросах религии он был как раз скептиком и вольнодумцем.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Опять записи из дневника.

“23 января. Мы снова в горах. Но теперь мы идем другим путем. Хотя я считается, что новая карта только уточняет предыдущую, но в действительности уточнение получается весьма основательное. Представьте, что вы поехали в Алма-Ата, а потом вам объяснили: вы несколько ошиблись, вам нужно куда-то к озеру Байкал. Аналогия эта, конечно, верна лишь отчасти: проехать, хотя бы и к Байкалу, не так уж трудно, даже с заездом в Алма-Ата.

А вот тут, когда идешь пешком по этим горам, сплошь заваленным камнями, да лазишь по крутым склонам под ледяным ветром и задыхаешься от горной болезни, — тут ошибка ох, как дорого обходится! Но что поделаешь! Теперь-то, надеюсь, мы идем по верному следу.

Сегодня утром мы перешли через высокий скалистый гребень и весь день двигались по длинной и широкой межгорной равнине. Впрочем, равнина здесь — понятие довольно условное. Представьте себе пустынную с чахлой растительностью местность, изрезанную глубочайшими узкими ущельями, по дну которых текут маленькие, но быстрые реки, грозно грохочущие камнями. Представьте к тому же, что эта равнина больше похожа на булыжную мостовую, которую какой-то гигант начал строить, а потом почему-то бросил. Она вся покрыта толстым слоем разнообразных камней, из-под которых изредка просвечивает темно-красное порфировое или гранитное дно. Кордильеры крошатся, как сухарь. Идти по этой щебенке, наспех насыпанной нерадивым гигантом, очень неудобно. Даже налегке, когда мулы тащат всю поклажу. Ко всему прибавьте еще, что там и сям торчат какие-то каменные пики или холмы... Географы называют все это равниной; бог им судья! А, по-моему, здесь больше подходит местное название “сајонес”, что означает — ящики. Это название, кажется, не применяется к таким большим пространствам — ну, да все равно, оно подходит!

Единственное утешение — каменные склоны, отвесно поднимающиеся по обе стороны этой милой равнины. Они раскрашены во все цвета радуги. Я сижу возле палатки у подножья одной из этих каменных стен, так что пишу прямо с природы. Настоящий слоеный пирог, только снизу его кто-то здорово помял, и там слои налезают друг на друга. Наш геолог, Генри Эдварде (я о нем, кажется, еще не упоминал — это симпатичный долговязый парень с пышной рыжей шевелюрой), объясняет мне, что зеленые, белые, красные и пурпурные слои сверху — это осадочные породы, указывающие на то, что Кордильеры когда-то побывали под водой. Черные лавовые полосы, прорезающие их, говорят об активной деятельности вулканов. А снизу беспорядочно теснятся, врезаясь в осадочные слои, древний кварцевый порфир. Это меня особенно удивляет. Я думал, что порфир всегда темно-красный, а тут есть и ярко-лиловый, и багряный, и алый, и темно-коричневый, и еще масса всяких оттенков. Зрелище феерическое. Я уже сделал на память несколько снимков”.

В дополнение к дневнику сообщаю, что все мои катушки с пленкой погибли при катастрофе. А снимки там были уникальные! Добавлю еще, что при помощи Эдвардса я постепенно научился различать горные породы. Я уже встречал, как старых знакомых, граниты, порфиры, диориты и диабазы, относившиеся, как пояснял Эдварде, к юрскому и меловому периоду; с интересом рассматривал отложенные морем песчаники, известняки, глины и сланцы; подбирал рассыпанные по долине обломки яшмы и халцедона и вспоминал рассказ Библии о роскошной жизни царя Соломона (а, может, и не библию, а только “Суламифь” Куприна) с некоторым опасением, но почтительно поглядывал на черные лавы и беловатые туфы и прочие вулканические породы — пемзу, обсидиан, перлит, базальт. И, конечно, декламировал по этому случаю стихи Брюсова:

Верные челны причальте
К этим унылым теминам!
Здесь, на холодном базальте,
Черную ночь провести нам!

Знал бы Брюсов, как все это подходило к нашему пути! Только вместо челнов у нас были палатки и мулы.

Еще запись:

“25 января. Лето в разгаре, и мы находимся под тропиками. А здесь — черт знает что! Днем под солнечными лучами действительно довольно жарко, мы ходим голые по пояс (исключая, конечно, девушек) и загораем до черноты. Но по ночам — собачий холод, да и днем на солнце чувствуешь себя вроде как у костра — с одной стороны припекает, с другой — мерзнешь. В тени температура очень низкая, немногим выше нуля.

Идем пока не на большой высоте — 2500–3000 метров. Мы уже полностью акклиматизировались, и на горную болезнь никто не жалуется. Но невыносимо зудит кожа, воспалились и потрескались губы, начали ломаться ногти. Костя Лисовский велел всем намазаться борным вазелином. Вид у нас теперь такой, будто мы выскочили прямиком из бани — лица блестят и лоснятся, как распаренные, а руки невольно растопыриваешь — они противно липнут ко всему. Но что поделаешь! Через час-полтора все впитывается, высыхает, и приходится снова повторять процедуру. Погонщики смазали жиром ноздри и уши мулов и даже их копыта. Да что: пришлось усиленно смазывать обувь и кожаную сбрую — все это трескается и портится! Продукты, не завернутые в полиэтиленовую пленку, высохли абсолютно, их не угрызешь.

Через сутки у нас кончатся запасы воды.

Пришлось урезать рацион, хотя пить хочется невыносимо словно все внутри высыхает. Но достать воды пока что негде. Реки текут в таких невероятно глубоких и отвесных ущельях, что спуститься туда нет никакой возможности. Мы все время присматриваемся — и никаких уступов, никаких понижений нет в этих каменных стенах, словно вырубленных гигантским топором. Умереть от жажды возле реки — это было бы в высшей степени оригинально! Пишу — и глотаю слюну, чтоб хоть немного освежить горящую глотку. Но и слюны мало. Осборну и женщинам дают двойной рацион воды, но и они выглядят плохо. Это настоящая долина смерти. Кое-где валяются кости мулов и лошадей как они сюда попали, интересно?

Кругом все мертво.

Мендоса говорит, что реки эти, наверное, раньше были очень большими (вероятно, раз они прорыли такие ущелья!), а теперь высохли и скоро совсем исчезнут.

— В Кордильерах все сохнет. Даже священное озеро инков Титикака уменьшается на глазах.

Я спрашивал его, куда это мы забрели, но он не знает. Говорит, что слышал об этой долине (и счастье еще, что слышал — он посоветовал взять с собой побольше воды и жира!), но никогда здесь не был и не знает, как далеко она простирается и что будет за ней.

Вечером, в тот же день. Это настоящая ловушка! Впереди, на северо-востоке поднимается высокий зубчатый кряж, закрывая выход из долины. Пока не видно, есть ли там перевал и пройдут ли мулы. А если не пройдут? И что там, за кряжем? Может быть, такая же пустыня? На рассвете пойдем на штурм. Воды осталось меньше, чем на сутки. Но уже темнеет, и ночевать придется здесь.



Недавно наткнулись на следы трагедии, когда-то разыгравшейся в этом мрачном месте. Сначала — скелеты лошадей и мулов, поодиночке, на большом расстоянии друг от друга. Сохранились гривы, хвосты и серебряный набор сбруи. Мясо, должно быть, расклевали случайно залетевшие сюда коршуны. Потом человеческий скелет. Это был мужчина высокого роста. Рядом с ним лежал старинный меч в растрескавшихся кожаных ножнах, горсть золотых монет — испанских дублонов, кинжал с крестообразной рукояткой (вроде тех мизерикордий, которыми рыцари добивали побежденных противников на турнирах) и откатившийся в сторону стальной шлем конквистадоров. Лохмотья богатой испанской одежды, чудом сохранившейся в этой гигантской сушилке, лежали на костях. Он прошел всю долину и умер от жажды. Еще

через несколько шагов, мы увидели два трупа, лежащих рядом, — тоже испанская одежда и вооружение XVI века. Потом еще один. Этот попытался пройти дальше. И все равно погиб.

— Это что же, и в Гималаях вот так? Пустыня и ветер? — спрашивает Петя Веневцев.

— Ну, что ты! — говорю я и вспоминаю Гималаи.

Гималаи, по-моему, гораздо красивей. Они и величественней и как-то, я бы сказал, человечней.

Впрочем, я говорю о тех местах, где я побывал (конечно, за исключением ледопада Кхумбу и проклятого ущелья). Высокогорье там тоже ледяное и безжизненное. Но ведь до самой границы снегов в Гималаях кипит жизнь. А в Кордильерах на небольшой высоте чаще всего — голые камни и ветер. Правда, тибетская сторона Гималаев более пустынна, скудна и холодна. А ведь Анды так же двойственны, как Гималаи. Только они отгораживают не юг от севера, а восток от запада. Но картина получается сходная — одна сторона богата влагой и растительностью, а другая — суха и бесплодна. Мы все время бродим по сухим и холодным западным склонам великой цепи. Прохлада на западном склоне поддерживается холодным Перуанским течением, идущим вдоль берегов Чили и Перу, — оно сильно понижает температуру океана. Этот краткий комментарий я даю для того, чтобы мои читатели, в случае, если у них такое же поверхностное знание географии, какое было у меня еще около года назад, не обращались к справочной литературе, чтоб выяснить, — почему же под тропиками так холодно?

“26 января. Ура! Пустыня кончается! Мы спускаемся с перевала и с каждым часом приближаемся к жизни. Все чаще пробиваются между камнями пучки травы и низенькие кустарники. Попадались уже довольно большие лужайки с настоящей желто-зеленой травой и цветами. Маша собирает красные, синие и желтые генцианы, пламенеющие сассифраги. Эти я помню еще по Гималаям. А вот как называются большие желтые цветы без стебля, похожие на маленькие солнца, упавшие на землю? Я бы назвал их “цветами инков”, но Маша про-

износит какое-то непонятное и длинное латинское название. Кустарники вокруг — это вечнозеленая смолистая тола.

Мулы ступают по каким-то коврам — таким плотным, что на них не остается следов от копыт. Эдварде бьет по этой странной зелени геологическим молотком и, смеясь, утверждает, что она не уступает по твердости некоторым горным породам. Мендоса называет этот низенький стелющийся кустарник — льярета; Маша говорит, что это — *Azorella compacta*. “Азорелла” — звучит красиво. А насчет компактности очень верно подмечено. Мендоса говорит, что эта самая льярета или азорелла хорошо горит и индейцы собирают ее на топливо.

Над нами с высокой горы спускается глетчер. От него бежит поток, извиваясь между камней. Вода! Вода!

Местность оживает все больше. Вдалеке промелькнули викуни. Мак-Кинли видел пуму. Он хочет достать из багажа винтовки и поохотиться. Его горячо поддерживают Костя Лисовский и Этель Престон. (Она, оказывается, страстно любит охоту). Вот как все сразу оживилось! Зверья тут немало. Шныряют между скал уже знакомые нам серые пушистые зверьки — шиншиллы, из-за обломка порфировой глыбы на мгновение показалась острая мордочка лисицы. На фоне неба красуется на высокой скале громадный кондор с пушистым белым воротником вокруг голой шеи. Самое удивительное то, что здесь водятся колибри. А я думал, что они обитают только в тропических лесах! Когда я впервые их увидел, то принял за каких-то больших жуков или бабочек, но Мендоса сказал мне, что это такое. На горизонте видны громадные кактусы.

Вечером того же дня. Мы расположились возле маленькой индейской деревушки на высоте 3100 метров. Лачужки в деревне жалкие. Леса тут нет, дома кое-как слеплены из кактусов. Одежда обитателей этой деревушки до крайности проста и бедна: она состоит из пончо — большого куска грубой ткани из шерсти альпаки (это местное животное, близкая родственница знаменитой ламы, изображенной на гербе Южной Америки); в середине этого куска проделано круглое отверстие, в которое просовывается голова — вот и все. Широкополые шляпы из крученой шерсти с конусообразной тульей и дешевые украшения (обычно бусы) дополняют наряд туземцев.

Мендоса говорит, что язык их близок к наречию аймара, но сами они — не аймара. Они производят приятное впечатление особенно мужчины (у женщин слишком замученный и неопрятный вид). Они невысокие, но крепкие и стройные. Черты лица у них не монгольского типа, как у наших носильщиков; они скорее похожи на индейцев Северной Америки: орлиные носы, резко обозначенные скулы, худые продолговатые лица. Но в них нет суровости и воинственности героев Фенимора Купера — они на вид скорее кроткие, спокойные и немного печальные существа. Кожа у них красивого темно-бронзового цвета. Они сеют ячмень, просо, выращивают картофель, капусту, чеснок; на пастбищах близ деревни пасутся ламы и альпаки.

На нас они смотрят с удивлением и некоторым испугом. Говорят, что люди к ним заходят очень редко, а белые были всего один раз — с тех пор уже десять раз наступала весна. Мендоса прочел им пропуск президента, но они не знают, что это такое — президент.

Мы пригласили их поужинать вместе; они ели с жадностью, но, вероятно, не столько от голода, сколько из любопытства. Потом стали их расспрашивать. Тут сразу выяснились некоторые факты, на основании которых можно судить, что мы пока не сбились с верного следа. Когда мы объяснили, в каком направлении собираемся двигаться, индейцы пошептались и потом сказали, что туда идти нельзя, там очень плохие места. Больше они ничего не хотели объяснить, отговаривались незнанием. Придется как-нибудь хитрее подойти к ним.

27 января. По совету Мендосы и Карлоса мы позвали к себе старика, который тут считается чем-то вроде старосты. Наличие старосты — единственный признак организации у этих полудиких существ: они не знают, в какой стране живут, и вообще не представляют себе мира за пределами окрестных высоких гор. Мы для них — как пришельцы с другой планеты. Если б сюда явились марсиане, то эти люди, наверное, не очень удивились бы. Во всяком случае, не больше, чем они удивляются, глядя на Машу и Этель (они впервые видят здесь женщин чужого племени).

Пришел староста — маленький, седой и важный. Мендоса объяснил, что гости хотят поговорить с самым большим человеком этого селения. Староста выслушал это с непроницаемым лицом, но, кажется, лезть подействовала. Перед ним выставили самые эффектные наши банки с консервами и коньяк. О консервах он спросил — растет ли это на деревьях или выкапывается из земли? Слегка жмурится от удовольствия, поглощая необычную пищу. Особенно восхитили его сардины: он доедает банку. Выпил коньяку, закашлялся, испугался. Но испуг быстро прошел; староста заметно охмелел. Ему подливают еще. Что поделаешь! Ну да в этой пустыне привычка к спиртному развиваться не может — за неимением материала.

Немного позже. О, какие потрясающие открытия! Расскажу главное. Староста говорит, что там, куда мы хотим идти, есть проклятое ущелье. В тех местах нет человеческого жилья, и человек туда забредает очень редко. Те белые, что были здесь десять весен тому назад, пошли в ту сторону. Он им говорил, что нельзя туда идти. Вернулось оттуда только двое — один белый и один индеец, — а было их больше десяти. И вернулись они больные, и вскоре умерли, тут же в деревне. И еще — один охотник из этой деревни погнался за пумой и попал в те места. Вернулся он тоже больной и умер. Теперь его матери помогает все селение.

Мы спросили, где похоронили этих умерших. Но тут нам не повезло — это племя, как и шерпы, сжигает своих мертвецов. Белого человека и чужого индейца они жечь не стали, но вынесли за деревню, и там их тела склевали коршуны (эти коршуны вообще во многих местностях Анд выполняют обязанности могильщиков и очищают улицы селений от трупов издохших животных — их поэтому не стреляют). Еще мы спрашивали, что же это была за болезнь, но староста сказал только: “Очень плохая болезнь, очень плохая! У нас такой нет, она

есть только возле проклятого ущелья”. Дело ясное! Но, значит, закрытого склада там нет, и заражена вся местность. Трудненько придется нам!

Но это еще не все. Мы поднесли старосте подарки — большой нож в кожаных узорчатых ножнах (пришлось показать, как он здорово режет — у них тут железа нет, а есть грубые медные изделия) и целую вязку разноцветных ожерелий. Он расчувствовался и сказал, что отдаст нам взамен очень-очень важную вещь.

Ох, как хорошо, что мы догадались подарить ему эту штуку!

Оказывается, много-много лет назад, когда еще не было ни наших отцов, ни дедов, ни даже прадедов, в этой деревне жил один белый человек. Тогда еще много чего случалось, но староста всего не знает. А насчет белого человека он знает, потому что этот человек, когда умирал, отдал тогдашнему старосте свой заветный ящик, и староста ему поклялся Светлой Луной, что будет хранить этот ящик, как свою жизнь, и передаст его белым людям, которые придут сюда из-за гор. Но отдать нужно только хорошим людям, а если они будут плохие, то не отдавать, а хранить у себя и перед смертью передать тому, кто станет старостой после него. И пусть этот новый староста поклянется Луной и делает все так же, как было сказано. При нем белые люди приходили всего два раза, и они были плохие. Один раз — это было очень давно, еще при том старосте, который был до него, а он сам тогда был юношей. И те люди убили двух индейцев. А те, что приходили десять весен назад, не убивали людей, но были очень злые, никого не угощали, как делаем вот мы (тут он погладил себя по животу), а наоборот, без спросу резали ламу, которая принадлежала его сестре. И он решил, что это тоже плохие белые люди и что если он им отдаст ящик, то нарушит старинную клятву. Нам же он сначала решил не отдавать ящик, потому что знал, что мы все равно умрем и тайна погибнет вместе с нами. А тот человек хотел, чтоб этот ящик унесли за горы. Но теперь он знает, что мы хорошие люди. Только он просит, чтоб мы не ходили к проклятому ущелью.

Потом он принес ящик. Это был окованный серебром деревянный резной ларец, очень массивный. Сбоку, на тонкой серебряной цепочке висел ключ. Наш археолог Томлинсон определил, что это ларец испанской работы, примерно, начала XVI века.

Замок поддавался туго, но в конце концов со скрипом раскрылся. Внутри мы увидели рукописное евангелие в кожаном переплете, стилет с рукояткой из слоновой кости и золотой медальон тонкой работы; внутри него оказался миниатюрный портрет немолодой, но очень красивой и величественной дамы с пышным стоячим воротником вокруг шеи. Все вещи прекрасно сохранились.

На дне лежало что-то, обернутое куском потертого малинового бархата. Мы развернули бархат и увидели листки плотной желтоватой бумаги, покрытые сверху донизу записями на испанском языке. Записи были сделаны черной густой жидкостью, кое-где расплылись и выцвели.

Сейчас этого документа в моем распоряжении нет (его взяли историки для реставрации и исследования). Но в дневнике сохранились два отрывка из него, которые я там же в деревне записал по устному переводу Мендосы.

Вот начало этого документа. Оно звучит в двойном переводе (с испанского на английский, а затем на русский) так: “Я, Диего де Фарнесио, идальго из Кастилии, пишу эти слова. Произволением Божиим попал я ныне к неведомым людям, в места; откуда мне больше нет возврата, а те, кто были со мной...¹, вместе с нашими оруженосцами погибли злой смертью среди безводных камней, ибо так было угодно Всевышнему. Я же, в великой муке и тоске, из последних сил взобрался на высокую гору и дополз до того места, где меня встретили индейцы-охотники, и дали мне пить и есть, и очень дивились на мое лицо и одежду. И тогда я хотел вознаградить их за доброту, и достал золотой дукат, ибо золота у меня было великое множество, пищи же и воды я не имел, пока мне ее не дали эти люди. И я узнал, что они не ведают, что есть золото и что есть деньги, и не ведают ничего о короле Испании, и ничего о великом Государстве Солнца, а живут сами по себе, как первые люди на Земле. И поклоняются они Луне, так что есть они темные язычники. Но простые эти люди отличаются добротой нрава и кротостью, и я рядом с ними — великий грешник, ибо осквернял свою душу злобой и гордыней, и корыстью, и развратом, и буйством, и уста мои изрыгали хулу на Господа, и глаза мои жадно смотрели на женскую плоть и на блеск золота”.

На этом записанный мной отрывок кончается. Дальше я попробую восстановить содержание записок по памяти. Помню я этот удивительный документ довольно хорошо уже хотя бы потому, что мы много говорили о нем и в деревне, и в пути. Да и притом написано все это человеком незаурядным, а события, о которых он рассказывает, глубоко нас интересовали.

Из записок можно было установить некоторые черты биографии и личности кастильского идальго Диего де Фарнесио, хотя сообщались эти сведения отрывочно и попутно. Он был младшим сыном в одной знатной испанской семье (в медальоне был портрет матери Диего, доньи Хосефы де Фарнесио, — он ее высоко чтит как образец подлинного благородства). Диего двадцати лет от роду отплыл в Новый Свет на корабле из флотилии Франсиско Писарро. С войсками Писарро он пришел в Государство Солнца; он видел падение Кахамарки и Куско и гибель последнего инкского государя. Диего де Фарнесио с горечью и болью осуждает злодейства Писарро и его сподвижников и кается в своем преступном соучастии. Затем с отрядом Альмагро он двинулся через Боливию в Чили. Во время этого похода через громадные горы и вечные снега, как известно по отчетам, погибло 150 испанцев и 10 000 индейцев. Отряд Альмагро брел наугад, трупы людей устилали этот страшный путь. Иногда высылались вперед разведка, но разведчики почти никогда не возвращались. Наконец Альмагро

¹ Их имен я не успел записать. (А.Л.)

послал в разведку де Фарнесио и еще двух идальго в сопровождении слуг. Разведчики обились с пути во время внезапно налетевшей снежной бури и, выйдя в межгорную долину, наудачу пошли по ней, думая вначале, что по-прежнему идут на запад. В долине этой спутники де Фарнесио погибли от жажды, хоть по равнине и текли реки. Один из них в припадке безумия прыгнул в пропасть, чтоб добраться до воды.

В описании этом нетрудно было узнать ту долину, по которой мы шли еще вчера... И, конечно, те скелеты, что мы видели там — это останки товарищей де Фарнесио. Сам же он, как уже известно читателям, преодолел перевал, встретился с индейцами и остался в их селении. Очевидно, де Фарнесио заслужил преданную любовь индейцев — иначе его ларец не сохранялся бы почти 350 лет, как нечто очень важное, почти священное.

Этот конквистадор, обладавший, по-видимому, исключительной энергией и мужеством (об этом можно судить хотя бы по тому, что он, полумертвый от жажды, заставил себя ползком взбираться на крутой перевал, не зная даже приблизительно, что ждет его по ту сторону хребта), перенеся гибель товарищей, тяжелейшие муки, совершенно переродился. Возможно, тут сказалось глубокое и сильное влияние матери, о благочестии которой он говорит с таким восторгом, — ведь Испания была цитаделью религиозного фанатизма, и в этой атмосфере вырос и воспитался юный Диего. То, что он носил с собой в кровавых походах евангелие, можно было бы счесть за отвратительное лицемерие, если б не дальнейшая его жизнь, построенная на совершенно иных началах. Но не только ожившее религиозное чувство сказывается в записках де Фарнесио; в них проявляются и некоторые качества, гораздо более удивительные для участника конквистадорских грабежей и массовых убийств. Нас поразил его подлинный гуманизм, на время приглушенный кровавым угаром похода, но составлявший, видимо, прочную основу его мироощущения. Де Фарнесио искренне любит простых и темных людей, к которым его забросила судьба; и хотя он, как христианин, в сущности, должен осуждать поклонение Луне, он уважает верования туземцев и отказывается от всяких попыток миссионерства, ибо считает себя морально ниже их. Такая скромность и искренность, наверное, очень облегчили ему сближение с туземцами.

Де Фарнесио прожил здесь больше года, когда произошло то, что заставило его писать эти записки на случайно сохранившихся листках бумаги при помощи сажи, разведенной в воде. Он считал, что об этом необходимо сообщить людям, и потому заставил старосту поклясться самой священной клятвой — именем Светлой Луны.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Однажды, незадолго до Рождества, рассказывает де Фарнесио, он вышел в горы, чтоб поохотиться на викуний. Преследуя раненую викунью, он незаметно забрался далеко от знакомых мест и очень устал. И тогда, упав без сил на горном уступе, он увидел “великое и поражающее ум”. Это место у меня записано в дневнике.

“Лежа на земле, я услышал великий гром и увидел летящую звезду, что сияла во сто крат ярче солнца. И в ужасе, скрыв руками лицо, я думал, что пришел Страшный Суд, и я предстану перед Господом, чтоб дать ответ в делах своих. И горы колебались в своих основах, и меня сбросило с уступа, на котором я лежал, много ниже, и я разбился и повредил себе ногу, и долго лежал без памяти. А когда я открыл глаза, на высокой равнине над ущельем горел белый свет, устремленный в небеса. И свет этот начал двигаться, как огненный столп, и коснулся меня, и я опять упал, закрыв лицо, и думал: “Господи, вот ангел твой пришел за мной”. И с высот спустился ко мне ангел, и подхватил меня и нес с собой в воздухе над горами, и пропастями, и рекой, и опустил на равнине, где сияла великая звезда”...

Следующие несколько строк пришлось на сгиб листа, и сажа с них стерлась, так что Мендоса не разобрал слов. Разборчивый текст снова начинается через три строки с середины фразы: “...и чудесным образом я понимал их, как если бы они говорили на чистейшем кастильском наречии. Но слов они не произносили, а я видел как бы некие образы или подобию картин, только движущиеся и исполненные жизни. И когда я видел эти картины, я думал и, как бы против воли, без слов отвечал на них моими помыслами, и они понимали меня. Вид же они имели не человеческий, но якобы и не ангельский. И я помыслил — не принесла ли на Землю эта падучая звезда самого Князя Тьмы с приспешниками? Но они видели мои мысли и приказали мне, чтоб я не страшился, ибо власть их от добра, но не от зла, и я им поверил, не распознав их подлинной сути. И они ввели меня внутрь звезды, и я увидел некое подобие жилища, но совсем иного, чем у людей, и я не могу описать его земными словами”.

Больше я записать не успел, потому что Мендосу позвали руководители экспедиции. Затем мы тронулись в путь, а на привалах я еле успевал записывать то, что случилось за день. Поэтому дальнейшее содержание рукописи приходится восстанавливать по памяти.

Де Фарнесио виделся с загадочными крылатыми существами еще раз, сохраняя оба свидания в тайне от индейцев, — он не знал, как объяснить им это событие, и, главное, с самого начала опасался — не попал ли он



под власть злых сил. Внешность жителей звезды он не описывал, хотя по некоторым его словам можно заключить, что они были в общем похожи на человеческие существа. Содержание разговоров с ними передавал в самых общих чертах: “Они хотели узнать, что делается на Земле и как живут тут люди, и почему здесь так пустынно, и я отвечал им на это по правде и по совести, чего делать мне не следовало”.

В третий раз придя на край ущелья (отсюда крылатые гости переносили! его к себе), де Фарнесио увидел, что “великой звезды” нет на равнине. Увидел он также, что и равнины уже нет, вместо нее вздыбилась крутая гора, и ущелье завалено обломками, а река с ревом несется в другую сторону по глубокой трещине, которой до сих пор не было в этих местах. Де Фарнесио обуял такой страх, что он стремглав бросился бежать от этого дьявольского места. Но точно какая-то сила все больше сковывала его движения, и до деревни, куда был всего один день пути, он еле добрался. И он понял, что наказан смертью за свои кошунственные беседы с крылатыми демонами и, желая хоть отчасти искупить свою вину, решил поведать людям о своей жизни, чтобы предостеречь их от дьявольского искушения. Свой грех он видел в том, что не распознал сатаны в новом обличье и многое ему рассказал о жизни людей. Теперь же он был убежден, что беседовал со слугами зла — кто еще мог обладать такой загадочной властью, читать мысли людей, летать по воздуху и переворачивать скалы? Ангелам, он полагал, это не нужно, ибо их сила — в другом.

Надо ли рассказывать, как подействовала на нас эта рукопись? Мы кричали “Ура!”, обнимались, вообще вели себя, как сумасшедшие, и потомки друзей де Фарнесио взирали на нас с молчаливым изумлением.

Наконец мы успокоились и стали подытоживать достигнутое. Итак, небесный корабль прилетел сюда в XVI веке.

— Это можно точнее установить, — сказал Осборн. — Даты этих походов Писарро и Альмагро хорошо известны. Ясно, что де Фарнесио отплыл из Испании в 1531 году, а в поход с Альмагро отправился в 1535. В том же году он попал в эту деревушку, а через год с небольшим — значит в 1536 году — увидел “жителей звезды”, или “слуг дьявола”, как он их поочередно именуется. Более трудно установить другое — что случилось с марсианами?

— Вы имеете в виду экипаж корабля, который видел де Фарнесио? — спросил Соловьев. — Ну, это, кажется мне, ясно и из его рассказа, и из страха туземцев перед “проклятым ущельем”. Толчок при землетрясении сбросил корабль вниз, в ущелье; при этом он разбился, а экипаж погиб. Разбился и резервуар с ядерным горючим, и оно стало излучаться в воздух; это явилось причиной гибели де Фарнесио и, уже в наши дни индейца-охотника и той экспедиции, о которой рассказывал староста. Неясно другое — как же нам быть? Как добираться туда, где разбить лагерь, откуда спускаться в ущелье робота, чтоб самим не пострадать? Ведь “Железная маска” в свое время конструировалась в расчете на то, что она будет действовать в наглухо закрытом помещении и что мы сами будем в полной безопасности. Но это все придется решать уже на месте.

— А как же отнестись к сообщениям испанца о языке без слов? Крылья — это, должно быть, летательные аппараты. А вот разговор картинками и образами... уж очень фантастично! Не выдумал ли это де Фарнесио? — спросил я.

— Вы слишком высокого мнения о конквистадорах, — улыбаясь, ответил Осборн, — если считаете, что хотя бы даже лучший из них мог выдумать такое! Ведь это же XVI век, мой друг! Подумайте только! Нет, я убежден, что это так было...

Соловьев согласился. Тогда неожиданно задала вопрос Маша:

— А почему марсиане после XVI века не прилетали на Землю?

— Откуда вы знаете, что они не прилетали? — обиженно поинтересовался Осборн. — Вы располагаете точными сведениями на этот счет?

Маша смутилась и робко ответила:

— Нет, я просто предполагаю, что в XIX–XX веках они вряд ли прилетали. Это было бы замечено. Да и зачем им все время сидеть в пустынных горах, вдалеке от людей? Они же должны были бы рано или поздно попытаться установить связи? Может быть, они уже и пытались это сделать через де Фарнесио?

Осборн благосклонно кивнул головой, одобряя ее рассуждения.

— Да, несомненно, они должны были стремиться установить контакт с людьми, дорогая мисс, — пояснил он так, будто лично был знаком с марсианами. — Но мы не можем утверждать с такой же уверенностью, что они не прилетали... ну, хотя бы даже в этом или в прошлом году!

Мне это показалось сомнительным, и я уже раскрыл рот, чтоб задать вопрос, но Маша опередила меня:

— Конечно, уверенным быть нельзя, мы могли и сейчас проглядеть их прибытие. Но ведь по логике вещей техника межпланетных полетов должна была за три с половиной столетия еще больше развиться и усовершенствоваться. Если марсиане, или кто бы они ни были, могли летать уже в XVI веке, то в наши дни, безусловно, должны были наладить регулярное сообщение с Землей. Между тем такой регулярной связи нет — это можно утверждать с уверенностью. Так почему же они перестали посещать свою ближайшую соседку? Не поправилась она им, что ли?

“Молодец Маша, смотрит в корень!” — думал я. Соловьев в разговор не ввязывался, но слушал с интересом. Осборн все так же одобрительно улыбался, сияя своими неземными глазами.

— Я мог бы высказать некоторые предположения по этому поводу, — сказал он, — но для этого потребовалось бы нечто вроде лекции. На лекцию у нас нет времени, а угощать вас голословными утверждениями не хочется.

— И, к тому же, очень возможно, что через сутки эти предположения будут подтверждены конкретными фактами! — поддержал его Соловьев.

Я думаю, что Осборн уклонился от ответа именно по этой причине. Как бы пылко он ни был увлечен своими гипотезами, все же как ученый не мог отрицать, что факты сильнее умозрительных теорий. А в ближайшие дни мы не без оснований рассчитывали получить новые факты. Осборн не захотел развивать теории, которые могут быть через сутки наглядно опровергнуты — и очень правильно сделал. Ведь вскоре мы получили достаточно убедительный ответ на вопрос Маши.

Дневник я вел вплоть до дня катастрофы. Даже утром я еще записал несколько строк, а несчастье случилось около двух часов дня. Но записи эти меня не удовлетворяют. Они очень эмоциональны, но зато несвязны.

Поэтому буду продолжать рассказывать все, что случилось, а изредка, возможно, прибегну к дневниковым записям.

На рассвете мы вышли из деревни, провожаемые мрачным молчанием: индейцы не понимали, зачем мы идем на верную смерть. Накануне мы дружески прощались со всеми, дарили бусы и прочие безделушки. Кстати, я так и не знаю, откуда раньше брались бусы у здешних индейцев. Должно быть, изредка сюда приходили индейцы из других селений. Но поблизости не было видно следов жилья, и селение казалось отрезанным от всего мира: всюду грозные кряжи, прорезанные глубокими отвесными ущельями, а на юге — долина смерти. Де Фарнесио недаром решил, что отсюда нет возврата. Да вот, например, эти люди никогда не видали зеркал, разглядывали их со страхом и спрашивали: “Кто там?”. Не знали, что такое сахар; его сладкий вкус действовал на них ошеломляюще: они странно ухали от неожиданности и удовольствия. Наши носильщики, по сравнению с ними, стояли на более высокой ступени цивилизации.

Но я отвлекся от рассказа. Итак, мы вышли из деревни (оставив там своих мулов пастись вместе с ламами и альпако). Шли, постепенно поднимаясь вверх; однако в основном держались на высоте 3800–4200 метров, что было терпимо даже для Осборна.

Сначала мы проходили по довольно оживленной местности, где водилось много разной дичи. Наши охотники убили двух викуний. Это очень грациозное животное, вроде антилопы. Они приходятся дальними родственниками верблюдам, но ничуть на верблюдов не похожи, в отличие от лам и альпак — у тех морды явно верблюжьи. Шерсть у них рыжевато-желтая, на груди — белое жабо из длинной волнистой шерсти. На привале мы ели свежее жаркое. Мак-Кинли выслеживал пуму — американского льва, но безуспешно.

Все шло очень мирно и даже весело до самого перевала. Перед нами, преграждая дорогу, тянулся длинный гребень. Мы поднялись по нему до высоты 4900 метров (де Фарнесио сообщал, что он шел все время на восход солнца, а гребень этот тянулся по направлению с юга па север, перегораживая дорогу на восток). На перевале нам ударила в лицо метель. Она сорвалась так внезапно, словно долго поджидала нас и теперь обрадовалась. Мы опустили головы, прикрыли лица руками. И в эту минуту я увидел, что дозиметр у меня на груди показывает довольно высокий уровень радиоактивности воздуха — такой, который нельзя считать безвредным для человеческого организма.

— Все ясно, — сказал Соловьев, — этот снег пронесся над проклятым ущельем! И за три с лишним столетия радиоактивность марсианского горючего понизилась, видимо, очень мало!

Опасная зона сразу придвинулась к нам. Мы быстро соорудили маски из носовых платков, прикололи их к вязаным шлемам. Но защита эта была, конечно, совершенно ненадежная. К счастью, внизу ветер утих и метели не было. Мы двинулись дальше, но настроение у нас, разумеется, упало. Главное — мы не знали, что делать с носильщиками. Без них не обойдешься, а подвергать людей опасности, пользуясь их неосведомленностью, мы не имели морального права.

После длительного обсуждения мы решили рассказать носильщикам все как есть и предложить им двойную плату за то, что они донесут поклажу до ущелья, помогут разбить лагерь, а потом уйдут в безопасную зону и будут ждать нашего сигнала (у нас был ракетный пистолет). Почти все носильщики согласились, может быть, потому, что не поняли толком, какая опасность им угрожает.

Еще через несколько часов мы оказались невдалеке от ущелья. Дозиметры опять забили тревогу. Пришлось отвести людей обратно, в безопасную зону, и обдумать план дальнейших действий.

У нас были защитные костюмы, что-то вроде легких скафандров. Материалом для них послужил особого вида полистирол, с так называемыми “привитыми качествами”. Одно из этих качеств привилось полностью: жесткий и хрупкий по природе полистирол стал мягким, гибким, пластичным. Но вот другое его качество — способность защищать от проникающего излучения, — по мнению изобретателя, удалось привить лишь отчасти: костюм значительно ослаблял излучение, — но все же меньше, чем рассчитывал изобретатель.

Костюмов у нас было два. Мы начали бросать жребий, кому идти на разведку.

Жребий выпал мне и Эдвардсу. С помощью других мы натянули костюмы, наглухо заварили швы электродной иглой и отправились в разведку.

Мы дошли до края ущелья. Тут радиоактивность еще больше возросла. Стоять и любоваться видом явно не стоило. Да и вид был довольно унылый — узкое, очень глубокое и темное ущелье; на дне рычит и бьется река. Мы успели только разглядеть, что на широкой террасе довольно высоко над рекой (общая глубина ущелья в этом месте, как мы потом убедились, доходила до километра) лежат обломки, по цвету и форме выделяющиеся среди камней — какая-то светло-зеленая плоскость, потом прихотливо изогнутая труба или балка, отливающая синим серебром. Дело ясное — остатки космического корабля еще сохранились. Теперь надо было отыскать безопасное место для лагеря. Мы заметили, что дальше, метрах в ста от террасы, где лежал космический

корабль, течение реки сильно ускорялось. Вероятно, там был водопад. Мы пошли вдоль ущелья. Дозиметры все еще сигнализировали серьезную опасность, но мы уже как-то не думали об этом, внимательно смотрели на реку. Она свернула вправо, обдавая белой пеной громадную красную скалу, нависшую над ней, как часть взорванного моста и, вся вытянувшись в мощную струю, устремилась вперед. Берег ущелья начал понижаться большими террасами, заваленными камнями. Мы прыгали по этим острым камням и все время сильно сомневались — выдержит ли полистирол? Радиоактивность уменьшалась с каждым прыжком вниз, но с ней все еще приходилось считаться: лагерь здесь ни в коем случае нельзя было устраивать.

И вот мы услышали яростный протяжный рев: это река впереди нас срывалась вниз с высокого уступа. И берег тоже резко прыгнул вниз. Стены ущелья заметно понизились.

Дозиметры сразу успокоились, как только мы спустились с этого большого уступа. Мы остановились и огляделись. Лезть вверх было высоковато, но зато здесь можно с успехом устроить носильщиков, если мы найдем путь подалее от ущелья. Место было неплохое — каменистая широкая терраса с пучками коротенькой травы и с уже знакомыми нам кустами адесмии и толы. От ветра это местечко защищено; от реки его отделяет подобие стены из гранита высотой в два метра. Вот только как работать?

Мы с Эдвардсом были вроде подопытных кроликов. Если мы не заболеем — значит, можно будет в этих костюмах, часто сменяясь, работать с “Железной маской”. Трудность заключалась в том, что робот не мог сам спускаться по отвесным стенам ущелья; его надо было спускать и поднимать на веревке, а уж потом отойти и диктовать ему движения.

Мы нашли более длинный и трудный, но зато полностью безопасный проход к террасе, и уже к вечеру тут забелели наши палатки. Носильщики согласились остаться здесь, да мы и уговаривали их с чистой совестью — между нами и очагом радиации встала плотная каменная стена, образовавшая своего рода “тень”, защищающую от губительных лучей.

Признаков заболевания у нас с Эдвардсом не было; утрाम мы тоже чувствовали себя вполне нормально. Очевидно, изобретатель этой одежды (точнее, материала, из которого она сделана), товарищ Бессонов, слишком скромно оценил полученные им результаты. Пользуясь случаем сообщить товарищу Бессонову и всем, кого это интересует, что мы помещали один дозиметр под скафандром, на костюме, а другой снаружи — и сквозь прозрачную пленку полистирола сверяли показания “внутреннего” прибора с наружным. В то время, как наружный прибор указывал на высокую степень радиоактивности, внутри отмечалось гораздо менее значительное повышение, почти безопасное для организма. Мы жалели лишь об одном — что взяли с собой только два скафандра!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

В дневнике — торжественная запись: “Наступил решающий день! Робот пойдет в ущелье. Скафандры надевают Соловьев и Мак-Кинли. Для страховки в промежуточной зоне будут ждать Лисовский и Маша. Мы все очень волнуемся. А мне придется сидеть в лагере, и я ничего не увижу. До чего это досадно!”

Действительно, сам я тогда ничего не видел. Но мне все рассказали — и как спускали вниз “Железную маску”, и как она собирала своими чуткими пальцами различные обломки и приборы и совала их в большую сумку, привешенную у пояса. И как ее потом вытягивали — осторожно-осторожно, чтоб она не ударилась о стенку ущелья, и как Мак-Кинли сказал, что надо бы установить здесь блок... Мы смастерили блок, но воспользоваться им пришлось всего один раз.

Но важны не эти детали.

Работа хорошенько обмыли сильной струей воды из шланга, тщательно промыли все вещи, извлеченные у него из сумки. Потом мы, на всякий случай надев перчатки, стали рассматривать добычу (хоть специалисты в Москве и говорили, что марсианские пластмассы обладают свойствами радиоактивной непроницаемости, но распространяется ли это на новые их виды — надо было проверить).

Робот вынес из ущелья целое богатство. Никогда мы еще не видели такой уймы реальных доказательств бытия марсиан! Мы уселись вокруг широкого парусинового полотна, где были разложены детали самых сложных механизмов, куски обшивки космического корабля, хитроумные и непонятные приборы и среди них несколько пластинок — серебристо-серых, желто-золотых и маленьких, толстых, отличавшихся глубоким темно-фиолетовым тоном. Мы рассматривали вещи, одну за другой передавая их по кругу.

Мое внимание сразу привлекла зеленовато-голубая рамка, похожая на ту, что дал мне Милфорд, но порядком измятая и искореженная. Я передал ее дальше. Через несколько минут я получил от Мак-Кинли странную вещицу. Это было нечто вроде коробки с двумя патрубками на широкой крышке. Меня привлек ее цвет — точно такой же зеленовато-голубой, с глубокими отсветами, как у рамки. Патрубки на крышке своей величиной и формой напомнили мне странные движущиеся отростки на рамке. Я подождал, пока все осмотрят рамку, и попросил Соловьева передать мне снова эту вещицу.

— Старую знакомую встретили? — усмехнулся Соловьев, передавая рамку.

— Да, и кажется, в интересной компании, — ответил я и, отодвинувшись, чтоб не мешать другим, начал разглядывать прибор... В том, что это — две части одного прибора, сомневаться уже не приходилось. Патрубки

идеально соответствовали по размеру отрезкам на рамке. Я соединил обе части — они плотно примкнули друг к другу.

Мак-Кинли с интересом оглянулся на меня, потом взял прибор и начал разглядывать.

— Вы молодец! — одобрил он. — Любопытная штука. Что бы это могло быть? — Он разъединил прибор на части, заглянул внутрь коробки. — Ага, это нечто вроде печатной схемы!

Постепенно он так увлекся прибором, что тоже отодвинулся в сторону. Я же снова вернулся в круг.

Тут были вещи, не менее любопытные, чем прибор. Мы все долго вертели в руках темную пластмассовую коробочку с круглым отверстием. Отверстие это было прикрыто прозрачным материалом вроде стекла, только как будто немного светящегося изнутри. Вокруг этого отверстия располагался подвижной ободок с делениями и непонятными значками. Сзади была выдвижная стенка и внутри за ней — пазы, в которые, очевидно, вставлялось что-то.

Что? Кто-то из нас сказал, что, возможно, пластинки — по размеру они подходили.

— Пластинки? — задумчиво повторил Осборн. Он взял одну из желтых пластинок и вставил ее в пазы; она подошла. — Если пластинки, то скорее всего перед нами что-то вроде фотоаппарата. Ведь на желтых пластинках могут проступать не только чертежи и карты...

Мак-Кинли оторвался от своей работы и прислушался к словам Осборна. Вдруг лицо его просияло. Он взял с подстилки желтую пластинку и начал прилаживать ее к голубому прибору. Мы тем временем продолжали исследовать коробку со светящимся объективом.

— Ну, вряд ли это фотоаппарат! — сказал Петя Веневцев. Вот, смотрите — между объективом и пластинкой есть темная непрозрачная перегородка. Какой-то материал вроде графита.

— Ничего не значит, мой друг, — все так же задумчиво сказал Осборн. — Ничего это не значит. Совсем не обязательно, чтоб их фотоаппараты были похожи на наши. Изображения у них получаются другие — вы же видели, они подсвечены изнутри, выглядят рельефными. И потом — они как бы наложены друг на друга, проступают по очереди, не теряя при этом четкости и яркости. Этого нашими фотоаппаратами добиться нельзя.

— Может, это электронный фотоаппарат? — предположил Соловьев, тоже внимательно разглядывавший коробку.

— Вот именно! — обрадовался Осборн. — Очень может быть, что это электродное устройство. Ведь марсиане безусловно обогнали нас...

Мак-Кинли вдруг издал торжествующее восклицание. Все повернулись к нему. Он поднял вверх голубой прибор.

— Я добился-таки ответа! — сказал он. — Вы знаете, что это за штука? Это вроде нашего проигрывателя. Вот, пожалуйста! Вы вставляете пластинку в эту рамку. Тут внутри какое-то устройство вроде печатной схемы, — он открыл коробку, и мы увидели внутри лист с разнообразными по форме и величине углублениями. К нему были прикреплены разноцветные кристаллики; в одном углу листа находились два больших беловато-прозрачных кристалла. — Вот эти большие кристаллы — должно быть, что-то вроде батареи. Они должны давать энергию для питания прибора. А эта кнопка включает прибор. Вот тут, сбоку, ручки настройки, — Мак-Кинли повернул одну из них, она слабо щелкнула. — Ну-с, многое мне еще непонятно, но в общем решении, мне кажется, я прав.

— Да, это самое естественное решение, — сказал Соловьев, осмотрев прибор. — Должны же они как-то читать свои пластинки! Не на радиоприемник же их каждый раз класть и ждать, когда он испортится! — пошутил он, вспомнив Бершадского. Но сейчас-то этот прибор, видимо, не работает.

— Я займусь им, — пообещал Мак-Кинли. — Вот что, мисс Этель, взгляните тоже на эту штучку. Давайте посоветуемся может быть, удастся прямо тут же посмотреть, что там такое, на этих пластинках.

Этель принесла ящик с инструментами и материалами, уселась с Мак-Кинли в стороне, и они занялись голубым прибором. Мы тем временем продолжали осматривать находки.

Теперь по кругу пошел предмет, давно привлекавший общее внимание. Это был прозрачный шар диаметром около полуметра с большим круглым отверстием. Невдалеке от этого отверстия располагалась круглая пластинка, вся испещренная мельчайшими дырочками. Мы долго гадали, что бы это могло быть, пока Маша не сказала, что ей это напоминает головную часть скафандра.

— А ведь и вправду, пожалуй, скафандр! — радостно сказал Эдварде. — Очень похоже!

— Что же тут похожего? — возразил Томлинсон. — А как эта штука, по-вашему, подсоединяется к скафандру? Тут и нарезов нет, и ничего вообще.

— Да она, наверное, наглухо приваривается, как швы в наших защитных костюмах! — ответил Эдварде. Соловьев сказал, что это похоже на истину.

— А зачем эти дырки на пластинке? — начали спрашивать мы Соловьева. — И почему он не разбился?

— Пластинка — это, должно быть, какой-то специальный фильтр. Может быть, для защиты от земных бактерий, а, может быть, и для того, чтоб задерживать избыток кислорода. Если это марсиане, то для них в атмосфере Земли, несомненно, слишком много кислорода, и они должны защищаться от него. Почему скафандр не разбился? Ну, возможно, вначале упал на какую-то эластичную массу, а она за эти столетия исчезла. Ведь это был не взрыв и не пожар, а просто сильный толчок и падение. Живые существа, конечно, погибли — либо разбились в корабле, либо были поглощены трещиной или завалены обвалом при землетрясении. А сверхпрочные материалы, из которых был сделан корабль, и все приборы и приспособления пострадали меньше. К сожалению, очевидно, значительная часть обломков корабля упала в реку. И сейчас видно, что на террасе задержа-

лось далеко не все. Из этих кусков корабля не соберешь, а больших я по телевизору пока не видел. — Он поднял с подстилки большой легкий осколок, подернутый какой-то радужной пленкой. — Вот это, несомненно, часть корпуса. Вы согласны, сэр Осборн?

— Да-да, разумеется! — согласился Осборн. — Я с интересом вас слушаю. Продолжайте, пожалуйста.

— Да вот, пожалуй, и все, — сказал Соловьев. — Сейчас ведь так мало можно сказать. Доставить бы только эти материалы благополучно домой! Богатый урожай! Вот завтра еще поработает наша “Железная маска”, может быть, добавятся новые материалы. Но завтра надо будет постараться забрать все, что там есть. Я не вижу, где резервуар с ядерным горючим.

— Может, он в реке? — предположил Петя.

— Ну, что вы! Тогда вода стала бы радиоактивной. А ведь в этой воде мы отмывали робота и его добычу, и вот смотрите дозиметры ведут себя спокойно. Нет, в реке его нет, и надо быть осторожным. Его бы, в принципе, надо вытащить из ущелья и надежно захоронить. Но как? У нас нет достаточно толстых листов свинца. А запрятать его в скалу мы тоже не можем тут нужны саперы с взрывчаткой. Да и чем заделать отверстие в скале, если даже его пробуришь? Так что лучше нам его не касаться, этого горючего... И вообще поскорей выбирать-ся отсюда...

— Арсений Михайлович, а почему этот шлем такой большой? — спросила Маша. — Что, у марсиан могут быть такие большие головы?

— Это и меня самого интересует, — оказал Соловьев. — Видите ли, астрономы считают, что разумные существа на других планетах устроены, в общем, по образу и подобию человека. То есть, не совсем, конечно, а в некоторых существенных чертах. У них может, например, быть несколько рук или несколько ног, но какое-то разделение между нижними конечностями, предназначенными прежде всего для передвижения, и верхними, с более разнообразными и сложными функциями, несомненно, должно существовать. Вы ведь помните, что говорил Энгельс о роли руки в развитии человека. Это, разумеется, верно не только по отношению к жителям нашей планеты. Значит, можно предположить, что у разумных существ будут руки и ноги разной формы и в разном количестве. Значит, положение тела разумного существа должно быть вертикальным, а не горизонтальным, как у животных. Вообще вряд ли Уэллс имел основания изображать марсиан в виде каких-то жутких кровожадных слизняков, которые и двигаться-то не могут без помощи машин! Очевидно также, что у такого существа должно быть минимум два глаза, чтоб обеспечить стереоскопичность зрения. И органы зрения, слуха, обоняния или еще каких-либо неизвестных нам чувств должны, вероятно, находиться в самой высокой части тела. То есть, голова в той или иной форме должна существовать...

— Ух, вы меня утешили! — сказал искренне пораженный Костя Лисовский. — Хорошо, что у них хоть голова есть. Братцы, вы представляете себе этакое шестиногое, шестирукое, шестиглазое чудище? Бр-р-р!

— А если они на тебя посмотрят, так скажут: что это еще за обрубок? — возразил Петя Вененцев. — И как он только держится на своих двух лапах? И что он успевает сделать двумя жалкими руками?

— И это верно! — согласился Костя. — Вообще-то, ребята, неплохо бы иметь еще одну руку!

Разговор этот шел на русском языке. Я перевел его англичанам. Мендоса слушал, широко раскрыв свои черные глаза, и не смеялся.

— Алехандро, это — правда? — прошептал он мне на ухо. Ну, вот это все, что говорят о людях с других звезд?

— Конечно, правда, — ответил я также шепотом. — То есть, в общем правда: что они есть и что могут выглядеть примерно так. Да ведь вы же давно это знали, Луис, еще с начала работы в экспедиции. Вы же много раз слышали, что мы ищем следы марсиан!

— Слышал, но не верил! — чистосердечно признался Мендоса. — Дева Мария, какие чудеса! А вы не думаете, что все мы немного сошли с ума?

Я сказал, что решительно не думаю, и стал слушать Соловьева. Он говорил, что большой размер шлема не обязательно связан с размером головы у марсиан, — может быть, это просто особенность конструкции скафандра.

— Но большинство астрономов считает, что рост жителей зависит от величины планеты. Чем меньше ее масса, чем меньше сила притяжения, тем выше может быть ее обитатель, — меньше препятствий для его роста. Так что марсиане по этой теории должны быть несколько выше нас. Сэр Осборн, вы согласны с этим?

— Нет... Пожалуй, нет, — сказал Осборн. — Я считаю, что это неубедительно. Во-первых, жители любой планеты тысячелетиями приспосабливались именно к этим условиям — почему бы им не компенсировать силу притяжения силой мускульной системы? Вот если б жители Земли попали на Марс в детстве, они могли бы усиленно расти. Но не сами марсиане. По этой теории выходит, что на Юпитере могут жить только козявки, а на астероидах, если б они были обитаемы, — наоборот, гиганты. Нечего сказать, прекрасно бы они себя там чувствовали! И скажите, почему же разумное существо должно в этом смысле проявлять себя иначе, чем все другие? Закон тяготения для всех одинаков. А между тем, на Земле существуют сланы, киты, гиппопотамы, носороги, жирафы, страусы и прочие творения, которых большой рост ничуть не стесняет. Не говоря уж о динозаврах и прочих гигантских тварях. Нет, я вполне допускаю, что марсиане — одного с нами роста и выглядят примерно так же, как мы. Тем более, что это в какой-то мере подтверждается и рассказом де Фарнесио.

— Ну, де Фарнесио вообще отказывается описывать их и корабль! — заметил я.

— Корабль — это понятно. В лексиконе человека XVI столетия просто не было необходимых для этого слов, — возразил Осборн. — А насчет самих марсиан он, несмотря на все свое смущение и ужас, сообщает не-

которые интересные сведения. Во-первых, они примерно одного с ним роста. Да-да! Он обязательно отметил бы гигантский рост, как атрибут величия. Затем — они человекоподобны. В общих чертах, конечно. То есть, у них обязательно две руки и две ноги. Иначе де Фарнесио, ни секунды не колеблясь, признал бы в них исчадие ада. Ведь бог-то создавал человека по своему образу и подобию. И исказить этот образ может только дьявол. Это у чертей могут быть и рога, и хвост, и копыта, а ангелы отличаются от человека только крыльями. Так должен был рассуждать де Фарнесио. А то, что его смущало, очевидно, заключалось в особом устройстве лица марсиан. Там могут быть и другие пропорции, и другой цвет, и другое устройство глаз, носа, рта, ушей. Вот это, видимо, и заставляло де Фарнесио колебаться — ангелы они или дьяволы. Он же говорит: “Вид их был не человеческий, но якобы и не ангельский”. Я тоже думаю, что на ангелов они, с нашей точки зрения, должны мало походить. Я, разумеется, в данном случае имею в виду ангелов как эталон гармонической красоты лица, причем человека, принадлежащего к белой расе, — ведь никто же не станет изображать ангела в виде негра, например. А у марсиан, разумеется, свои эталоны. И, кстати, я не очень уверен, что между условиями жизни в умеренном климате Земли и условиями жизни в ее тропической зоне существует меньшая разница, чем между условиями того же умеренного климата и условиями Марса! Обращу ваше внимание еще на одну деталь: марсиане говорили с де Фарнесио без масок и без скафандров. Это может означать, что атмосфера Марса плотнее, чем мы считаем. Ведь наши методы наблюдения пока так несовершенны, так приблизительны!

Я переводил слова Осборна на русский язык. Все слушали его с восторгом. Он встал; серебряные волосы его развевались, глаза сияли. Он сам был похож на ангела — только мыслящего и утонченного — скажем, из “Восстания ангелов” Франса.

— Как видите, де Фарнесио сообщил нам не так уж мало! — сказал он мечтательно.

Я думаю, он был тогда глубоко счастлив. Он заранее представлял себе и полное поражение ненавистных скептиков и, может быть, связь с марсианами, регулярные рейсы между Землей и Марсом. Он ведь так часто говорил об этом, а теперь все это приблизилось, стало почти реальным.

Но в тот же день мы получили довольно ясный и печальный ответ на вопрос Маши — почему марсиане перестали прилетать на Землю.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Мак-Кинли и Этель долго возились с голубем прибором. Но в конце концов они добились успеха и с торжествующими лицами позвали нас.

— Внимание! Сейчас начнется демонстрация фильма из жизни марсиан! — заявил Мак-Кинли.

Мы подумали, конечно, что он шутит. Но это была почти правда. Мак-Кинли повернул прибор на ребро, поставил его на большой камень и попросил нас усесться так, чтоб все мы видели вставленную в него пластинку. Когда мы сели, он передвинул кнопку. Через секунду пластинка начала фосфоресцировать. Потом на ней проступили какие-то темные и световые пятна и линии; они ожили, начали двигаться... Все четче проступало изображение. Мы смотрели, не веря своим глазам, и боялись дыхания перевести. Перед нами начали мелькать кинокадры, в которых рассказывалось о жизни неизвестной планеты и не известных нам существ.

Изображение было во много раз увеличено. Каким способом это делалось, мы не поняли. Никакой линзы перед пластинкой не было, однако изображение получилось таким же, как на экране небольшого телевизора. Оно было, к тому же, стереоскопичным и очень четким. Впрочем, вначале мы вообще ни о чем не думали и только глаз не отрывали от экрана (будем пока так называть пластинку).

Кадры были отрывочными, носили во многом, как нам показалось, случайный хроникерский характер; но в целом из них возникали очертания каких-то великих событий, катастрофы, потрясшей весь этот неведомый и в то же время странно знакомый нам мир.

...Над широким столом столпились какие-то существа. У них очень широкая, могучая грудь, по сравнению с ней руки и ноги кажутся худыми. Уши у них тоже больше, чем у людей. По жестам и движениям чувствуется, что они встревожены. Должно быть, на столе лежит что-то вроде карты — стоящие вокруг стола указывают друг другу на нее, проводят рукой воображаемые линии, словно рисуя чей-то путь. Потом один из них резко поворачивается к светлой прозрачной стене — должно быть, это окно — и широко раскидывает руки; в этом жесте чувствуется отчаяние. Кадр обрывается.

Затем кадры начали мелькать еще быстрее. Улицы города. Здания непривычной архитектуры, светлые окна во всю стену, без переплетов. Высоко над городом — прозрачный невесомый купол, тоже почти без опор, с еле приметными редкими светлыми линиями, закрывает небо. На улицах много марсиан. Чувствуется, что они страшно встревожены. Жесты их не похожи на наши, земные жесты, выражающие тревогу, но общее настроение уловить можно. Марсиане глядят на небо, словно ожидая какой-то опасности. Ярко сияет солнце... Еще улица... Болящая круглая площадь... Длинная широкая лестница... Всюду — тревожное оживление. Всюду — испуганные взгляды то и дело обращаются к небу.

Еще кадры. Что-то похожее на клинику. Очевидно, идет медицинский осмотр. Один за другим входят в комнату марсиане. Их подводят к каким-то сложным приборам. Потом они с нетерпением и тоской ожидают, что скажет сидящий в углу высокий марсианин. Вот он что-то сказал одному из ожидавших ответа. Тот вдруг покачнулся и упал, словно сраженный невидимым ударом. К нему подбежали два марсианина, одетые в наглу-

хо закрытые комбинезоны, быстро развернули какую-то маленькую вещицу, из нее образовались носилки. Упавшего унесли. Остальные в ужасе.

Высокая стена, полукруглые ворота. Марсиане в одинаковой одежде — тоже комбинезоны, но темные и другой формы, со значками на груди — сдерживают натиск толпы, рвущейся в ворота. Наконец один из них, видимо, теряя терпение, хватая висящую у него на поясе тонкую трубку и проводит ею над толпой. Все падают. Марсиане в форме скрываются за воротами. Потом ворота начинают светиться. Лежащие постепенно приходят в себя. С трудом отползают от ворот...

...Светлый зал с куполообразной прозрачной крышей. За круглым столом сидят марсиане. Они внимательно слушают, что говорит стоящий перед ними на возвышении. Он, видимо, чего-то требует, настойчиво и резко. Снимок сделан с дальнего расстояния.

Более крупный план. Толпа заполнила круглую площадь. На возвышении стоит марсианин и о чем-то горячо говорит. Еще более крупный план. Лицо говорящего. Оно действительно имеет вид "не человеческий, но якобы и не ангельский", по словам де Фарнесио. Высокий бугристый лоб, торчащие раструбами подвижные уши, громадный безгубый рот и плоский нос с очень широкими ноздрями. Глаза глубоко упрятаны под выступающим лбом и окружены густыми рядами длинных волос. Лицо необычайно подвижное и выразительное, так что постепенно ступевывается мысль о его уродстве — особенно, когда видишь эти блестящие глаза в густой тени.

Снова — фигура оратора над толпой. Он окончил и делает широкий плавный жест, указывая вверх. Толпа отвечает взрывом энтузиазма. Вскидываются вверх руки с широко растопыренными пальцами. Пальцев на руках у них семь, а не пять, они растут полукругом.

Длинная очередь у какого-то здания. То же здание — внутри. Марсиане в светлых комбинезонах проделывают над приходящими однотипную операцию — делается укол или надрез на плече, потом к надрезу прижимают какой-то аппарат. Такие же сцены у других, похожих по архитектуре зданий.

Нарастающее напряжение в городе. То и дело — возбужденные толпы чего-то требуют; стычки народа с вооруженной охраной. Прямо на зрителя, шатаясь, движется марсианин с широко открытым ртом; он падает и судорожно вытягивается; над ним склоняются другие. Еще и еще — сцены смертей, горя, растущей тревоги и возмущения.

...Пустынная местность. Равнина среди высоких округлых холмов. Ночь. Сияет громадная двойная луна. Невдалеке от нее на небе прочерчен яркий след, словно от летящего метеора. Группа марсиан на одном из холмов, закинув головы, смотрит ввысь.

День. Блестящая белая ракета с большим оперением на старте. Вдалеке толпа марсиан рвется к ракете, их одерживает охрана. Опять горизонтальное движение тонкой трубки, опять падают марсиане.

Несколько ракет на старте. Пospешная, почти паническая посадка. Опять толпа, штурмующая ракетодром. На этот раз несколькими марсианам удалось прорваться сквозь кольцо охраны. Они изо всех сил бегут к ракете. Им преграждает путь высокий марсианин. Они отталкивают его, он падает, поднимается и вытягивает руку вслед бегущим. Легкий дымок — и группа исчезает, словно испарившись.

Дальше пошли кадры другого рода.

Черное небо и пылающие косматые светила. Тесная кабина, сложный пульт управления, масса сложных непонятных приборов. Снимки через круглое окно — стремительно несется навстречу Земля; уже блестят в разрывах облаков океаны, темнеют горы и леса.



Ракета стоит посреди песчаной пустыни. На горизонте развалины древнего города — круглые башни, зубчатые стены. Около ракеты возятся марсиане в прозрачных скафандрах.

Снова внизу Земля. Кадры, заснятые из окна летящей ракеты.

Пустынная горная местность. Ракета стоит на каменистой равнине. Марсиане около нее без скафандров; за плечами у них перепончатые крылья.

Перед группой марсиан стоит высокий смуглый человек с черной узкой бородой. На энергичном выразительном лице его смятение и страх. Одет он в сильно потрепанный костюм испанца XVI века. Он показывает рукой куда-то в сторону.

Марсианин на перепончатых крыльях летит над горами. Снимок с Земли. Такой же снимок с воздуха, рядом. Панорама гор с птичьего полета.

На этом кончилась демонстрация самого необычайного фильма, какой нам приходилось видеть.

Мы сидели некоторое время в оцепенении. Первым заговорил Осборн.

— Друзья мои! — голос его дрожал и прерывался. — Это величайшая минута всей моей жизни... — Он не смог продолжать и без сил опустился на камень.

Мы были так потрясены, что сначала издавали только бессвязные восклицания, пожимали друг другу руки.

— Да, но что же все это значит? — спросила наконец Маша. — Ведь там что-то случилось, как видно! Что же это могло быть? Эпидемия?

— Может быть, война? — предположил Петя Веневцев.

— Ну нет, это не война. Это скорее уж эпидемия, — возразил Костя Лисовский. — Ты же видал — они прививки делают. И люди умирают на улицах. Какая-то марсианская чума.

— А почему же они на небо смотрят? — опросил я.

— Ну, может, бога о помощи просят, — неуверенно сказал Костя. — Может, они верующие, кто их знает!

Осборн этого опора не понимал, потому что мы говорили по-русски. Когда я ему перевел, о чем шла речь, он сказал:

— Я хотел бы все это обдумать дорогие друзья. Мне самому тут не все ясно. И потом для меня сейчас важнее всего тот факт, что цель нашей экспедиции уже достигнута. Теперь все скептики умолкнут!

— Но, дорогой сэр Осборн! вмешался тут Соловьев. — Это хорошо, но не хотелось бы этим ограничиться. Ведь конечной, большой нашей целью является установление связей с марсианами.

— Ну конечно! — горячо поддержал Осборн. — Само собой разумеется!

— Так вот, — сказал Соловьев, — глядя на эту хронику из жизни марсиан, я, было, усомнился в том, что они существуют.

Мы все недоумевающе посмотрели на него.

— Да, в том, что они существуют сейчас! — продолжал Соловьев. — Ведь, судя по этим снимкам, речь идет о грандиозной катастрофе. Я слушал ваши споры, друзья. Нет, по-моему, это не война и даже не эпидемия в обычном смысле этого слова. Та болезнь, что привела в такой ужас и смятение жителей Марса, не передается от человека к человеку, но угрожает в равной мере всем — и даже нерожденному еще поколению!

— Лучевая болезнь? — спросила Маша.

— Не совсем. Опасность обрушилась на Марс извне: поэтому они и смотрели с таким ужасом на небо.

— Да, вы, должно быть, правы! — сказал внимательно слушавший Осборн.

— Конечно! Видимо, на Марс обрушился мощный поток космических лучей, и вся жизнь на планете была поставлена под угрозу. Марсиане, конечно, и до этого готовились к межпланетным полетам и, наверное, совершали их. А в те дни они улетали в панике, спасаясь от неминуемой гибели...

— А откуда же взялся этот поток космических лучей? спросила Маша. — И почему он не затронул Землю?

— На эти вопросы не так-то легко ответить. Скорей всего, это была сильная вспышка на Солнце. Она могла произойти в той части Солнца, которая была в тот момент повернута центром к Марсу. Земли этот поток мог в таком случае не коснуться; к тому же, значительная его часть была бы поглощена плотной земной атмосферой, и заметного вреда нашей планете он мог не причинить. Разумеется, все это — только предположения.

— Но они очень убедительны, — сказал Осборн. — В самом деле, при этих условиях задуманные разведывательные полеты на Землю или Венеру могли превратиться в беспорядочное бегство. Но все-таки у них оказалось что-то уж очень много ракет для такого неожиданного случая!

— Видите ли, они, возможно, и раньше бывали на Земле. А в это время они могли уже готовиться к организации целого космического десанта, с тем чтоб высадиться на Земле, на Венере, и попытаться установить прочный контакт с ближайшими соседями по солнечной системе... Космическая катастрофа разбила все эти планы. Наверное, в этой обстановке места в ракетах захватывали не лучшие, а сильнейшие... Вы же видели, в какой обстановке стартовали ракеты, должно быть, увозившие богатых или власть имущих! Вооруженная охрана, жестокая расправа с непокорными, с теми, кто тоже хотел спастись от гибели... Но улетели, конечно, немногие, да и они, по-видимому, недолго прожили здесь, на Земле.

— Может быть, и долго! — возразил Осборн. — Ведь вот в Гималаях они и склад успели построить и, видимо, установить более или менее прочный контакт с местным населением. Да и здесь, в Андах, не все ясно пока. Откуда, например, взялся тайник, к которому мы ходили по совету сеньора Мендосы? Конечно, раз марсиане пользовались летательными аппаратами, то тайник они могли устроить и вдалеке от того места, где приземлились. Но, я думаю, вы согласитесь, что тайник вряд ли устраивали собеседники де Фарнесио. Для них это слишком далеко; да и потом они-то в самом деле очень скоро погибли.

— Есть еще один аргумент в пользу ваших слов, — добавил Соловьев. — Экипажу того корабля, который погиб здесь в ущелье, вообще незачем было устраивать тайники. Корабль у них, по-видимому, был в исправности, приземлился благополучно. Местность им, судя по словам де Фарнесио, показалась слишком пустынной и угрюмой, и, наверное, они собирались опять искать более подходящее место. Ведь одно они уже “забраковали”!

— Кстати, что это была за местность? Песчаная пустыня и развалины города? — спросил я.

— По-моему, это скорее всего Внутренняя Монголия, — сказал Томлинсон. — И это не развалины города, а так называемые золотые горы — странные фигуры, созданные ветром и солнцем из песчаника и глины. Там есть такие местности, я видел.

— Ну, эта равнинная местность была для марсиан совершенно непригодна. Они ведь там могли ходить только в скафандрах, продолжал Соловьев. — А в горах они чувствовали себя лучше, хотя высота здесь незначительная! Мне кажется, вы правильно предполагаете, сэр Осборн: может быть, атмосфера у поверхности Марса действительно более плотна, чем мы привыкли думать!

— Значит, тайник устраивали другие? — ошеломленно спросил Мендоса. — А, может быть, они живы? Иначе кто же забрал все из пещеры?

— Ну, это-то ясно, — вмешался Мак-Кинли, — забрали компаньоны немца и швейцарца, которым местонахождение тайника тоже было известно. А теперь эти ловкачи раздумывают, как повыгоднее распорядиться этим кладом особого рода. Обмозговывают свой большой бизнес, негодяи! Вот посмотрите: как только о нашей экспедиции заговорят во весь голос, эти жулики выползут из своей норы и постараются повыгоднее сбыть свой товар.

— Наверное, так, — подумав, сказал Соловьев. — Но в Андах, по-видимому, высадился по крайней мере еще один корабль. И это нужно установить.

— Не считая котловины с тектитами и колесика у индейца, напомнил Осборн.

— Да, не считая этой котловины, — с сомнением в голосе повторил Соловьев. — А колесико индеец мог получить в конечном счете из того же тайника... Но тут еще много неясного. Однако я хочу продолжить свои рассуждения. Итак, незначительная часть марсиан улетела с Марса. А что произошло с теми, оставшимися, с большинством населения? Если предположить, что все они погибли или, во всяком случае, потеряли возможность производить жизнеспособное потомство-то, значит, сейчас, через три с половиной столетия, планета необитаема.

— Не может быть! — воскликнул Осборн. — А вспышки, которые вы сами наблюдали в этом году?

— Вот в том-то и дело! — продолжал Соловьев. — Вспышки эти, безусловно, носят искусственный характер, а значит свидетельствуют о том, что и сейчас на Марсе есть мыслящие существа.

— А как же они уцелели? Может быть, опасность была не так уж велика? — спрашивали мы. — И почему они молчали до сих пор?

— В этом-то и вопрос. Во-первых, действительно степень опасности могла быть несколько преувеличена — как говорится, у страха глаза велики. У марсиан, кажется, уже были к тому времени какие-то средства, способные в той или иной мере ослабить губительное влияние космических лучей. Мы, конечно, не знаем реальной мощности того потока, который обрушился на Марс в XVI столетии. Но по кадрам кинохроники видно, что марсиане боролись с этим бедствием — вводили какие-то средства не то для дезактивации организма, не то для профилактики, проводили беседы с населением — возможно, пропагандировали профилактические или лечебные меры, старались поднять дух...

— Кстати, — вмешался Осборн, — заметили ли вы, что город прикрыт прозрачным куполом? Возможно, материал, из которого сделан купол, не пропускает космических лучей.

— А отчего же тогда умирали на улицах? — спросил я.

— Марсиане, надо полагать, купола построили только над городами, чтоб облегчить там условия существования, — ответил Осборн. — Упрятать всю планету под купол (как это, кстати, советовал сделать Циолковский даже на Земле, чтоб создать идеальную и безопасную жизнь) они не могли, да это было и не нужно практически. Очевидно, до самой катастрофы условия жизни на Марсе были хоть и очень суровы с нашей точки зрения, — но все же марсиане к ним приспособились, ибо они ухудшались постепенно, из столетия в столетие: высыхали реки, скудела растительность, воздух становился все более разреженным, холодным, сухим. Марсиане строили каналы и водонапорные башни, сажали растительность на песках, чтобы препятствовать их передвижению, покрывали города куполами, чтоб иметь там кондиционированный воздух и регулировать температуру. А вместе с тем они подготавливали межпланетные полеты, чтоб в случае необходимости покинуть слишком суровую родину... Но, конечно, значительная часть населения выезжала более или менее часто за пределы города для работы на полях или на каких-нибудь промышленных предприятиях, благоразумно расположенных за городской чертой. Вот они-то, особенно вначале, пока не были приняты меры предосторожности, могли сильно пострадать от космического излучения. А смерть их вызвала, естественно, крайнюю тревогу у населения города. Ведь не все же способны одинаково трезво рассуждать в минуту опасности, да еще такой неожиданной, грозной и как будто неотвратимой!

— Думаю, я не ошибусь, если добавлю, что особенно способствовало созданию паники то, что правящая верхушка, забыв о своем долге перед народом, позорно бежала, — сказал Соловьев. — Это, конечно, должно было создать представление о том, что всякая борьба со смертоносными лучами невозможна. А на деле это было совсем не так — что и доказывается теперешними вспышками на Марсе. Очевидно, все-таки значительная часть населения уцелела, несмотря на создавшуюся панику. Ведь не все бежали на ракетодомы, чтоб силой отвоевать себе место в ракете, не все гибли при этом от смертоносного оружия охраны и не менее смертоносного излучения, от которого на открытой местности, вдалеке от города, ничто не защищало. Другие же, не выходявшие из города и получившие прививки или другие средства защиты, могли остаться практически здоровыми. Но, конечно, катастрофа не могла не причинить колоссального ущерба жизни всей планеты. Погибло и тяжело заболело множество марсиан; долго еще рождалось большое количество уродов и нежизнеспособных детей; в хозяйстве началась разруха, бороться с которой было при этих условиях очень нелегко. Мне, например, кажется, что частые пыльные бури на Марсе один из отдаленных результатов катастрофы.

— Конечно! — обрадовался Осборн, оценив эту мысль. — Мне это как-то не пришло в голову. Конечно же, марсиане принуждены были в этих условиях многое забросить. Посадки на песках не возобновлялись, не увеличивались и в поединке с ветром и песком были побеждены.

Они так уверенно говорили об этих посадках, словно сами их делали. Но все мы, конечно, слушали с восторгом. Даже Мендоса теперь был вполне убежден.

— И, конечно, на долгое время пришлось оставить мысль о межпланетных полетах, — продолжал Соловьев. — Вот, я думаю, ответ на ваш вопрос, Маша. Только через триста с лишним лет смогли обитатели Марса вернуться к этой своей давней и практически уже осуществлявшейся мечте. И теперь это уже будут настоящие, продуманные полеты, с тщательной предварительной разведкой, с серьезными научными щелями, а не то паническое бегство, при котором ученые, наверно, и не попадали на борт корабля!

— Да-да, это очень верно! — сказал Осборн. — Я думаю, именно поэтому прилет марсиан на Землю и прошел так бесследно. Часть кораблей, вероятно, погибла в полете из-за недостаточной подготовленности и пилотов, и механизмов. А те марсиане, которые благополучно достигли Земли, растерялись в сложных и непривычных условиях и не смогли здесь ужиться. Ведь это были действительно скорее всего не ученые, не инженеры, а какие-нибудь богачи или крупнейшие чиновники.

— К тому же, вполне возможно, что они были в той или иной мере поражены космическим излучением и, прибыв на Землю, вскоре умерли, не оставив потомства, — добавил Соловьев.

— А вдруг это самое потомство где-нибудь существует! — не то с восторгом, не то с ужасом оказал Костя Лисовский. — Либо чистые марсиане, либо гибриды с людьми. Вот бы интересно посмотреть!

При этих словах Мендоса пробормотал что-то и сплюнул.

— Так что теперь мы можем снова ожидать визита марсиан? спросил Петя Веневцев. — Ей-богу, как-то все-таки не верится!

— Матерь божья, как же в это поверить! — пробормотал Мендоса задыхаясь. — Эти чудища прилетят сюда! Нет, это не жизнь!

— Почему же они чудища? — обиделся Осборн. — Нельзя же все мерить по своей мерке. Если так, то нам с вами следовало бы считать, что по сравнению с белым и негр — чудище...

— Негр? Конечно! Он же черный! — убежденно сказал Мендоса.

— ...и китаец, и индеец, — продолжал Осборн. — Только вопрос — почему мы должны считать идеалом именно внешность белого человека или вообще обитателя нашей планеты?

Это были очень хорошие мысли, но Мендоса возмущился до глубины души.

— Пресвятая дева, да разве можно так говорить! — закричал он. — Разве можно сравнивать какую-нибудь негритянку, например, с сеньоритой Марией? — Мендоса заметил, что слушатели усмеваются, и сейчас же привел другой пример: — Или разве можно сравнивать, кто лучше — этот ушастый безносый урод марсианин или вы, сеньор Осборн! Матерь божья, да ведь каждый из нас с вами лучше, чем это страшилище!

На наш взгляд, марсианин, конечно, не выдерживал даже относительного сравнения с романтической красотой Осборна. Но было смешно глядеть, как горячится по этому поводу Мендоса.

— Я не знал, Луис, что вы такой поклонник европейской красоты, — сказал я. — А как насчет индейцев, чья кровь течет в ваших жилах? Это вы считаете пороком для себя?

К слову оказать, примесь индейской крови почти не сказывалась на внешности Мендосы — пожалуй, только кожа у него была смуглее, да глаза уже, чем у чистокровного испанца.

— Я ничего не считаю пороком, — возразил Мендоса, — а просто хочу оказать, что негры и индейцы не так красивы, как белые. А уж марсиане-то ваши! Тут даже смешно и спорить!

— Я вижу, что вы над этим вопросом мало думали, — укоризненно сказал Осборн.

Я был убежден, что Мендоса и вовсе не думал об этом. Склонности к отвлеченному мышлению у него решительно не было, и философствовал он только на две темы — что такое счастье и какова роль женщины в жизни мужчины.

Осборн начал доказывать — не то ему, не то нам, — что организм живых существ приспосабливается к окружающей среде, что черты внешности марсиан, несколько отличающие их от людей, объясняются особенностями марсианского климата.

— Вам известно, что атмосфера на Марсе сильно разрежена. Отсюда — широкая грудная клетка его обитателей: нужно больше вдохнуть воздуха, чтоб получить необходимое количество кислорода. В разреженном воздухе звук распространяется хуже отсюда особое устройство ушных раковин марсиан и более сильное их развитие, чем у нас. Вероятно, отсюда же — и большие рты, которые в известной мере служат резонатором. Что касается глубоких глазных впадин и густых ресниц — то это, возможно, объясняется тем, что в прозрачной атмосфере Марса солнечный свет не так рассеивается, как в плотной земной, и, хотя Марс дальше от Солнца, чем Земля, но яркость света там выше, и вот организм марсиан выработал такие защитные приспособления. Нечто подобное я наблюдал у некоторых жителей Полинезии — маленькие глаза, глубоко ушедшие под надбровные дуги, лучше защищены от яркого тропического солнца. Кстати, там маленькие глаза считаются красивыми — чем меньше, тем лучше.

— Они просто сумасшедшие! — возмущился Мендоса. — Что ж тут красивого?!

— Ладно, не будем спорить о вкусах, — вмешался Мак-Кинли, видя, что и Осборн начинает горячиться. — Давайте лучше поужинаем.

Действительно, уже темнело. Очертания гор расплылись в фиолетовой мгле; только дальние вершины на западе еще алели от последних, уже невидимых, лучей солнца. Стало холодно, и мы с удовольствием устроились около костров.

Маша сидела рядом со мной, и ее волосы светились в пламени костра. Мог ли я думать тогда... Мы продолжали спорить и строить догадки о том, что увидели. Петю Веневцева больше всего интересовал сам аппарат.

— Как это получается: вставил одну пластинку, и сразу тебе чуть не целый фильм! — кричал он, размахивая руками.

— Да тише ты, чертушка! — сказал Костя, которого он при этом нечаянно стукнул по уху. — Я вообще не пойму: ты восхищаешься или негодуешь?

— Чудак ты — конечно, я восхищаюсь марсианами и негодую, что у нас такого нет!

Меня самого этот аппарат занимал до чрезвычайности. Ясно, что пластинка, которую мы просматривали, была чем-то вроде личного фотоальбома (или, вернее, киноальбома) одного из пассажиров ракеты. Но каким образом изображение увеличивалось и становилось стереоскопичным? И во сколько же слоев лежат снимки на этой гладкой желтой пластинке? Я долго расспрашивал Мак-Кинли и Этель, но и они в сущности ничего не знали, и аппарат приводили в готовность большего вдохновению, чем по точному плану.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Утром следующего дня — это было 1 февраля — мы проснулись с ощущением счастья. Знаете, как это бывает, когда помнишь, что случилось что-то хорошее... Мендоса всех насмешил — ему, оказывается, всю ночь снились какие-то чудища, не то марсиане, не то дьяволы, и он с ними беседовал.

— А вам не снилось, что вы — де Фарнесио? — спросила его Маша.

Это были последние слова, которые я от нее слышал...

В тот день нам с Соловьевым предстояло спускать робота в ущелье и командовать им; вытаскивать его потом назначены были двое других — Мак-Кинли и Эдвардс. Мы решили работать посменно, чтоб не увеличивать без необходимости время пребывания каждого из нас в зараженной местности — хотя бы и в скафандре.

Мы отправились наверх, спустили робота на террасу, потом отошли подальше, и Соловьев начал руководить его действиями. Было очень странно видеть на экране телевизора, как робот, безукоризненно повинаясь воле человека, но будто бы совершенно самостоятельно, нагибается, роется в куче обломков, отбирает те из них, которые Соловьев счел интересными, и кладет в большую сумку, болтающуюся у него сбоку. Вот он взял большой светлый обломок с зазубренными краями и сунул его в сумку. Обломок, должно быть, зацепился зубцами за полотно. Робот, слегка склонив голову, старательно отцепил застрявший обломок и все-таки уложил его в сумку.

— Она опять набрала много интересного, наша “Железная маска”! До чего же умное существо! — восторгался Соловьев.

Сумка была битком набита, я робота пришлось поднимать. Мы дали сигнал; пришли наши сменщики, и мы отдали им скафандры, а сами двинулись по направлению к лагерю.

— Арсений Михайлович, а почему у марсиан все сделано из пластмассы? Разве они не применяют металлов? — спросил я.

— Нет, металлы у них, конечно, есть. Согласно теории Шмидта, Марс образовывался в тех же условиях, что Земля, и их составные элементы сходны. Но тут, я думаю, дело в том, что в бедной кислородом атмосфере Марса металлические изделия почти не знают ржавчины, и марсиане не выработали эффективных средств защиты против нее. А они, конечно, знали, как много кислорода в атмосфере Земли, и понимали, что детали и приборы из металла здесь быстро погибнут. Поэтому марсиане и обратились исключительно к пластмассам, в изготовлении которых они, как вы уже знаете, достигли высокого совершенства. Да и вообще, я думаю, что для межпланетного корабля полимеры всякого рода — самый подходящий материал.

В эту минуту на реке послышался сильный гул, потом — тяжелый всплеск. Мы были уже недалеко от лагеря (понятно, мы шли кружным, безопасным путем) и теперь ускорили шаги. Приближаясь к палаткам, мы увидели, как над гранитной перемышкой поднялась высокая водяная стена, упала на лагерь и смыла две палатки. Ревущий поток понесся вниз, прыгая по террасам. Лагерь затопило, но не целиком. Больше всего досталось тем палаткам, которые были ближе к реке. Остальные уцелели. Люди спешно оттаскивали вещи на сухое место, повыше.

Вдруг все закричали: “Робот! Робот плывет!” Действительно, к лагерю приближался робот. Он был сделан из легких полимеров и потонуть не мог. Мы еще не успели сообразить, как это робот очутился в воде, а Маша уже бросилась его спасать. Я побежал к ней.

Соловьев догнал меня и на ходу обвязал веревкой. Маша плыла, держа робота за руку, быстрое течение сносило ее вниз. Я успел перехватить ее, и мы выбрались на берег. Маша страшно промерзла и разбилась о камни, но лицо у нее было торжествующее. Ей дали коньяку, и Этель увела ее в палатку переодеться.

Прибежали Мак-Кинли и Эдвардс. Они были вне себя. Даже флегматичный Мак-Кинли прямо-таки зубами скрежетал от досады и горя. Они, оказывается, после нашего ухода взглянули на экран телевизора и увидели на краю террасы какой-то интересный прибор. Робот пошел туда; потом там же обнаружилась еще какая-то коробка с отверстиями. Мак-Кинли, управлявший роботом, видел, что в сумке уже нет места, и приказал роботу крепко держать новые находки в руках. После этого они пошли к ущелью, чтоб начать подъем робота — и тут эта проклятая красная глыба рухнула в реку. Прежде, чем они добежали до блока, уровень воды в реке резко повысился, волны хлестнули на террасу и смыли “Железную маску”.

Узнав, что Маша вытащила робота из реки, они замерли и уставились на нас. Я уже вышел из палатки и видел, как посерело лицо Эдвардса и как Мак-Кинли, судорожно глотнув воздух, спросил:

— Как вы допустили, чтоб мисс Мэри полезла в эту воду?

Ему наперебой начали объяснять, что кинулась Маша в реку неожиданно, увидев плывущего робота, что она отделалась легкими ушибами и царапинами.

— Боже мой! — выговорил наконец Мак-Кинли. — Да ведь вода смыла все с той террасы. Вода теперь заражена!

Все окаменели. В ту же минуту из палатки показалась Этель Престон.

— Мэри плохо, — сказала она. — Мэри потеряла сознание.

Тут и мне стало плохо. Я почувствовал смертельную слабость и лег на камни. Меня подняли и отнесли в ту же палатку, где была Маша. Она лежала навзничь, закинув голову. Мокрые светлые волосы прилипли к щеке. На минуту нас оставили одних.

— Маша! — позвал я, с трудом приподнимаясь на локте. Машенька!

Она не шевельнулась, но я видел, что она дышит. Я из последних сил подполз к ней; прижался головой к ее руке — и застонал от ужаса. На концах ее пальцев уже проступили бархатисто-черные пятна...

— Черная Смерть! — прошептал я. — Черная Смерть!

В палатку вошли товарищи, но я этого уже не видел — я тоже потерял сознание.

На этом, собственно, и кончается мой рассказ. Все, что случилось потом в лагере, я помню, как сквозь сон, отрывочно и смутно. Я несколько раз приходил а сознание, но Машу уже не видел — она умерла через час после катастрофы. Меня индейцы на носилках дотащили до той деревушки, где жил когда-то де Фарнесио. Оттуда Этель Престон удалось связаться с Сант-Яго, вызвать самолет. Я долго лежал в клинике Сант-Яго: потом мне стало немного лучше и меня самолетом транспортировали в Москву.

Только в Москве я стал понемногу приходить в себя — в том смысле, что начал вспоминать и думать. До тех пор я хоть и был в сознании и на вопросы отвечал, но мне было все безразлично. Словно жизнь уже давным давно кончилась, а вокруг тебя ходят какие-то тени. Я ничего не помнил и ничто меня не заботило.

И вот однажды я проснулся под утро. Уже рассвело; в окно заглядывали ветви березы в свежей, ярко-зеленой листве. Я знал и раньше, что нахожусь в Москве и что уже кончается апрель, но до меня это как-то не доходило. А тут я вдруг почувствовал нежность к березе, и к воробьям на подоконнике, и к бледному рассветному небу — ко всему на свете. И в эту минуту я впервые понял, что остался жив.

А потом пришли воспоминания... Но и это была жизнь...

Вместо эпилога сообщу читателям о дальнейшей работе экспедиции. Собственно, работа эта закончилась — или, вернее, оборвалась — в час катастрофы. Вода все смыла с террасы; даже в сумке робота почти ничего не осталось. Робот получил повреждения (но его, говорят, уже отремонтировали). Оставаться возле ущелья было и опасно, и совершенно не нужно. К счастью, лагерь пострадал не так сильно, как можно было ожидать. Погибли Машины гербарии, которые она с такой радостью собирала; унесла вода и интересную геологическую коллекцию Эдвардса, и мои катушки с пленками; пропала часть продуктов и спальных мешков. Но палатка, в которой жили руководители экспедиции, ничуть не пострадала, а все “марсианские” материалы хранились именно в ней. Так что блестящий успех экспедиции нельзя подвергнуть никакому сомнению.

Работа экспедиции, разумеется, далеко не закончена. Во-первых, еще не изучены добытые материалы, не расшифрованы знаки на пластинках. Во-вторых, — и это главное — руководители наши считают, что цель их достигнута лишь наполовину.

В самом деле, ведь мечтой Осборна, как и Соловьева, является установление межпланетных связей. Конечно, эта мечта рано или поздно осуществится и независимо от данных, добытых экспедицией. Луна уже начинает осваиваться жителями Земли; Марс и Венера — на очереди. Но именно сейчас, перед тем, как начать штурм Марса и Венеры — наших ближайших соседей по космосу, — надо найти и разумно использовать все, что может помочь успеху этого сложного дела. Марсианская астронавтика обогнала земную, пусть не так уж и намного, — ибо что такое несколько столетий в масштабах космоса! — и важно установить, какими путями они достигли цели. Но важнее другое точные и разносторонние сведения о жизни на Марсе и о марсианской цивилизации, те сведения, которые не добудешь и при помощи ракет-разведчиков.

Но работа нашей экспедиции пока позволяет установить со всей очевидностью лишь одно: в XVI веке на Марсе была катастрофа, и в это время марсиане прилетали на Землю. Об остальном можно лишь строить догадки. Конечно, специалисты сумеют извлечь немало ценных сведений, изучая доставленные экспедицией части звездолета и различные приборы. Но я этого будет недостаточно. Мы не узнаем, например, языка марсиан. Большинство экспертов поддерживает мнение Соловьева о том, что на пластинке Мендосы выгравированы цифры и формулы, а не словесный текст...

А между тем где-то, еще в безлюдных горах, наверное, сохранились остатки других звездолетов и — кто знает, — может быть, более ценные для науки. Судя по всему, межпланетных кораблей у марсиан было немало, во всяком случае, не только те два, чьи места высадки мы пока обнаружили. И можно надеяться, что некоторые из них тоже достигли Земли. Значит, нужно, необходимо их искать. Ведь эти находки могут ускорить и облегчить штурм космоса, уменьшить число неизбежных в этом деле потерь и промахов, спасти жизнь и здоровье первым смельчакам, которые покинут Землю.

Вспышки, наблюдавшиеся на Марсе, по-видимому, свидетельствуют о том, что там и сейчас живут мыслящие существа, находящиеся на высокой ступени развития, и что мы имеем все основания ожидать нового их

визита к нам. Ведь восстанавливать легче, чем искать заново, и как бы ни велика была катастрофа, обрушившаяся на Марс, видимо, его жители за три века успели многое исправить. Но, разумеется, мы не можем сидеть и ждать нового посещения марсиан, тем более, что оно, может быть, состоится лишь после того, как жители Земли побывают на Марсе. Параллельно с развитием астронавтики, с пробными полетами в космос, надо отыскивать другие пункты высадки космических кораблей.

Но с такой задачей не может справиться никакая экспедиция, как бы она ни была хорошо снаряжена, как бы самоотверженно ни работали ее участники. Поиски следов марсиан на Земле должны стать делом всего человечества. Именно — всего человечества. Тут важно активное участие не только великих наций. Может быть, — и даже скорее всего — опять окажут неоценимую помощь в поисках какие-нибудь маленькие горные племена, живущие вдалеке от цивилизации, среди скал и снегов. Легенды о Сынах Неба, загадочные находки, рассказы о таинственных местах, где гибнет каждый, кто туда забрел, — все это может стать ценнейшим материалом для окончательной разгадки тайны...

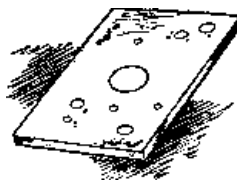
Я завидую Соловьеву. Он вместе с Осборном и Мак-Кинли разъезжает по разным странам, рассказывает об экспедиции, демонстрирует находки — и, уж конечно, потрясающую марсианскую хронику. Все новые и новые страны заявляют о своем желании помочь экспедиции, а письмами от частных лиц наши руководители просто завалены. Они уже объездили всю Европу, Северную Америку, теперь поедут в Южную Америку, в Азию, в Африку, в Австралию. Они полны энтузиазма, и бесконечный этот путь их ничуть не пугает. Конечно, можно было бы составить еще одну “агитбригаду” такого типа, но ведь пластинка-то с фильмом, как выяснилось, одна! А это — самое важное и эффектное доказательство правоты их слов... Желаю вам успеха, друзья!

Луис Мендоса, где ты? Нашел ли ты свое счастье? Я знаю ты хороший человек. Мне рассказывали — ты, как ребенок, плакал, когда умерла Маша, и преданно ухаживал за мной, когда я лежал без сознания. Спасибо, Луис! Желаю тебе счастья, которого ты так страстно ищешь.

Привет вам, друзья, с кем вместе я мерз и задыхался от жажды, карабкался на мертвые красные скалы и разбирая драгоценные трофеи. Может быть, скоро мы снова встретимся в Гималаях или в Андах, на Памире или в Антарктиде: кто знает, куда занесет нас судьба на этот раз!

Я оглядываюсь на прожитый год — двадцать седьмой год моей жизни. В нем столько трагедий, столько невозвратимых, тяжелых утрат, что, казалось бы, и вспоминать его не следует, надо оттеснить память о нем в самые дальние уголки сознания. Но то, что случилось со мной, то, что узнало все человечество, нельзя перечеркнуть никакими личными трагедиями, никакими смертями.

Двери в Неизвестное открылись. Пожелаем же успеха тем, кто смело пойдет по этим неведомым путям, ища путь к нашим далеким братьям!



ПОСЛЕСЛОВИЕ

Читатель, вы перевернули последнюю страницу романа, который, вероятно, читали с неослабевающим интересом. Из романа вы узнали о посещении Земли “пришельцами с другой планеты”.

Вы спрашиваете себя: что это, правда или вымысел, было ли на самом деле все рассказанное или нет? Прочитанная книга несет на титульном листе надпись: “научно-фантастический роман” — это и есть ответ на ваш вопрос: все события, описанные в книге “По следам Неведомого”, вымышлены.

Научно-фантастические книги представляют ценность потому, что в них рассказывается о том, чего не было, но что могло произойти или произойдет в будущем. Оставаясь в добром согласии — с фактами науки сегодняшнего дня, писатель-фантаст не обязан проявлять такую же осторожность в отношении будущего науки и техники, тем более что у подлинной науки всегда остается богатый запас нерешенных проблем, которые всегда бывают интереснее проблем уже решенных. Ни Жюль Верн, ни Герберт Уэллс никогда не претендовали на звание ученого. В их книгах можно найти сотни ошибок с точки зрения последующего развития науки и тем не менее мы читаем эти романы с таким же увлечением, как и наши деды!

Есть ли что-либо невозможное в том, что на Марсе обитают разумные существа, более продвинувшиеся в своем развитии, чем люди на Земле? Для ответа на этот вопрос наука пока не имеет никаких фактов, но невозможного в этом ничего нет. Поэтому можно считать вполне допустимым прилет межпланетных кораблей марсиан на Землю. Для обитателей Марса, где атмосфера крайне бедна кислородом, где намного холоднее, чем на Земле, посадка в высоких горах естественна и разумна. Вполне допустимо, что марсиане воспользовались для своих перелетов источниками ядерной энергии. Нет ничего невозможного даже в том, что один из спутников Марса (Фобос) полый, а следовательно, искусственный! Хотя более естественно объяснить наблюдаемое ускорение движения Фобоса действием запаздывающей приливной волны в твердой коре Марса. В книге “По следам Неведомого” много смелой фантазии, но немало говорится и о подлинных завоеваниях науки, которые излагаются в форме живой, доступной и занимательной. Правда, неискушенный читатель не всегда сумеет разобраться, где строго установленные факты, а где фантазия авторов, но ему, наверно, захочется разобраться в этом, и тогда он возьмет и прочитает научные книги о Марсе и других планетах, межпланетных путешествиях, у него возникнет искренний и действенный интерес к астрономии и космическим полетам!

Профессор Д.Я.Мартынов

СОДЕРЖАНИЕ

Часть первая

Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая

Часть вторая

Глава седьмая
Глава восьмая
Глава девятая
Глава десятая
Глава одиннадцатая
Глава двенадцатая
Глава тринадцатая

Часть третья

Глава четырнадцатая
Глава пятнадцатая
Глава шестнадцатая
Глава семнадцатая
Глава восемнадцатая
Глава девятнадцатая
Глава двадцатая
Глава двадцать первая
Глава двадцать вторая
Глава двадцать третья
Глава двадцать четвертая
Глава двадцать пятая

Послесловие проф. Д.Я.Мартынова

**Громова Ариадна Григорьевна
Комаров Виктор Ноевич**

ПО СЛЕДАМ НЕВЕДОМОГО

* * *

Редактор У с ы с к и н а Е. Л.
Техн. редактор Т о к е о А. М.
Корректор Ч е р н я к - Б ы х о в с к а я С. А.

АШ09009 Сдано в набор 6/VI 1959 г. Подп. к печ. 1/XII 1959 г.
Формат бум. 70×92/32—12,875 п. л. — 15,07 усл. п. л.
8,1 п. л. 38 400 зн. Уч.-изд. л. 14,5. Уч. № 88/4155.

Тип. Трудрезервиздата, Москва, Хохловский пер., 7. Зак. 784.